INSPIRIA

История маленького человека, заложника удачи, основанная на реальных событиях

ЛЮДИ удачи

НАДИФА МОХАМЕД



В переводе Ульяны Сапциной

INSPIRIA

Люди удачи
Надифа Мохамед

Аннотация
Надифа Мохамед. Люди удачи
1. Коу
2. Лаба
3. Саддех
4. Афар
5. Шан
6. Лих
7. Тоддоба
8. Сиддээд
9. Сагаал
10. Тобан
11. Коу йо тобан
12. Лаба йо тобан
13. Саддех йо тобан
14. Афар йо тобан
15. Шан йо тобан
Халас
Кончено
Женщина плачет, пока вешают сомалийца
Эпилог
Благодарности

Аннотация

1952 год. Кардифф, район Тайгер-Бэй, пристанище сомалийских и вест-индских моряков, мальтийских дельцов и еврейских семей. Эти люди, само существование которых в чужой стране целиком зависит от удачи, оберегают ее, стараются приманить, холят и лелеют и вместе с тем в глубине души прекрасно понимают, что без своей удачи они бессильны.

Махмут Маттан – муж, отец, мелкий аферист и рисковый малый. Он приятный собеседник, харизматичный мошенник и удачливый игрок. Он кто угодно, но только не убийца. Когда ночью жестоко убивают хозяйку местного магазина, Махмуд сразу же попадает под подозрение. Он не сильно беспокоится, ведь на своем веку повидал вещи и похуже, тем более теперь он находится в стране, где существует понятие закона и правосудия. Лишь когда с приближением даты суда его шансы на возвращение домой начинают таять, он понимает, что правды может быть недостаточно для спасения.

Надифа Мохамед
Люди удачи

Посвящается М.Х.М. и Л.В.

Nadifa Mohamed
THE FORTUNE MEN
Copyright © Nadifa Mohamed, 2021

Дизайн обложки © Bert Hardy/Hulton Archive/ Getty Images
Перевод с английского *Ульяны Сапциной*

INSPIRIA

© Сапцина У., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Наф йахай ород оо, арлиги кабо оо, халкии аад ку огэйд, ка соо ээг.

О, душа, спеши на свою родину, ищи ее там, где познала ее.

Ахмед Исмаил Хуссейн, «Худэйди», написано в заключении под стражей во Французском береге Сомали, 1964 г.

Помнишь, нос судна отсвечивал
зеленым в тропическом мраке,

сороковых переменчивость,
штормов свирепых атаки.

Запах яванских специй,
крики фрегатов и луны,
грохот якорной цепи
в хрустальных водах лагуны.

Молитв по тебе не читают,
проститься не ходят друзья,
кто знает, о чем плачут чайки,
наверно, лишь дурень, как я.

Гарри «Товарищ по кораблю» Кук, отрывок из «Последнего трампового судна»

1. Коу[1]

Тайгер-Бэй, февраль 1952 г.

— Король мертв. Да здравствует королева, — голос диктора доносится сквозь треск помех в радиоприемнике, лавирует между взбудораженными посетителями молочного бара Берлина так же гибко, как завитки тумана — между тоскливыми уличными фонарями, тусклый свет которых едва достигает булыжной мостовой.

Голоса утихают, звенит посуда с молочными коктейлями, колой и ирландским кофе, которой посетители чокаются друг с другом, ножки стульев скребут по черно-белым плиткам пола.

Берлин колотит ложкой по барной стойке, рявкая голосом укротителя львов:

— Поднимем бокалы, леди и джентльмены, — спровадим нашего старого короля в рундук Дейви Джонса.

— Там, в пучине, он встретит немало наших, — отзывается старик Исмаил, — так что пусть

[1] Примечания: 1

Здесь и далее нумерация глав приводится на языке сомали. (*Прим. пер.*)

лучше в пути пишет извинения.

— Д-д-да он н-н-небось на с-с-смертном одре т-т-только их и п-п-писал, — гогочет какой-то завсегдатай.

Сквозь рок-н-ролл и шипение кофеварки эспрессо Берлин слышит, как кто-то зовет его по имени.

– *Маха тири*? — откликается он, пока Махмуд Маттан проталкивается через толпу у стойки.

— Говорю, кофе мне еще налей.

Берлин ловит за талию свою жену-тринидадку и подталкивает в сторону Махмуда:

— Лу, сваргань этому скандалисту еще кофе.

У стойки расположилось немало моряков-сомалийцев из Тайгер-Бэя; с виду они то ли гангстеры, то ли щеголи — в галстуках, с цепочками карманных часов, в шляпах-трильби. Только Махмуд в низко сдвинутом на лоб хомбурге прячет осунувшееся лицо и грустные глаза. Он молчалив, появляется и исчезает тихо и не водит компании ни с моряками, ни с игроками, ни с воришками. Когда он рядом, все крепче вцепляются в свои пожитки и не спускают глаз с его длинных изящных пальцев, и только Тахир Гасс — его недавно выпустили из психушки в Уитчёрче — льнет к Махмуду, напрашивается на дружбу, в которой

тот ему отказывает. Тахир идет по дорожке, куда никто не сможет и не захочет за ним последовать, его конечности сводит судорогой от незримых ударов током, на лице, как на экране в кино, сменяются безумные выражения.

— Теперь со дня на день жди независимости. — Исмаил шумно отпивает из своей кружки и улыбается. — Индия свалила, что они скажут остальным?

Берлин изображает наглый взгляд.

— Скажут: мы держим тебя за яйца, черный! Нам принадлежит твоя земля, твои поезда, твои реки, твои школы и кофейная гуща на дне твоей чашки. Видал, что они сделали с мау-мау и всеми кикуйю в Кении? Упрятали за решетку и взрослых, и детей.

Махмуд принимает свой эспрессо из рук Лу и ухмыляется в ответ; на политику ему плевать. Пока он поправляет запонки, капля кофе стекает с ободка чашки и падает на его отполированные до блеска туфли. Выхватив платок из кармана брюк, он стирает каплю и вновь наводит на обувь лоск. Броги у него новенькие, ярко-черные, как ньюфаундлендский уголь, лучше, чем любые другие, в какие были обуты здешние парни. Три фунтовые бумажки, приготовленные для покера, жгут ему

карман, — сэкономленные ценой пропущенных обедов и ночей, которые он провел, не разводя огня и коченея под одеялами. Склонившись над стойкой, он толкает Исмаила в бок:

— У Билла Хана пойдет сегодня?

— Это я-то из джунглей? Да я-то был бы не прочь, чтоб из джунглей! Я ему так сказал: ты глянь по сторонам — *вот* где джунгли, тут же повсюду кусты и деревья, а у меня на родине ничего не растет. — Закончив байку, Исмаил поворачивается к Махмуду. — А я откуда знаю? У своих братков спроси.

Раздраженно втянув воздух сквозь зубы, Махмуд одним махом опрокидывает в рот эспрессо, хватает свой бежевый макинтош, пробирается через толпу и исчезает за дверью.

Холодный воздух шарахает его по лицу словно лопатой, и, несмотря на поспешно запахнутую одежду, стужа февральской ночи завладевает им, заставляя зубы выбивать дробь. Мутно-серое пятно нависает над всем, что он видит, — последствие попадания ему в правый глаз осколка раскаленного угля, вылетевшего из топки. Боль была такой острой, что его подкинуло и отбросило назад, на остывающий на полу шлак. Загрохотали брошенные лопаты и кирки, остальные кочегары

метнулись к нему на помощь, с трудом оторвали его пальцы от лица. От слез знакомые лица виделись ему искаженными, только глаза ярко блестели в полумраке машинного отделения, звучал сигнал тревоги, да грохотали по железной лестнице сапоги спускающегося старшего механика. А потом он с толстой повязкой на голове две недели провалялся в гамбургской больнице.

Это мутное пятно и больная спина — единственные явные напоминания о том, как он вел жизнь моряка. На борт судна он не поднимался уже почти три года, работал только на литейных заводах да имел дело с убогими котлами в тюрьмах и больницах. Правда, море до сих пор зовет, громко, как чайки, мечущиеся в небе над ним, но Лора и мальчишки якорями держат его здесь. Мальчишки с внешностью сомалийцев, несмотря на валлийскую кровь их матери, — они цепляются ему за ноги, голосят «папа, папа, папа», заставляют его наклонить голову, лохматят напомаженные волосы, и от их звучных поцелуев его щеки еще долго пахнут шербетом и молоком.

На улицах тихо, только вести о смерти короля долетают со стороны рядов низких, продуваемых ветрами домов, мимо которых он проходит. Приемники передают новости не в лад — одни

быстрее, другие с секундным отставанием. Минуя лавки на Бьют-стрит, он видит, что кое-где еще горит свет: в ломбарде Зюссена, куда заложено много чего из его одежды, в парикмахерской того киприота, где ему подравнивают волосы, у Волацки, где раньше он покупал матросское снаряжение, а теперь разве что изредка прихватывает платье для Лоры. Высокие шикарные окна в заведении Кори запотели, за стеклами в свинцовом переплете смеются и танцуют смутные фигуры. Он суется в дверь проверить, нет ли там кого из его постоянной компании, но лица вест-индийцев у бильярдного стола ему незнакомы. Когда-то и он принадлежал к целой армии работников, свезенных со всего света, собранных для замены тысяч флотских, потерянных во время войны: докеров, тальманов, мотористов, стивидоров, лебедочников, люковых рабочих, черпальщиков, элеваторщиков, машинистов погрузчиков, такелажников, диспетчеров, бригадиров, портовых сторожей, рулевых, паромщиков, маневровщиков, лоцманов, буксирщиков, шлюпочников, пресноводников, кузнецов, портовых конторщиков, складских рабочих, замерщиков, весовщиков, экскаваторщиков, грузчиков, стапельщиков, шкиперов, крановщиков, рабочих

угольного склада и его товарищей, кочегаров.

Махмуд отворачивается от роскоши ресторана Кори с его венками и портиками к докам, красная дымка от которых оттеняет сырое, несваренное небо. Ему нравится наблюдать еженощное индустриальное представление: грязная морская вода словно вспыхивает, когда чаны с морщинистым, раскаленным добела печным шлаком со сталелитейного завода «Ист-Мурс Стилворкс» опрокидывают в набегающий вечерний прилив. Железная дорога на насыпи затапливаемого приливом берега лязгает и скрипит, вагонетки снуют туда-сюда между изрыгающими дым трубами сталелитейного завода и сердитым морем, над которым поднимается пар. От этого зловещего и завораживающего зрелища у Махмуда всякий раз захватывает дух; он ждет, что вот-вот из бурлящей и шипящей воды в нефтяных разводах поднимется остров или начнет извергаться вулкан, но она всегда остывает и к утру возвращается к угрюмому темному единообразию.

Доки и Бьюттаун занимают всего одну квадратную милю, но для Махмуда и его соседей это целая метрополия. Она поднялась из болотистой низины столетие назад, один шотландский аристократ построил доки и назвал улицы в честь

своей родни. Махмуд слыхал, что первый в мире чек на миллион фунтов был подписан в здании Угольной биржи. Даже сейчас, рано утром, работники совсем иного рода в шляпах-котелках приходят на работу в Управление торгового флота или таможню. И в управлении, и в профсоюзе моряков важно знать, в какую дверь войти, если не хочешь нарваться на неприятности, и это относится как к белым, так и к чернокожим работягам. За пределами финансового округа этот район для всех, всех соседей окружают и теснят железнодорожные ветки и каналы, отрезающие их от остального Кардиффа. Лабиринт коротких мостиков, шлюзов на каналах и трамвайных путей озадачивает новичка; незадолго до времени Махмуда сомалийские матросы надевали на шеи таблички с адресом своего ночлежного дома, чтобы прохожие помогали им не сбиться с пути. Каналы заменяют детям площадки для игр, и однажды, когда двое детей пропали, Махмуд провел тоскливую бессонную ночь, пытаясь отыскать их в мутной воде. Их нашли утром — одного белого, одного черного; оба утонули. Но его мальчишки еще слишком малы, чтобы бродить где попало, *альхамдулиллях*. Однажды, когда они подрастут, он покажет им этот

портовый город с его норвежской церковью и кошерной скотобойней, с кранами, грузовыми стрелами и дымящими трубами, с бревенным бассейном, креозотовыми мастерскими и скотными дворами, с тремя широкими магистралями — Бьют-стрит, Джеймс-стрит, Стюарт-стрит, — перекрещенными неуклонно суживающимися улицами со сплошными рядами домов. Флаги и трубы грузовых судов со всего мира, теснящихся у пирса и выстроившихся вдоль всего портового бассейна.

Махмуд мысленно строит планы на будущее, но теперь, побежденный пронизывающим холодом, пробирающимся между пуговицами плаща, решает отказаться от еще одной ночи покера и направляется домой в Адамсдаун, где горит истинный огонь его жизни.

Вайолет тяжело опускается на деревянный стул и ждет, когда Дайана накроет на стол.

— А где Грейси?

— Заканчивает дополнительные задания, спустится через минуту.

— Как по мне, слишком уж много она занимается, Дай, у нее даже личико осунулось.

— Не смеши, она почти ручкой бумаги не касается, целыми вечерами перебирает мои туфли на

шпильках и джазовые пластинки. Я поднималась поторопить ее, а у нее лицо намазано «блеском заката» от «Макс Фактор». Эта девчонка думает, что уже готова покорять Голливуд.

— Уборщица говорила, что, когда меняла ей постельное белье, нашла у нее под подушкой фото Бена в летном комбинезоне.

— Знаю. — Улыбка становится напряженной, Дайана отворачивается от Вайолет.

Та пожимает ей руку выше локтя.

— Крепись, сестра. *Койех*.

— Спускайся, Грейс, мы тебя ждем! — Дайана кричит, повернувшись к подножию лестницы, снимает передник и вешает его на спинку своего стула. Фунты, набранные за время рождественских каникул, еще видны на ее мускулистом теле, платье-футляр натянулось на спине. Черные волосы мягкими волнами падают на плечи; ей надо бы подстричься, но Вайолет нравится как есть — такая прическа придает облику ее сестры средиземноморский оттенок.

— Ты прямо вечный двигатель.

— Не от хорошей жизни, можешь мне поверить. Мэгги велела Дэниелу привезти нам курицу, столько у меня было клиентов. И все до последнего старались поставить деньги на лошадь, хоть

как-нибудь связанную с королем — с кличками Его Величество, Балморал, Букингемский Дворец. Не знаю, то ли это их способ выразить уважение, то ли просто суеверия, но раньше я никогда такого не видела.

— А я видела, как один из них обналичил свою авансовую записку у меня и отправился к тебе. Как говорится, деньги у дурака…

— О, это бедолага Тахир, у него с головой не в порядке. Один матрос рассказывал мне, что с ним, как он выразился, дурно обращались итальянские солдаты в Африке. А мне Тахир говорил, что он король Сомали и тысячами убивал людей на войне.

— И на какую лошадь он поставил?

— На Императрицу Индии, — говорит Дайана, широко раскрыв в смехе красногубый рот. — Наверное, принял ее за свою жену.

— Боже правый. Дай-ка я быстренько помою руки. — Вайолет улыбается, оглядывая накрытый стол: жареная курица, маринованные огурчики, отварной картофель, морковь с красным луком и свеклой, горка булочек с маком. Вернувшись от раковины, она вынимает ступни в чулках из черных ортопедических туфель на шнурках, потягивается, распрямляя извилистый

позвоночник, сколиоз которого исковеркал, как головоломку, ее грудную клетку и лопатки. Она бледнее Дайаны и Мэгги, ей досталось отцовское лицо — вплоть до глубоких морщин с обеих сторон рта; о монашеском целомудрии говорит и ее платье, и розовые щеки. Волосы все еще темные, но над негустыми бровями в них намечается седеющий «вдовий мысок». Вайолет производит впечатление женщины, которая всегда выглядела старше своих лет и теперь готова вселиться в тело, предназначенное именно ей, скромной кардиффской лавочнице.

— Включи приемник, Дай, хочу дослушать новости. Только представь, принцесса Елизавета — то есть *королева* Елизавета — возвращается, зная, что ей придется отказаться от скромной и тихой жизни с мужем и детьми, чтобы взойти на трон.

— Ее никто не *неволит*. Может просто остаться в Кении и объявить, что монархии пришел конец, мне-то что.

— У тебя нет представления о чувстве долга. Как она может, если целая страна — да что там, целая империя — ждет ее?

— От тебя, папина дочка, я ничего другого и не ждала. Обхохочешься с тобой, Вайолет, па

оставил тебе эту лавчонку, а ты приняла ее так серьезно, будто от него тебе достался целый мир. Так и вижу твое лицо в газетах, когда ты произносишь торжественную клятву править домом 203 на Бьют-стрит, прилагая все старания и уповая на помощь Господа Вседержителя.

— Эта лавка — вся моя жизнь, и, если бы я просто продала ее еще в сорок восьмом, что хорошего было бы в этом для нас? Для вдовы, старой девы и малышки, вынужденных кочевать из дома в дом и менять одну работу за другой?

— Мы могли бы уехать в Лондон или Нью-Йорк.

— И опять начать с нуля? Нет, Дайана, это ты еще достаточно молода, чтобы выйти замуж и родить еще детей. А я не могу.

— Еще как можешь. Если не детьми обзавестись, то замуж выйти уж точно.

— И что мне теперь, перебирать мошенников и прохиндеев, которым нужна не я, а моя лавка?

— Ладно, ладно. Дело твое. — Дайана жестом капитуляции вскидывает руки, а потом рявкает во всю мощь голоса: — Грейс! Сию же минуту чтоб была здесь.

— Иду!

— Вот и иди скорее! Тетя Вайолет устала, еда

стынет и портится.

На винтовой лестнице слышится топот, а потом возникает Грейс — средоточие миров их обеих, четыре фута пять дюймов чистейших надежд и обещаний.

Расцеловав Дайану и Вайолет в щеки, она, вихляясь, садится на стул. Еще недавно нежное и округлое, личико Грейс постепенно меняется: подбородок становится квадратным, как у Бена, нос приобретает изящный изгиб, как у Волацки. Десять зим и десять лет без него, думает Дайана, украдкой поглядывая на веснушчатые щеки дочери.

— Сделала хоть какие-нибудь задания к экзамену, лапочка? — спрашивает Вайолет, нарезая курицу и перекладывая три куска в тарелку Грейс.

Грейс с аппетитом кусает булочку и проказливо улыбается.

— Знаешь, тетечка, я начала, но потом…

— Мм? — Дайана закатывает глаза. — Моя косметичка оказалась гораздо интереснее?

— Напрасно ты ее оставила, мама, — знаешь ведь, как легко я отвлекаюсь.

— Ох и хитрюга ты, Грейси, — смеется Вайолет.

Ведущий радиопередачи словно сидит четвер-

тым с ними за столом; кажется, что этот звучный мужской голос из Лондона облачен во фрак, белый галстук-бабочку и классические туфли с Бонд-стрит. Звяканье ножей и вилок вплетается в торжественную хоровую музыку и звон колоколов повсюду, от Биг-Бена до средневековой церквушки на самом дальнем из Гебридских островов. Вся страна за пределами их столовой погружена в траур, звезды скорбно застыли в небе, луну заволокли саваном черные тучи.

— Отнеси посуду на кухню, Грейс, и готовься ко сну.

— Хорошо, мама. — Грейс допивает залпом малиновый напиток, потом набирает в руки столько тарелок, сколько может унести, — она видела, как делают это официантки в кафе Бетти.

— Носи по одной, все сразу не унесешь, — останавливает ее Дайана, отбирает часть тарелок и следует за Грейс в кухню.

Вайолет не терпится рухнуть в постель и уснуть, но надо еще подсчитать дневную выручку, запереть переднюю дверь — на верхний и нижний засов, два обычных замка и еще один, американский, — затем запереть заднюю дверь и только потом унести кассовый ящик наверх, в свою спальню. Груз предстоящих дел придавли-

вает ее к стулу, она не сразу, но все же заставляет себя встать и машинально бредет в лавку, прилегающую к столовой.

Даже в такой поздний час сквозь стену из соседнего мальтийского ночлежного дома доносится музыка — рок-н-ролл с вкрадчивыми саксофонами и настырными барабанами, — и Дайана дубасит кулаком по штукатурке, чтобы сделали потише. Во время войны она состояла в женской вспомогательной службе ВВС и от взрыва слегка оглохла на одно ухо, но музыка у мальтийцев ревет так громко, что и мертвого поднимет. Дочь уже в постели, Дайана переодевается в ночнушку и ложится под стеганое пуховое одеяло, крытое шелком. Одеяло подарила ей на свадьбу Вайолет, один его угол до сих пор почему-то пахнет одеколоном Бена. Ночь всякий раз затуманивает его отсутствие. Дайана достает из-под подушки его дневник, держит маленький голубой блокнот осторожно, чтобы не выпали страницы. При свете лампы они становятся почти прозрачными, а его мелкий ровный почерк будто повисает в воздухе, как вереница стрекоз. Дважды моргнув, она приближает дневник к глазам, чтобы строчки не мельтешили. Записи в дневнике перестали восприниматься как слова мертвеца, а вернули

ей веру в то, что он до сих пор там, в Египте: укрывается от песчаных бурь, бродит по восточным базарам Суэца и Бардии в поисках сувениров, чтобы было что привезти домой, совершает ночные вылеты на «Веллингтонах» вместе с «ребятами» — товарищами по 38-й эскадрилье. До войны она и не подозревала, что у него прекрасный слог. Даже дни, когда ничего не происходило, заполненные чтением подвернувшихся под руку книг, он описывал так, что она ощущала изнуряющую духоту его палатки. Теперь опустевшие позиции итальянских войск, усеянные брошенными грузовиками, мотоциклами, сапогами и биноклями, знакомы ей, как аттракционы на ярмарках паровых машин ее детства. Ртутное свечение средиземноморских вод при полной луне заняло больше места в ее воспоминаниях, чем взбухающее волнами Ирландское море.

Вайолет требуется мгновение, чтобы понять, что это за звук. Худший из ее кошмаров еще свеж в памяти, в голове теснятся видения: руки молотят в окна синагоги, пламя охватывает белое строение целиком, в ночном небе синими и зелеными сполохами переливается северное сияние, крики мужчин, женщин и детей взмывают к этому небу и остаются неуслышанными.

Сигнализация.

Трезвон сигнализации.

Но не по тем, кто погибал в синагоге, а для нее, в ее собственном доме. Она рывком садится на постели и хватается за голову, ее сердце колотится громче металлического лязга охранной сигнализации. Сунув ступни в шлепанцы, она хватает с туалетного столика серебряный подсвечник и зажигает все лампы. На лестничной площадке слышатся шаги, она крепко хватается за дверную ручку, и ей кажется, что вот-вот упадет в обморок. Проще было бы умереть потихоньку здесь, думает она, чем сталкиваться лицом к лицу с тем, что ждет за дверью. Прижавшись к двери лбом и зажмурившись, она медленно поворачивает ручку.

— Все в порядке, Вайолет, окно разбито, но внизу никого нет, — перед дверью стоит Дайана с фонариком в кармане пальто и с молотком в каждой руке. При виде бескровного лица сестры бросается к ней и обнимает. — Только не впадай в такое состояние, сестра, все хорошо. Кто бы это ни был, он удрал.

Дрожа, Вайолет цепляется за Дайану и пытается собраться с духом; дело не только в этом взломе, или предыдущем, или в том, который

случился до того, но и в письмах, которые кладут на коврик у двери, в письмах с перечислением родственников, убитых в Восточной Европе. Имена из ее детства, которые она едва помнит, образы, которые она с трудом может отождествить с черно-белыми семейными фотографиями, всплывающими в ее снах, — они окружают ее обеденный стол, просят еще еды, еще воды, приютить их — очень, очень просят, — умоляют ее по-польски, *кузин, очал мнье*, кузина, спаси меня. Нигде уже не возникает чувства защищенности, словно мир пытается разделаться с ней, с ней и с подобными ей, прокрадывается через запертые двери и окна, чтобы похитить жизнь из их легких. Аврам мертв, Хая мертва, Шмуэль мертв. В Литве, в Польше, в Германии. Все больше и больше имен появляется на памятной табличке в храме. Во все это не верится до сих пор. Как могло случиться, что их всех не стало? Писем от Волацки из Нью-Йорка и Лондона накапливалось все больше, но смысла в них оставалось все меньше — слухи о том, кто погиб, где, когда и как, непрекращающийся ручеек смертей и совсем немного радостных вестей, втиснутых в самом конце, — кто-то родился в Степни, кто-то закончил учебу в Бруклине.

— Которое окно? — наконец спрашивает она.

— То маленькое сзади. Утром мы позовем Дэниела, пусть заложит его кирпичами. А пока я придвину к нему ящики. Ну же, иди к Грейси, а я тут покараулю.

Послушно кивнув, Вайолет прокрадывается в спальню племянницы и ложится к ней в постель; обнимая спящего ребенка, она чувствует себя даже меньше и уязвимее, чем Грейс. На полу возле кровати валяется географический атлас, Вайолет дотягивается до него, листает; мелькают страницы, расцвеченные краснотой Британской империи. В последнее время ей пришлось так много узнать о мире, выучить названия мест, которые казались вымышленными: Узбекистан, Кыргызстан, Маньчжурия. Сильные молодые мужчины и женщины, скрывшиеся в лесах и пережившие Гитлера, рассеялись и бежали, бежали, бежали от катастрофы, все дальше и дальше на восток, словно намереваясь спрыгнуть с края земли. Работой старых дев, не имеющих таких оправданий, как мужья и семьи, было собирать этих неприкаянных и заплутавших, общих детей, не доверяющих никому, но берущих все, что дают. Она отправляет деньги этим дальним родственникам и даже их нуждающимся друзьям через

банки в Амстердаме, Франкфурте, Стамбуле, Шанхае, никогда не зная, дойдут ли эти деньги до них вовремя и образумятся ли эти люди и вернутся ли в лоно цивилизации, если таковая еще *осталась*. Вайолет роняет атлас на пол. Ритм дыхания Грейс успокаивает ее, но не настолько, чтобы усыпить; она чутко прислушивается к тому, как Дайана внизу заметает битое стекло, как ступают по половицам ее ноги, крепкие и бесстрашные, пока наконец она не поднимается по лестнице, когда уже начинается утренний щебет птиц.

Дэниел приходит, пока они завтракают, и ночные ужасы скрадываются домашними уютными запахами кофе и тостов. Вайолет краснеет, когда он тянется, чтобы схватить корочку от тоста с ее тарелки, его голос с иностранным акцентом приводит ее в трепет, медвежье тело заполняет столовую. Она украдкой бросает взгляд на его бледное лицо с широко расставленными глазами, теряющееся в черной шерсти бороды и под каракулевой шапкой; в усах застряли крошки. Мускусный запах одеколона исходит от его сырого овчинного тулупа, когда он стаскивает его с плеч и вешает в коридоре. Дэниел — собственность Мэгги, их средней сестры, но вожделение и зависть прокрались в сердце Вайолет. Ее тело

охватывают желания такой силы, каких она раньше никогда не испытывала, и Дэниел — их средоточие, его рослая и широкоплечая фигура словно склеп для ее надежды когда-нибудь выносить детей. Им полны ее грезы наяву — его губами, его руками, его розовыми сосками, похотливыми, похожими на малину на фоне белоснежной кожи. Жар в ее чреве вдруг вспыхивает, прежде чем перемены успевают увести его еще куда-нибудь. Она с нетерпением ждет, когда все кончится, — что угодно лучше этой безнадежной, девчоночьей влюбленности в человека, который видит в ней только сестру.

— Мэгги беспокоится за вас, девочки, — думает, улица чем дальше, тем больше портится. Сколько ни твердил ей — ничего, это издержки дела, — а она, как клуша, раскудахталась сегодня утром и все ходит, ходит из угла в угол. Хочет, чтобы я раздобыл вам ружье! — Дэниел придвигает стремянку и вынимает остатки стекла из оконной рамы. — Мелкий, должно быть, он был, если думал, что пролезет в такое окошко.

Он стоит спиной к Вайолет, и она не может не глазеть на его ягодицы, напряженные под брюками. Но быстро отводит взгляд, заметив, что Дайана улыбается ей.

— Это ни к чему, — отвечает Дэниелу Дайана. — Мы с Вай сошлись во мнении, что пырнуть ножом грабителя не смогли бы, но уж оглушить чем-нибудь — наверняка. Прошлой ночью Вай появилась из своей комнаты, вооруженная подсвечником, и наверняка сделала бы из него котлету.

Дэниел разражается гулким смехом, а дальше слышится только шорох замешиваемого раствора, скрежет металла по камню и постукивание кирпичей, которые подгоняют, укладывая один на другой. Освещенный прямоугольник быстро исчезает, воздвигается еще одна преграда между миром и Вайолет.

После того как Дэниел удаляется к себе в магазин мужской одежды, который он держит вместе с братьями на Черч-стрит, Грейс целует их на прощание и уходит в начальную школу Святой Марии, до которой несколько минут пешком — она находится рядом с церковью, где крестят, сочетают браком и отпевают большинство местных жителей. Дайана в качестве местного букмекера ставит свой стол в маленьком и сыром флигеле во дворе, включает радио, чтобы следить за главными событиями дня на бегах. Ее ногти, покрытые таким толстым слоем алого лака, будто

их обмакнули в винил, — единственное яркое пятно в помещении. Лицо в течение дня будет постепенно становиться накрашенным все ярче, как снимок проявляется в темной комнате, пока к пяти вечера вид у нее не окажется таким, что хоть сейчас на красную ковровую дорожку; преображение из молодой вдовы в престарелую кинозвездульку завершено. А Вайолет обычно вообще не делает макияж, и не красит ногти, и носит простое темно-синее платье длиной до икр и серебряный армейский значок отца, приколотый к лифчику для храбрости.

Одна из витрин по-прежнему сохраняет такой же вид, как при их отце; ее заполняют дорогие готовальни и плоские фляжки, инкрустированные слоновой костью, которые их покупателям не по карману, но все же отличают их магазин от других на той же улице. Остальное пространство в заведении Волацки забито дешевым и ходовым товаром: висящими на крюках высокими резиновыми сапогами, черными школьными парусиновыми туфлями на резиновом ходу, втиснутыми в тесные гнезда деревянных полок, воздушными ситцевыми платьями на вешалке у самой двери кладовой, шерстяными одеялами, завернутыми в папиросную бумагу и хранящимися

на верхних полках. В глазах Дайаны эта лавка — «дурдом», место безумия, система которого известна лишь Вайолет, вокруг которой товар громоздится небольшими и неустойчивыми стопками. Она продает ножи, бритвы, веревки, непромокаемые кепки и плащи, добротные, прочные рабочие ботинки, матросские вещмешки, трубки, табак курительный и нюхательный, но основной доход приносит обналичивание авансовых платежных расписок отплывающих матросов. В глубоких лотках массивной ручной кассы за день скапливается больше сотни фунтов — и к ним прикасается только Вайолет, — не говоря уже о сейфе и ящике, где она держит крупные купюры. Последние покупатели прибегают уже после официального часа закрытия, негромко, но нетерпеливо стучат в стеклянные панели, чтобы купить срочно понадобившуюся коробку спичек или сигареты; если все по мелочи обходят закон, жить становится проще.

2. Лаба

Рассыпчатый, мраморный от жира кошерный фарш начинает шипеть и подрумяниваться на сковороде, и Махмуд всыпает в масло чайную ложку порошка чили. В Восточном Лондоне он постоянно покупал кошерное мясо, потому что хороший мясник нашелся прямо по соседству, через несколько дверей, а кошер в религиозном отношении ничем не хуже *халяля*, но теперь почему-то он и на вкус нравится Махмуду больше. Поднося к носу специи с загадочными этикетками на хинди, он выбирает зиру, куркуму и имбирь — неплохо — и посыпает баранину чайной ложкой этой смеси. Часть фарша он съест на обед с гарниром из сладкой консервированной кукурузы, а другую часть смешает вечером с остатками риса. Поесть получше сейчас ему все равно не удастся, хоть он и научился варить, жарить и парить, пока был помощником корабельного буфетчика, а печь — за время мелкой кухонной работы в сомалийской ночлежке, где снимал комнату в прошлом году.

Махмуд до сих пор не может смириться с тем,

что он всего-навсего еще один никому не нужный неухоженный мужчина, которому приходится есть, поставив тарелку на колени, в одиночестве холодной съемной комнаты. Он всегда помогал Лоре на кухне — кто еще из мужей согласился бы на такое? А ему пришлось, потому что она понятия не имела, какой должна быть по-настоящему вкусная еда; и он сумел обучить ее пользоваться травами и специями, но морковь у нее по-прежнему получалась недоваренной, пюре — жидким, мясо — сухим и жестким. И вот теперь еда стала еще одним делом, с которым ему приходится справляться самому, своими силами. Все сам, своей проклятой рукой.

Махмуд вынужден напомнить себе, что *ненависти* к Лоре он не испытывает. Что без нее ему *не было бы лучше*. Что красным от ярости мыслям, которые всплывают у него в голове, когда он бродит по улицам, — и твердят, что сиськи у нее слишком маленькие, задница слишком плоская, лицо слишком вытянутое, — он на самом деле не верит.

Лора посадила его на якорь в точке с этой долготой и широтой. В этом доме — с чернокожими мужчинами, с которыми его не объединяет ни язык, ни культура, ни религия, — он живет лишь

для того, чтобы приглядывать за ней, поддерживать с ней отношения, пока она не образумится. Он следит, с кем она водит компанию, и каждые несколько дней переходит через дорогу, чтобы проведать сыновей. Во многих отношениях это шаг вверх по сравнению с той паршивой сомалийской ночлежкой, откуда его прогнали после случая в мечети. Здесь у него своя комната с замком на двери вместо общего чердака, заставленного походными койками. И ему не надо целыми ночами терпеть кашель, разговоры и слушать, как капает с мокрого белья, развешанного на веревках под потолком. Все остальные моряки там были лентяями и по утрам валялись в постели, ожидая, когда кто-нибудь другой жарко растопит печку. Махмуд помнит пожелтевший список правил, приколотый высоко к стене, — их Варсаме зачитал ему, а потом велел собирать манатки.

«1. Смотритель ночлежного дома для моряков не должен продавать спиртные напитки, или принимать участие в торговле ими, или же участвовать или быть заинтересованным в делах кастеляна, экипировщика или лиц, ведающих прочим довольствием матроса.

2. Санитарный врач, представители торговой

палаты и полиция имеют право доступа и инспектирования его помещений в любое время.

3. В спальнях он должен предоставлять каждому лицу не меньше 30 кубических футов пространства и ни в коем случае не размещать больше жильцов, чем разрешено Советом.

4. Он обязан следовать определенным правилам, касающимся санитарных условий, ватерклозетов и умывальников, а также общей гигиены. На видном месте он обязан вывесить копию городских постановлений, имеющих отношение к вышесказанному, а также свою тарифную сетку и не запрашивать плату, превышающую указанную в этой сетке.

5. Он обязан не селить в своем ночлежном доме или своевременно выселять из него любого вора, человека с репутацией вора, проститутку или человека с репутацией проститутки, а также любое безнравственное или непорядочное лицо».

Когда Варсаме дошел до этого последнего правила, Махмуд рассмеялся. Стало быть, он ничем не лучше проститутки? *Аджиб*[2]. Он уложил вещи, покинул свои тридцать кубических футов пространства и в тот же день перебрался к Доку.

---

[2] Примечания: 2
Чудно́, странно (*ар.*). (*Прим. пер.*)

Красный кирпич и стекло в свинцовых переплетах, вонь хлорки и крушения надежд. Бирже труда присуща атмосфера церкви; объявления о вакансиях подрагивают на стене, как бумажные молитвы, и скаредные муниципальные служащие выдают государственные пособия с надменностью священников, вкладывающих облатки в рот нуждающимся. Оставшиеся не у дел горняки, докеры, шоферы, разнорабочие, грузчики, слесари и заводские рабочие беспорядочно толпятся, стараясь не смотреть друг на друга. Сосновые половицы все в выбоинах от тяжелых рабочих ботинок, особенно рядом со стойкой, и усеяны спичками и окурками.

«Требуется сварщик»

«Не менее чем десятилетний опыт обязателен»

«Не достиг 21 года?»

«Профессиональное обучение»

«Требуются плотники»

«Работа могильщика»

Сунув руки поглубже в карманы спортивного пиджака, Махмуд переходит от одного объявления к другому, ищет, не нужен ли кому-нибудь рабочий в котельную или на литейный завод. В кармане у него одна мелочь, остальное просадил в покер. Ничего стоящего, не за что даже

браться; ни одна компания, обычно с гарантией нанимающая цветных, не объявила о вакансиях. Он еще раз смотрит на объявление, в котором ищут могильщика. Это на Западном кладбище, жалованье вполне сносное, но, едва подумав, как будет ворочать лопатой тяжелую сырую землю и фаршировать ее окоченевшими трупами, он качает головой и бормочет: «*Астагхфируллах*»[3].

Надвинув пониже на лоб хомбург, он берет желтый талон с отштампованной на нем цифрой «девять» и ждет своей очереди к стойке рядом с толстыми витками радиатора. Жар от раскаленного чугуна прожигает тонкие брюки и раздражает кожу, ощущения — нечто среднее между удовольствием и болью, и он раскачивается телом туда-сюда, чтобы тепло шло вверх и рассеивалось. Хозяева трампа, на который он нанялся в прошлый раз, установили новые котлы, и в белом свете топок все медные фитинги сияли, как золотые. Он отступал на шаг, чтобы полюбоваться разгоревшимся пламенем, потом подбрасывал еще угля и делал из белого света чуть ли не мыслящий бесцветный газ, который устремлялся вглубь и вверх по дымоходу, как

---

[3] Примечания: 3
Дословно «ищу прощения у Аллаха». (*Прим. пер.*)

джинн, удирающий из лампы. А сам он порождал этот огонь и растил его от желтого до оранжевого, потом до белого и голубого, пока наконец он не приобретал цвет, не имеющий названия, только энергию в чистом виде. Он гадал, каково было бы сделать вперед шаг, отделяющий его от этой энергии, и не спадет ли его кожа с плоти целиком, как в аду — *кадаабка*. Этот огонь воспитал его, сделал из хилого помощника буфетчика оплетенного мускулами кочегара, с опаленным и почерневшим от угольной пыли лицом, способного часами напролет нести вахту у адских врат.

— Вызывается талон номер девять.

Махмуд занимает стул перед четвертым окошком стойки, кладет шляпу на колено и протягивает серое удостоверение личности.

Женщина перед ним одета в коричневый твидовый костюм, губы накрашены темно-бордовой помадой, волосы собраны в большой пучок под сетку. Она смотрит на Махмуда поверх очочков в проволочной оправе.

— Чем могу помочь, мистер Маттан? — осведомляется она, изучая его удостоверение.

— Мне нужна помощь от государства, для меня нет хорошей работы.

— Какую работу вы умеете делать? — спраши-

вает она, растягивая каждое слово.

— Работу кочегара. В каменоломне.

— Посмотрим, не найдется ли у нас объявлений, которые мы еще не успели вывесить.

Она просматривает папки сбоку на перегородке; держится она вежливо, уж получше других служащих, которых он, похоже, раздражает, о чем бы ни просил — о работе или пособии по безработице.

— Есть тут одно место в литейной мастерской, но вряд ли вы подойдете, — говорит она, умалчивая об остальном.

Он встречается с ней взглядом и подавляет горькую улыбку.

Женщина ставит штампы в его удостоверении там, где надо, и отсчитывает два фунта и шесть шиллингов.

— Хорошего вам дня, мистер Маттан.

— И вам, мадам.

Махмуд встает, убирает фунтовые купюры в бумажник, надевает шляпу и покидает меланхоличную атмосферу биржи ради взбудораженного топота и гула над скаковым кругом.

Дерн в Чепстоу здорово взрыт; под моросящим дождем в воздух поднимаются запахи земли, травы и конского навоза. У Махмуда на собачьих

бегах выдалось напряженное утро, но полегчало теперь, когда он переключился на лошадей. Копыта грохочут, земля трясется, его сердце колотится, другие игроки вопят или шепчут: «Давай же, давай!» Он ахает, едва какой-то всадник вылетает из седла, а потом — ни единого вздоха, когда его лошадь вырывается из волны перекатывающихся мускулов и грив и мчит, мчит, мчит, кинжально выставив вперед голову, пока не пересекает финишную черту. Изорванные корешки билетиков на ставки, пущенные по ветру, как конфетти, подтверждают, что он в числе немногих, кто догадался рискнуть и поставить на этого жеребца; выигрыш — больше десятка фунтов на лошадь с вероятностью двадцать к одному. Махмуд поменял ставку в последний момент, мельком увидев того коня на площадке перед стартом: животинка была красивая, вороная, и Махмуд готов был поклясться, что кивнула ему, пока конюх проводил ее мимо. И кличка удачная — Абиссинец. С кличками на «а» ему всегда везло, вдобавок в Абиссинии он бывал — еще один знак. Надо почаще налегать на «а», думает он. До сих пор он выигрывал, делая ставки на:

Ахтунга

Амбициозную Дэйзи

Апача
Артиста
Ангельскую Песнь
Артуа
Арканзасскую Гордость
Атлантическую Пирушку

Надо бы ему поскорее отдать пять фунтов Доку Мэдисону за жилье, комнатушку на Дэвис-стрит, пока деньги не утекли между пальцами и старый скряга не прицепился к нему. Остальное он потратит на мальчишек и Лору, побалует их теперь, когда судебный штраф он уже выплатил. Тот прошлый раз был ошибкой, в протокол вписали не только воровство, но и святотатство, слишком уж далеко он зашел, настроил всех против себя. Обувь, куча которой валялась по пятницам у порога *завии*, казалась легкой добычей — можно прийти в одной паре, уйти в другой, проще простого, — но деньги из *закята* — это уж точно *харам*. И не попросишь теперь ни о чем ни одного из них, кроме разве что Берлина.

Проходя мимо кинотеатра, он вскидывает голову посмотреть, какие фильмы крутят: «Двойной динамит». До сих пор. А из новинок — «Камо грядеши» и «Африканскую королеву». «Камо грядеши» он глянет, а от «Королевы» воротит нос. Слиш-

ком уж много он тратит на кино; это его главная слабость, но не только — еще и школа. Где еще он мог столько разузнать об этом месте, которое решил называть домом? Здешние мечты, историю и мифы? В темном, кишащем блохами зале он учился ухлестывать за девчонками, говорить как настоящий англичанин, выяснял, какими соседи видят самих себя и его. Кино заставило его осознать: на то, что бабье из Адамсдауна станет вести себя иначе, нет никакой надежды, — для них он навсегда останется кем-то вроде грязных кули в набедренных повязках или дикарей из джунглей, которые визжат перед тем, как быстро умереть, никого этим не огорчив, или в лучшем случае безмолвного мальчишки-прислужника, с гордостью принимающего наказания вместо своего белого господина. Удивительно, что Лора плюнула на всю эту хрень и увидела, что он такой же мужчина, как любой другой. Может, потому, что ее семья — голодная, сквернословящая, с выстраданной мудростью — была не похожа на те богатые и болтливые, какие показывали в кино? Теперь-то он знает, что она из сословия прислуги, из тех, кто с одинаковой легкостью и втопчет чернокожего в грязь, и по-братски протянет ему руку. Так или иначе, заработанные на флоте

деньги в его карманах определенно помогли.

Махмуд спотыкается на расшатанном булыжнике и восстанавливает равновесие, смущенно оглядываясь по сторонам. Ему не дает покоя мысль, что его походка смотрится слишком странно, враскачку; обувь велика ему на целый размер, чтобы поместились болезненные мозоли на ступнях. Здесь нельзя выглядеть легкой добычей. Нельзя выказывать слабость, а то проживешь недолго, как те надравшиеся сомалийцы, которых полицейские забили насмерть в прошлом году. Походке чернокожего Махмуд научился сразу же, как прибыл в Кардифф: стал ходить, высоко подняв плечи, выставив локти, медленно скользя ступнями по земле, уткнув подбородок поглубже в воротник и надвинув шляпу на лицо, чтобы не выдать ничего, кроме своей принадлежности к мужчинам, — человеческий силуэт в движении. Даже теперь он передергивается, проходя мимо орав валлийцев, когда те в дни регбийных матчей возвращаются из кабаков; вроде бы все спокойно и нормально, как вдруг ему в лицо прилетает твердый, как бетон, кулак и от неожиданности из головы вышибает все слова. Гогот, пока они проходят мимо, шумный и упоенный самодовольством, напавший на

него, стыд жарче топки. Другие черные матросы носят в кармане нож или бритву, но для него риск слишком велик. В полиции знают его как облупленного, могут обыскать из-за краденых часов, найдут бритву или нож — и что тогда? Два года за оружие для целей нападения. Вот он и отточил искусство быть незаметным. Ему известно, что его прозвали «Призраком», и это его устраивает, помогает в работе и напоминает героев американских комиксов, которые он выбирает старшему сыну:

Поглотителя
Черного Грома
Хрономанта

К тому времени как Махмуд входит в заведение Берлина, уже поздно; он заходил домой переодеться, пропустил мимо ушей требование платы за жилье от Дока и поспешно ушел в костюме-тройке и темном плаще. Берлин вечно вгоняет его в самокритику, у него-то вид всегда холеный, как у Кэри Гранта или еще какой звезды. Приглаживая усы, Махмуд толкает тяжелую черную дверь. Звуки калипсо заполняют зал, и от этого почему-то кажется, что в нем полно народу. Но в этот вечер понедельника клиентов здесь всего несколько: студенты в черных водолазках

на барных табуретах, белая парочка, неуклюже танцующая у музыкального автомата, — их бедра движутся не в лад, рывками. Берлин застыл неподвижно за стойкой бара, вытянув руки по обе стороны, сжав кулаки на стойке и склонив голову. Задумавшись, он не сразу замечает, что напротив него на табурете устраивается Махмуд; наконец поднимает голову и устремляет на него далекий и неопределенный взгляд ореховых глаз. Лицо у него как у акулы, акулы-молота, с плоским черепом и широкими темными губами. Он хорош собой, но это опасная, холодная красота. Никогда не забываясь, он никому не дает забыться, углубившись в него. Махмуд знает, что он бросил дочь в Нью-Йорке и сына в Бораме; о детях он говорит легко, явно не испытывая ни чувства вины, ни сожалений. Эта бесстрастность Берлина нравится Махмуду. Она означает, что рассказать ему можно что угодно, и это все равно что говорить со стеной: ни потрясений, ни нравоучений, ни жалости или презрения. Берлин не ждет от жизни ничего хорошего и по-житейски мудро принимает даже худшие из трагедий. Его отца убили у него на глазах во время нападения дервишей на их клан, и, должно быть, Берлин, увидев, как перерезают горло его родному отцу,

отучился цепляться за жизнь.

— Значит, опять тебя ветром сюда занесло? — спрашивает он на сомали.

— Тем же самым, которым надуло деньжат в мои карманы, *сахиб*. — Махмуд высыпает на стойку пригоршню монет. — Дай-ка мне пирог с черным кофе.

— Хороший день выдался на скачках?

— Очень даже недурной.

— Ты сегодня вечером кое-что пропустил. Полиция накрыла парочку китайских моряков с контрабандным опиумом, из ночлежки на Анджелина-стрит. Сами они тоже своим товаром не брезговали, так что в полицейскую тачку плелись на ватных ногах — они и тот любитель бибопа из университета. Здорово повеселили ребят, которые толкают травку, — еще бы, видеть, как полиция занята кем-то другим.

— Китайцы умеют хранить секреты. Должно быть, кто-то их сдал.

— Как говаривали в войну, у стен есть уши. Надолго в этом сучьем порту ничего не скроешь.

Махмуд в два укуса приканчивает свой пирог, жирный и черствый, но, к счастью, его скукоженный желудок легко удовлетворить. На кораблях он заглатывал все, что давали, и шел за добавкой,

а теперь ест ровно столько, чтобы обмануть собственный мозг, заставить его поверить, будто бы он уже подкрепился.

— Как думаешь, это не тот новичок-сомалиец из Габилеи наушничает легавым? Не нравится он мне что-то.

— Кто? Саматар? Вот на его счет ты зря. У него же коленки трясутся, едва он завидит полицейскую машину. Не тот он человек, чтобы быть осведомителем.

— Стукач, — заявляет так и не переубежденный Махмуд, перекатывая это слово во рту, словно выпавший зуб. Стукачей он ненавидит еще сильнее, чем легавых. Сидишь себе с человеком, играешь в покер или греешь руки, обхватив кружку с чаем, и опомниться не успеваешь, как в полиции тебе повторяют все до последнего слова, что ты сказал, и, какую бы чушь ты ни нес, в каком бы подпитии ни был, все сказанное оборачивается против тебя. Начинаешь отпираться, а полицейские берут тебя за горло и говорят, что точно знают — все так и было.

— Осведомителя я сразу чую, а он не из таких, — упорствует Берлин. В разговорах один на один он ведет себя тише, ему незачем влезать на стремянку и изображать начальство, того, кто

добился, кто всем показал. Дело к вечеру, и он угасает, как старый фитиль; протирает стойку нарочито медленно, кругами, проводит ладонью по глазам. Хоть волосы у него блестящие и черные, а спина прямая, ему уже за пятьдесят, и возраст начинает сказываться на нем; он уже не ходит по вечеринкам, которые только для того и устраивают, чтобы собрать денег на оплату жилья, и пользуется любым предлогом, лишь бы на выходных посидеть дома.

Его взгляд устремлен поверх плеча Махмуда, он следит за кем-то или чем-то.

— Что там? — спрашивает Махмуд и оборачивается.

— Да тот мерзавец с Ямайки, Кавер. Ну, плотник, который порезал в прошлом году Хэрси, — вон только что был возле музыкального автомата. Если кто здесь и осведомитель, так точно он.

Махмуд прищуривается, разглядывая фигурку, шагающую по противоположной стороне София-стрит. С виду вроде не тот человек, с которым хлопот не оберешься; при ходьбе размахивает руками, трубка у него в зубах попыхивает дымом в холодном воздухе.

— С чего ты взял?

— Хэрси он три раза полоснул бритвой, а потом

еще ударил разбитой бутылкой.

— За что?

Берлин воздевает руки к потолку.

— Может, ненавидит сомалийцев — кто знает? Хэрси еле выкарабкался, провалялся в больнице, кровь ему переливали раз за разом, а ямаец, слышь-ка, попал под суд, его признали невиновным, похлопали по плечу и отпустили спать домой. И сюда он носа не кажет. Осведомитель. — Последнее слово Берлин произносит так, точно сплевывает.

— Эти вест-индийцы ненавидят нас просто так, ни за что. Вот и этот змей, мой домовладелец, вечно желает мне зла.

— На кораблях — вот где начинаются все беды, а потом перебираются вслед за нами на сушу. Все мы деремся за крохи. Дурака ты свалял, если решил жить здесь. Надо было остаться со своими. Этот Кавер рано или поздно угодит за решетку, но раньше кого-нибудь прикончит.

Плотник скрывается из виду.

— Ты по-прежнему решительно против того, чтобы вернуться в море? — вдруг спрашивает Берлин. — Может, тебе пошло бы на пользу — улеглась бы вся эта шумиха из-за *завии*, шейх забыл бы о том, что случилось.

— С какой стати? Я хочу видеть сыновей.

— В бинокль с другой стороны улицы?

— Все лучше, чем из-за океана или даже двух, — завернув губу, огрызается Махмуд.

— Ей что, не нужно, чтобы ты деньги приносил, или как? Не принимай ты всерьез этих девчонок. Насмотрятся кино и думают, что семейная жизнь будет как длинный номер с песнями и танцами. Сплошные сюси-пуси и ути-пути. Сколько ей — двадцать? Двадцать один? Откуда ей знать, что такое отцовский долг? Ты же не хочешь, чтобы твои сыновья видели, как ты сидишь без работы и вечно на мели.

— С чего ты взял, что я на мели? — Махмуд вскакивает с табурета и хлопает о стойку бумажником. — А ну, загляни внутрь — и это, по-твоему, на мели? Да мне живется лучше, чем каким-нибудь морякам в пальто из Армии спасения и перчатках без пальцев.

Берлин закатывает глаза и подталкивает бумажник к Махмуду.

— Да сиди в Кардиффе хоть до последней трубы. Какое мне дело. Еще кофе хочешь, босс?

Махмуд кивает и отирает ладонью лоб. У него колотится сердце, он не может объяснить, почему так боится, что в конце концов взойдет на

борт какого-нибудь судна и не сумеет сдержать обещание, данное сыновьям. Поведет себя, как все остальные, словно плавучий мусор, который ничто и нигде не держит.

— Ты же игрок, тебе известно, что порой просто надо дать судьбе одержать верх. — Кофеварка шипит и выпускает пар, роняя последние капли в белую чашку. — Я не рассказывал тебе, что со мной случилось, когда я ездил в Нью-Йорк в 1919 году? — с улыбкой спрашивает Берлин.

Махмуд пожимает плечами.

— Я попал туда из доков Барри, славно послужил в торговом флоте в Первую мировую и был еще юнцом, но считал себя вроде как героем, пыжился, как раз начал отпускать усы. Судно разгрузилось в Нью-Йорке и ушло в сухой док, ну, я и сошел на берег вместе с жалованьем, которое так и норовило прожечь дыру у меня в кармане. Схожу и встречаю цветных красоток в мехах, чулках с вырезами чуть ли не до икр, с лентами в гладких волосах, и говорю себе: что?! Что я делал в кочегарке среди вонючих мужиков? Чуть ли не целую жизнь даром потратил! А девчонки эти были с юга, они и посоветовали мне поехать в Харлем, мол, самые шикарные и заводные места все там, и вообще для негра прямо рай. Говорю, везите

меня туда сейчас же. Едем мы на такси, потому что я хочу покрасоваться, и останавливаемся у какой-то закусочной, чтобы подзаправиться. Еда как вся еда у них, и тут свинина, и там, но я нахожу что пожевать, а одна из девчонок ну прямо куколка, так бы и расцеловал, и вот она льнет ко мне и смеется, и я к ней, и тоже смеюсь — хе-хе-хе, все зубы наружу, и напрочь забыл про корабль, про увольнительную и про все на свете. Я ведь месяцами к женщине не подходил… а эти девчонки и поют для меня, и заказывают еще и еще, видят проходящих подружек и зазывают их к нам, и я все жмусь к ним да хохочу. Мы доедаем, а они и говорят: а вот там-то вечеринка! Едем! И Луи там будет, и Фэтс, и белые богачи с хорошим контрабандным виски. Плачу за всех, снова берем такси, а то моя девчонка говорит, что у нее ноги болят, и едем мы на эту вечеринку на Лексингтон-авеню, и не вижу я там ни Луи, ни Фэтса — только приглушенный свет, потрясающая музыка и крепкое пойло. И я плыву, теряю в толпе мою девчонку, и опомниться не успел, как по мне уже топчутся, танцуют вовсю, а я валяюсь на полу. Пить я умею, ты же знаешь, и я задумался, что же это за американская выпивка такая, если от нее меня так развезло. Хочу найти свою

девчонку и схватиться за ее ноги, вот и ползу через толпу, думая, что узнаю ее красные туфли. Но их я так и не нашел, в итоге меня выкинули с вечеринки. Просыпаюсь на улице, и знаешь, что? Девчонки эти обобрали меня дочиста, в бумажнике осталась только карточка моряка, напоили, а потом обчистили. Поплелся я в центр, поближе к порту, но показываться капитану было стыдно, так что пристроился в одном из котлованов, где строили новый квартал и новый небоскреб. Сижу я, значит, жалею себя, смотрю на воду и держусь за голову, и вдруг кто-то как толкнет меня сзади. Вскакиваю, думаю, сейчас будет драка. А тот человек смеется, я и говорю: чего скалишься-то? И кулаки заношу. Не признал? А с какой стати мне тебя признавать? Гамбург, пятый год, говорит он. Я так и попятился, думаю, не может быть, а он изображает, как достает стрелу и стреляет в меня, и тут-то я вспомнил его имя. Тайайаке.

Махмуду кажется, будто он вернулся в *дугси* — в школу и учитель Корана расхаживает туда-сюда, и рассказы омывают его высокими волнами.

— И кто это был?

Блеснув глазами, Берлин делает паузу, чтобы залпом выпить эспрессо, и продолжает:

— Нам понадобится вернуться в тысяча девять-

сот пятый год. В Гамбург, Дойчланд. Я и еще сотни других наших перебрались через море и сушу, потому что нам сказали, что в Европе есть хорошая работа. Завербовал нас один сомалийский *далаал* — агент, который рыскал по всей территории кланов Хабр Авал, и Гархаджис, и Варсангели и искал таких людей, как мы, готовых пойти за ним. Я был мальчишкой, безотцовщиной, и, когда услышал, сколько народу из моего клана уезжает туда, моей старой матери было нипочем меня не удержать. Наш скот пал, из-за дервишей мы даже приблизиться к прежним колодцам не могли, так что жизни в верблюдах оставалось лишь на пару недель, и матери было нечего дать мне. Вот мы все — дряхлые и новорожденные, священники *вадаады* и ткачи, *сулдаан* и его слуги, горшечники и поэты — и поднялись на борт *дау*, идущей в Аден. *Далаал* не скупился на сладкие речи — мол, дойчей так поразили рассказы об отважных сомалийцах, что они непременно захотели увидеть нас во плоти, так что нам достаточно лишь показать им, как мы живем, и они набьют наши карманы золотом. С собой в *дау* мы везли наши седла и копья, молитвенные коврики и подголовники, горшки и другую утварь — все, что у нас только было! Прибываем мы в Гамбург,

а на пристани нас уже ждет фотограф. Его вспышка срабатывает, младенцы поднимают крик. Мы знакомимся с большим боссом Хагенбеком, он везет нас к себе в особняк, разрешает встать лагерем в его длинном зеленом саду. Я валюсь на траву и смотрю, засыпая, как женщины связывают деревянные каркасы для шатров, а когда просыпаюсь, вижу в щелях ограды маленькие белые лица, слышу хихиканье и шепот. Пугаюсь мелких беловолосых *джиннов*, убегаю в один из уже поставленных *акалов* и сижу там, а тем временем все больше и больше *гаалло*[4] сбегаются поглядеть на нас.

– *Астагфируллах*, — смеется Махмуд, — прямо как здесь по другую сторону железнодорожного моста.

— Нет… нет, это было что-то другое, они смотрели не так, как на чужаков, потому что их лица или одежда кажутся странными, — смотрели, будто сомневались, что мы в самом деле существуем, *валлахи*, Аллахом клянусь. Глаза у них были вот такие… — Берлин растягивает пальцами верхние и нижние веки, широко раскрывая глаза, — и они следили за каждым нашим движением. Смотре-

[4] Примечания: 4
Неверный, немусульманин (*сомали*). (*Прим. пер.*)

ли на нас, будто мы созданы их воображением, будто все они во власти галлюцинации.

— Так что это был за человек там, в Нью-Йорке?

— Вот к нему я и веду! Несколько дней мы пробыли в том саду и за это время увидели больше белых лиц, чем листьев на деревьях. Нас заманили в засаду, но твердили, чтобы мы жили как обычно, как в Африке. В Африке? Где это, спрашивал я. Никогда такого слова не слышал. У нас было укромное местечко, чтобы справлять свои дела, и что же оказалось? Немецкие мальчишки, мои ровесники, да и мужчины, хотя, казалось бы, уж им-то пора быть умнее, забирались на деревья, чтобы подглядывать за нами. Когда Хагенбек велел нам собирать вещи, мы возблагодарили Аллаха — *субханаллах*! — и так и поступили, только отправились не домой, а в турне. Мы шли к вокзалу, а наши враги бежали за нами, норовили потереть нашу кожу, будто ждали, что чернота отвалится, дергали детей за волосы, хватали вещи, которые мы роняли, и убегали с ними. Дикари. Нас ждал специальный поезд, на платформе были зебры, слоны, обезьяны, азиаты, африканцы, американские индейцы, австралийцы — все собрались вместе, как в Судный день. Мы

участвовали в каком-то карнавале, нас собрали со всех уголков земли, чтобы выставить напоказ в Берлине. Сажая в поезд, нас пересчитали, чтобы никто не потерялся, но внутри царил полный хаос. Сумасшедший дом — смешение языков, полуголые люди, вопящие дети. Я проталкивался в толпе, отыскивая себе место, и, когда другие сомалийцы остались позади, наконец нашел тихий вагон. Вокруг меня сидели только мужчины с похожей на гребень полосой волос на голове, прямо передо мной оказался парень почти моих лет с луком и стрелами в руках. Я плотнее закутался в свои три метра хлопковой ткани и сел — сурово, с жестким взглядом, но парень заулыбался, протянул мне руку, и я пожал ее.

— Это был тот, который нашел тебя в Нью-Йорке?

— Он самый, Тайайаке, мохок из Канады. В Берлине мы были неразлучны, сидели рядом, пока нас измеряли — в смысле, измеряли каждый *дюйм* нашего тела, фотографировали нас сидя и стоя, разглядывали так и этак, мазали гипсом наши лица, чтобы сделать и сохранить маски. Это не шло ни в какое сравнение ни с чем! Мы чувствовали себя королями. Соперничали друг с другом в играх, которые нам устраивали, глазели

на девчонок, спешащих на конкурс красоты. *О Аллах*, мы понятия не имели, что для них мы мало чем отличаемся от слонов или зебр. Несколько инуитов умерло там, так немцы забрали трупы, выварили и выставили на обозрение в музее. Даже упокоиться с миром было нельзя. Потом Тайайаке уехал в Америку, скакал там на высоте среди стальных балок, а я ушел в море. Нигде не нашлось земли, которую мы могли бы назвать своей и зажить в достатке.

— Так ты считаешь, что мне надо в небо или в море?

— Ты же моряк, разве нет? Незачем тебе цепляться за этот осколок кремня, который здесь называют страной. Погрейся у топки где-нибудь в Индийском океане и возвращайся с чистой совестью и деньгами в карманах.

— Никуда я не поеду. Дьявол свою родню не бросит. — Махмуд улыбается.

– *Докон иё малаггиица лама кала рээб каро*, дурень и его судьба неразлучны, — вздыхает Берлин. — Ступай тогда, сынок, мне закрываться пора.

Махмуд сползает с табурета, берет шляпу, а Берлин вдруг оборачивается и хлопает себя ладонью по лбу.

— Теперь понимаешь, как я постарел? Разболтался о том, что было тысячу лет назад, а отдать тебе вот это чуть не забыл. — Из ящика, полного бумаг, он вытаскивает голубой конверт, доставленный авиапочтой.

«*Махмуду Хуссейну Маттану, на адрес молочного бара Берлина, Кардифф*» — гласит аккуратная синяя надпись. Пятишиллинговая одноцветная марка с лицом покойного короля и картой Британского Сомалиленда сразу дает понять, кто отправитель.

Махмуд опять тяжело садится.

– *Хоойо* — от матери. — Он вздыхает, признавая поражение.

— Мать — она всегда догонит, хоть на другой конец света убеги, — смеется Берлин. — Прочитать его тебе?

Махмуд согласно машет рукой. Ни он, ни его мать не умеют ни читать, ни писать, но она както умудряется через все пространство и время вливать свои слова ему в уши. Он живо представляет, как она сидит в очереди к одному из писцов возле Управления общественных работ, как на грубо отесанном табурете помещаются ее хрупкие косточки, а длинные одежды свисают, чуть-чуть не доставая до пыльной земли, усы-

панной листьями эвкалипта. Воспоминания о матери камнем ударяют его в спину, он сутулится над стойкой, прячет лицо.

— Изобразить ее голос?

— Ножом в спину захотел?

Берлин усмехается, затем прочищает горло, вскрывает тонкий конверт и начинает читать нараспев:

«Мой последыш, мое сердце, мои колени, моя печень, последнее благословение моего чрева, я молюсь за тебя по пять раз на дню, прошу Бога, чтобы он явил тебе свой самый милосердный лик. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Скажи «*аминь*». Я ходила к прорицателю, и он сказал, что ты жив и здоров, и все трое твоих прекрасных сыновей в добром здравии, и их мать тоже. *Аминь. Аминь*. Я повидала в Харгейсе больше матросов из Кардиффа, чем могу пересчитать по двум рукам, и узнала от них, что ты постоянно переезжаешь. Да успокоит Аллах твои ноги и да утешит тебя, пока ты не вернешься ко мне. Когда уже твои мальчики подрастут настолько, чтобы увидеть мое старое лицо? Не то чтобы в нем сохранилась красота, но рядом со стариками обретаешь благословение. Не знаю, сколько еще мне отпущено времени, но

буду поститься и молиться до последнего вздоха. Мой сын, не забывай свою веру, свой *дин*, я женщина неученая, но одну *килми*, науку, могу с уверенностью передать тебе: нет гавани и приюта надежнее, чем у Аллаха. Никогда не забывай об этом. Твои братья передают тебе привет и просят сообщить, что подали заявку, чтобы выиграть концессию на первый кинотеатр в Харгейсе. Не знаю, им разрешат или тем головорезам, их соперникам, но если у тебя есть что вложить, — *машаллах*, а если нет, я передам им, что ничего не выйдет. Кое-кто из матросов возвращается таким богатым, сынок, что я надеюсь: когда-нибудь и ты выйдешь из вагона с чемоданами, детьми и довольной женой.

А теперь — *набадгельо иё сафар салаама*[5].

Твоя мать».

Берлин сворачивает письмо и кладет его перед Махмудом.

— Есть мужчины, которые только называют себя поэтами, а у твоей матери дар от природы.

— Слова ей служат стрелами.

— Поэзия — это война, чего же ты ждешь?

— Перемирия.

---

[5] Примечания: 5
Мира и спокойного пути (*сомали*). (*Прим. пер.*)

— Тебе правда оно не нужно?

— Нет, оставь себе.

Берлин проводит большим пальцем по сгибу письма и сует его в карман.

— Когда-нибудь ты поймешь… когда твоя мать уже будет лежать в земле и никто не станет молиться, плакать и заботиться о тебе так же, как она. Тогда и будешь согревать сердце письмами вроде этого.

— Тогда и поглядим… — отзывается Махмуд, надвигая фетровую шляпу пониже на лоб.

Перевернув табличку на двери, Берлин взгромождается на барный табурет и закуривает, его силуэт возникает и снова пропадает в свете мигающих лампочек музыкального автомата. Пол вымыт, касса опустошена, кофеварка вычищена, времени осталось лишь на то, чтобы всласть посмолить последнюю сигарету, пока Лу не подняла крик, зовя его в постель. Он и рад бы отделаться от мыслей, но они беспорядочно мечутся туда-сюда — счета надо оплатить, в суд вызывают за азартные игры на улице, воспоминания о воскурениях давно умершей матери вдруг ощущаются отчетливо, как сигаретный дым, и так же четко вспоминается младенческий рот уголками вниз — рот его американской дочери.

Он встает, выдвигает ящик за стойкой, достает старую открытку с Эмпайр-стейт-билдинг во время метели, проштемпелеванную десять декабрей назад. Печатными буквами на обороте Тайайаке желал ему хорошего Нового года и сообщал, что, кажется, видел Люсиль на детской площадке в Борум-Хилле, выглядела она здоровенькой и по лестницам карабкалась не хуже какого-нибудь монтажника. Открытка лежала в этом ящике с тех пор, как пришла, каждый день Берлин думал, что вот сегодня ответит на нее, но почему-то так и не собрался. Бруклин отошел в прошлое, достался тому, кем он был, пока Закон Джонсона — Рида не очистил Америку от таких людей, как он. Он силится поддерживать жизнь в давних словах; друзья, любимые и даже дети словно растворяются, когда он отворачивается, и возникают обрывками в его сновидениях и в тихие минуты, чтобы предъявить на него права.

Махмуд стоит на Дэвис-стрит, сквозь дыру в тюле на подъемном окне глядя, как его семья готовится ко сну. Тонкая и угловатая, его жена стоит, пристроив Мервина на бедре и покачиваясь, чтобы убаюкать его; ее каштановые волосы блестят при свете лампы с оранжевым абажуром. Ее мать рядом, они разговаривают в своей рез-

кой манере, размахивая руками. Омар и Дэвид в трусах и майках скачут на постели, устраивая кавардак. Если бы он вошел, они принялись бы карабкаться на него, как мартышки на дерево, и смеялись бы как помешанные, а их мать пыталась бы испепелить его взглядом. Она и была, и *остается* грозным противником, способным утверждать, что темное — это светлое, а светлое — темное, и так зла на него, что напустила бы все ветхозаветные казни, если бы могла.

Он потерпел поражение. Это стекло между ними обозначает расстояние, которое незаметно, но, несомненно, росло все пять лет брака. Он знал — нет, пожалуй, не знал, а чувствовал, да, чувствовал, — что она встречается с другим. Он вроде бы заметил ее выходящей из кинотеатра с каким-то чернокожим, довольно светлым, с тонкими усиками; да, лица его спутницы он не видел, что правда, то правда, не смог за ними угнаться, но сложена она была так же, как Лора, и с волосами того же цвета. Она так изменилась за последние пять лет: и в бедрах, и сверху немного налилась. Перестала быть плоской как доска, но острый язычок сохранила и могла изранить мужскую гордость быстрее кошки-девятихвостки. Когда они впервые встретились в каком-то городском

кафе, в волосах у нее поблескивала изморось, а кожа была немногим темнее беломраморной стойки. Ее глупая сестра тогда устроилась на ночлег у магазина меховщика, чтобы первой купить поддельную норку или шиншиллу, когда утром начнется распродажа. Лора заказывала пару чашек чаю, когда почувствовала его пристальный взгляд. Стрельнув в него глазами зеленого оттенка морских водорослей, она снова затеребила застежку сумки. Он не знал, что сказать, в то время его английский все еще был скудным, его хватало лишь для машинного отделения, однако он не хотел, чтобы она ушла, а он даже не попытался привлечь ее внимание. Ему понравилась ее красная шляпа, то, как волосы загибались снизу у лица, твердость носа над мягкими розовыми губами, как стильно она носила свою дешевую мешковатую одежду. Наконец он осипшим голосом выговорил: «В кино хочешь пойдем?» Потом она еще долго будет передразнивать его акцент и неуклюжее приглашение, но в тот раз согласилась пойти с ним на свидание, а три месяца спустя они поженились. Свои встречи они не афишировали. Лора сказала только своей сестре, он вообще не удосуживался посвящать других сомалийцев в свои дела — зачем? Чтобы услышать

от них, что она обдерет его и бросит, оставив голым и босым? Или однажды вдруг переменится и назовет его грязным ниггером? Или что так и не научится смотреть как следует за его детьми и будет пичкать их свининой и вареной картошкой?

В день их свадьбы он сделал крюк, чтобы купить белую гвоздику на лацкан своего коричневого пиджака, и, когда прибыл к бюро регистрации, застал Лору взвинченной, с красными глазами. Ее бабка прихромала из долин Южного Уэльса, чтобы помешать свадьбе, но ничего у нее не вышло, и всю церемонию она просидела на деревянном стуле в дальнем конце комнаты, читая Библию и взвывая: «Господи, помилуй наши души!» Все прошло слишком быстро и беспорядочно, и теперь, по прошествии времени, он понимает, что должен был явиться с визитом к ее родителям, дать им понять, что он не какой-нибудь каннибал, уже приготовивший для их дочери кастрюлю, должен был купить ей кольцо, давать ей больше денег на жизнь, пока он в море. В глубине души он считает, что она так и не простила ему уход в плавание сразу после поспешного завершения брачных клятв, да еще в чужой постели, или то, что он провел вдали от нее восемь месяцев, перебираясь из Кении на Цейлон, потом в

Малайзию, Австралию и обратно. Это был самый выгодный контракт в его жизни, но право же, и ему он недешево обошелся.

В каком-то смысле они все еще друзья, изредка выходят пройтись вместе, его все еще ждут в гости в любое время. И у них едва не получилось, они чуть было не посрамили всех, кто предрекал им печальный финал. Кто еще смог бы вломиться вот так в дом белых? Входить через дверь с чемоданом и улыбкой? И все благодаря Лоре. В ее гладком гибком теле таилась огромная сила — это невозможно отрицать. Вот была бандитка. Закрывала дверь в их каморку и знала, что их прекрасно слышно всем. От этого он любил ее еще сильнее. Худшим, пока он жил в этом доме, были встречи с ее отцом ночью на площадке — оба в трусах, вид у него такой, будто больше всего ему хочется столкнуть чужака с лестницы. Но даже он в конце концов смягчился, находил Махмуду работу кочегара и заявил Лоре «как постелешь, так и поспишь», когда прошлым летом она захотела развода.

3. Саддех

— О, видела бы ты вот это!

— Что? Покажи.

Дайана расправляет газету как следует и поворачивается, показывая ее старшей сестре.

«Женщина, заставшая мужа в дамском белье, получила развод».

— Ну и болван!

— Не понимаю, зачем люди женятся, если для них это всего лишь забава, в самом деле не понимаю, — говорит Вайолет, жадно бегая взглядом по печатным строчкам.

— Ты только послушай — а ты заткни уши, Грейси! «На муже было не только белье жены, но и те предметы, которые он купил специально для себя».

— Ох, позорище, как же он мог так поступить с ней?

— И вот еще… «она заподозрила неладное, заметив, что верхний ящик ее комода неуклонно пустеет», — у Дайаны вырывается смешок, от неожиданности Грейс роняет нож. — Забирай газету, я же знаю — ты обожаешь такие статьи. —

Она кидает «Эхо» в сторону Вайолет и берется за нож и вилку.

— Не *обожаю*, просто читаю и радуюсь, что так и не вышла замуж.

— Да уж, вот так попадешь в «Эхо» — сразу поймешь, что ошиблась в выборе.

— Как думаешь, кто-нибудь из наших мужчин способен так же чудить? — шепчет Вайолет, прикрываясь газетой от Грейс.

Дайана вскидывает брови:

— Держу пари, что да. Мужчины есть мужчины, и этим все сказано. Нет конца дурацким выходкам, на которые они способны.

— Даже *фрум?*[6]

— Эти особенно! Религиозной женщине я еще доверюсь, но религиозному мужчине — ни за что. Просто они лучше умеют скрываться, как по мне.

— Но ведь Бен был не таким, правда?

— Да, но он был святым. А еще — сентиментальным донельзя, не умел подолгу хранить секреты и врать, в общем, такой был забавный.

— А тут дальше еще хуже… да еще женщина на этот раз! Подала на развод, хоть и выселила

---

[6] Примечания: 6
Религиозные евреи (*идиш*). (*Прим. пер.*)

мужа в садовый сарай и пустила в супружескую постель квартиранта. Судья отказался рассматривать ее заявление о том, что муж ее оставил, и объяснил, что это она его оставила. Ну и наглая же баба.

— Вот это *хуцпа*.

— О нет… Еще одно ограбление со взрывом гелигнита в Лондоне. Ювелира, который делал оправы для бриллиантов в Мейфэре, — следов проникновения со взломом нет, но сейф взорван, и тридцать тысяч фунтов похищены, за последние двенадцать месяцев это уже шестое нападение одной и той же банды.

— Знаю я, к чему ты клонишь, Вайолет. Но разве такая банда польстится на гроши в нашем сейфе? Их даже на ужин в «Савое» не хватит.

— А если местным придет в голову то же самое? Думаешь, после войны трудно раздобыть гелигнит? Да его же полным-полно припрятано по всей стране.

— Ум у тебя как подводная лодка, нет таких глубин паранойи, которые были бы для нее недосягаемы.

Вайолет медленно поворачивает голову, окидывает сестру пренебрежительным взглядом.

— А ты чересчур наивна. Этот мир меняется

лишь к худшему, так что остается либо не обращать на это внимания, либо делать все, что можешь, чтобы защититься.

— Вот уж наивной меня никак не назовешь. Просто я стараюсь зацикливаться не на потрясающих ножами маньяках, бандах с взрывчаткой и всевозможных катастрофах, а на чем-нибудь приятном. Кстати, о приятном… Пурим!

Грейс поднимает голову и словно оживает после долгого молчания.

— Мам, а ты научишь меня танцам в линию? А бархат для юбки ты нашла? Тетя Вайолет уже сделала мне корону.

— Еще нет, я искала пурпурный, а пока попадались только красные и синие. Но не волнуйся, я успею, и сахара я сэкономила достаточно, так что сможем испечь не меньше трех кексов, да еще с настоящими яйцами от миссис Ллевеллин.

— Ручаюсь, ты будешь красивее настоящей царицы, — улыбается Вайолет.

— Очень на это надеюсь! Сара тоже будет царицей, и я хочу выглядеть лучше, чем она.

Открытка со взморья еле держится сбоку на шкафчике; липкая лента, которой она приклеена к лакированному палисандру, иссохла и пожелтела. Смотреть на нее настолько привычно, что

она замечает только силуэты и цвета: толстый мужчина и тоненькая девочка, мешок, из которого сыплются золотые монеты, облачко для текста, повисшее между ними. Это ее отец повесил сюда открытку, почему-то забавляясь ее легким пренебрежением к таким людям, как он сам, хозяевам ломбардов и заимодавцам. Ей открытка была ненавистна, но убрать ее означало убрать и отпечаток его пальца, сохранившийся между липкой лентой и глянцевым голубым картоном, и смех, краткими порывами вылетающий из его зарубцованных легких. Эти драгоценные реликвии были необходимы, чтобы напоминать ей: их лавка — не тюрьма, а святилище, изобилующее метками ее жизни и жизни ее родных. Она придвигает к себе рулон дорогой белой тафты и вспоминает, как мягко отец говорил, что очень хотел бы раскроить эту ткань ей на свадебное платье, но подобно ей самой, тафта осталась нетронутой, так и пролежала у стены вместе с другими роскошными отрезами. Она разворачивает целлофановую упаковку и оценивает состояние товара: шелк стал немного ломким и тонким по краям, впитал запах сырости от стен, но, к счастью, дыр в нем нет. Еще одна импульсивная отцовская покупка — порадовать глаз

красотой, вместо того чтобы положить деньги в кассу. Пощупав ткань, она прикидывает, как сошьет из нее платье для Грейси на Пурим — все лучше, чем тафта так и проваляется здесь без дела, думает она. Их покупателям такая роскошь не по карману. Она открывает один из крошечных ящичков в шкафу с разной галантереей и находит разрозненные стеклянные бусы, перламутровые пуговицы, блестки и ленты. Она могла бы расшить ими прелестный лиф из дешевого синего плюша, а тафту пустить на пышную юбку. Отец наверняка улыбнулся бы, увидев Грейс в таком роскошном наряде, ведь сам он изо дня в день носил одни и те же твидовые брюки и жилет, а подштанники штопал и латал до тех пор, пока на них живого места не оставалось. Не из тех они были людей, чтобы баловать себя; только малышка Дайана овладела искусством хорошо одеваться — наверняка потому, что все детство проходила в чужих обносках. До Пурима еще шесть дней, в выходные ей хватит времени дошить платье и порадовать племянницу неожиданным подарком — парой эмалевых браслетов.

По Бьют-стрит грохочет трамвай, поднявшийся ветер барабанит в оконные стекла. Одно большое — настоящее викторианское, на закате отбра-

сывает искаженное отражение на стену. Другое пришлось заменить в сорок седьмом, когда какой-то солдат швырнул в окно лавки кирпичом, чтобы отомстить по своему разумению за двоих британских солдат, которых Иргун повесил в Палестине. До дурня явно не дошло, что один из этих двоих тоже был евреем. Розенбергам в Манчестере пришлось еще тяжелее. Пабы закрылись в те банковские каникулы из-за нехватки пива, и какая-то шпана воспользовалась снимками мертвых Томми на первых полосах газет как предлогом, чтобы разгромить столько еврейских лавок, сколько нашлось в Читем-Хилле. Потрясение, которое испытала Вайолет в ту летнюю ночь, когда разлетелось стекло в их окне, еще живо: от каждого неожиданного грохота или лязга ее нервы натягиваются туго, как струны. Она терпеть не может время закрытия соседних заведений, когда улицы наполняются мужскими криками, звоном разбитых бутылок и руганью, а между матросами, докерами и рыбаками с траулеров вспыхивают драки.

Этот клочок земли, отвоеванный у болотистой низины и все еще жидкий глубоко под фундаментами, — их единственное убежище. Однако сырость ползет вверх по стенам домов, подтачи-

вает их, предостерегает, что им здесь не место и что когда-нибудь их домом вновь завладеет море.

Кажется, что дождь не прекращается ни на минуту, и сегодня льет сильнее обычного, струйками стекает на тротуар с насквозь промокшего парусинового навеса над входом в лавку. Вайолет выглядывает в окно как раз в тот момент, когда мимо проезжает такси: дворники скользят по стеклу туда-сюда, внутри хорошо одетая пара страстно целуется, закрыв глаза. Открыв дверь, она выходит подышать минутку свежим воздухом; даже в такую погоду компания мальтийских моряков стоит возле их ночлежного дома и беседует во весь голос. Дальше по улице мистер Зюссен высовывается из дверей, озабоченно присматривается к переполненной сточной канаве перед его ломбардом. Он похож на персонажа из Библии: длинная белая борода свисает до пупа, рослое, нервное, плоскозадое тело живет, кажется, уже не первый век, унылое лицо обычно глядит равнодушно — десятилетием больше, десятилетием меньше — из застекленной будочки кассы. Вайолет любит и его, и всех персонажей, среди которых выросла, любит их цельность и приземленность. Налетает ветер и бьет, сырой

и холодный, ее по щекам. Еще один день закончился, шепчет она себе под нос, потом закрывает дверь.

Взглянув на наручные часы, она видит, что минутная стрелка дрожит почти у восьми, и, когда уже собирается запереть все пять замков, две молодые, броско накрашенные женщины шагают из-под дождя под навес.

— Паршивый вечер! А я, как назло, забыла зонт дома. Можно нам заскочить на секунду, мисс Волацки?

Вайолет узнает обеих: девушки из кафе. Сплошь перекись и румяна.

— Ох, не следовало бы мне, ведь закон о времени закрытия вступил в силу и так далее, ну ладно, входите, только поживее.

— Спасибо, дорогуша, — говорит Мэри.

— Вам чем-нибудь помочь?

— Шарф будьте добры, не для того я столько билась с укладкой, чтобы явиться в паб, как мокрая шавка.

— Укладка чудесная, — улыбается Вайолет, окинув взглядом обесцвеченное подобие нимба вокруг головы Мэри. — Идите сюда, выберите, какой вам нравится.

Пока Мэри примеряет шарфы перед зеркалом,

повязывая их то так, то этак, Маргарет подходит к прилавку.

— Знаете, мисс Волацки, я, пожалуй, заодно посмотрю пару туфель для своей старшей. Ступни у нее растут, словно она каждую ночь сует их в удобрения.

— Кожаных?

— О нет, обойдется и парусиновыми, все равно и месяца не пройдет, как понадобится новая пара.

— Скоро нас перерастут, — говорит Мэри, обдирая облупившийся лак ногтем большого пальца.

— Какой у нее размер?

— Кажется, первый, или чуть меньше.

Вайолет наклоняется над коробками, вытащенными с полки, корсет врезается ей в живот. Она еще не разобрала эти коробки, руки не дошли, и вот теперь ей приходится рыться в беспорядочной куче парусиновых туфель на резиновой подошве.

— Первого размера я не нахожу, Маргарет. — Вайолет с громким вздохом выпрямляется и встает. — Но я точно помню, что где-то у меня они были, так что приходите утром, и мы вам что-нибудь подыщем.

Мэри повязывает голову новым шарфом, глядя в зеркало, проверяет, не испачкала ли зубы

губной помадой и оборачивается к Вайолет, сияя самой ослепительной из своих улыбок.

— Раз уж я зашла, возьму заодно невидимки и коробок спичек, — говорит она, протягивая монеты.

— Ладно, мисс Волацки, я приведу ее к вам утром, чтобы заодно уж сразу и примерить. Извините за беспокойство, — отзывается Маргарет.

— Ну, что вы, никакого беспокойства. Будьте осторожны, не промокните под дождем.

— Ничего с нами не сделается, нам только до паба добежать, нас ребята ждут.

Они открывают дверь, и входит ночь: шлепают шины по мокрому асфальту, несет кунжутным маслом и жареным мясом из китайского ресторана Сэма Он Вэня, металлически позвякивает калипсо с пластинки, тонкие тени жмутся к автобусной остановке, затаившись на корточках.

— Пока, мисс Волацки.

— Доброй ночи.

— Сколько же угля ты бросила в камин, Дайана? Здесь прямо тропики. — Вайолет обмахивает лицо, входя из лавки в соседнюю столовую.

— Сначала выставь эту ногу вперед, затем другую… ох, ну попробуй еще разок… — Дайана держит Грейс за руки, Грейс пошатывается в

материнских туфлях на высоких каблуках. — Для того, чтобы сохранить равновесие, надо стоять прямо, но колени не сжимать.

Радио громко играет Хэнка Уильямса, трещит пламя в камине, раскаленный докрасна уголь рассыпается, ударяясь о решетку.

— Я попросила маму научить меня танцам в линию, — кричит Грейс через плечо и спотыкается о материнскую ногу.

— Только не ушибись, Грейси, еще успеешь в жизни находиться в неудобной обуви. — Вайолет протискивается мимо них в кухню и моет руки.

— Грейси, давай прервемся и поедим. — Дайана вынимает дочь из туфель с перепонкой и усаживает на стул во главе стола.

— От вчерашней говядины ничего не осталось? — спрашивает Вайолет, вытирая руки посудным полотенцем.

— Нет, к сожалению, сегодня утром я сделала с ней бутерброды для Грейси.

— Ничего, я и без нее найду, чем нас накормить.

Сегодня вечером на столе пустовато, но в кладовой есть покупной заварной крем, а во фруктовой вазе — несколько груш.

Едва Вайолет садится, в дверь лавки звонят.

— Да не открывай, и все. Уже десять минут как закрыто. Утром придут, — вздыхает Дайана.

Вайолет медлит в нерешительности, но все же встает. Этот звонок и лавка подчиняют ее себе так, что она не в силах сопротивляться.

— Должно быть, кто-то из постоянных покупателей. Я сейчас, только выясню, кто это и что ему надо.

— Смотри только, чтобы еда не остыла.

— Я недолго.

Грейс рискованно откидывается назад на стуле, глядя, как ее тетя проходит по тускло освещенной лавке и отпирает входную дверь. Дайана успевает придержать стул дочери, пока тот не опрокинулся.

— Сядь как следует и ешь.

За пару секунд они успевают увидеть цветного мужчину, стоящего под дождем на крыльце, а потом Дайана закрывает дверь столовой, спасаясь от холодного сквозняка.

4. Афар

— Миссис, вы не убавите музыку? — спрашивает тяжело отдувающийся полицейский в форме, возникая в дверях столовой. Свою черную каску он прижимает к животу, его веки подрагивают.

— Выключи приемник, Грейси. Чем могу помочь? Опять сработала охранная сигнализация?

На его лице отражается замешательство.

— Нет… произошло несчастье. С вашей сестрой.

— Что?.. — Дайана выглядывает из-за его плеча и видит в лавке других людей. — Прошу прощения… — говорит она, мягко отстраняя полицейского с дороги.

Грейс сбрасывает туфли на каблуках и в белых носках спешит за матерью.

— Что происходит? — Дайана переводит взгляд с одного незнакомого лица на другое.

Мужчины поднимают головы и оценивающе смотрят на нее.

— Мои соболезнования, миссис Танай. Мы только что прибыли. Ее обнаружил вот этот джентльмен, когда зашел за сигаретами. — Детек-

тив указывает на мертвенно-бледного старика в кепке.

Холодный ночной ветер раскачивает входную дверь, и, только когда Грейс направляется вслед за матерью к кассе, Дайана замечает на полу кровь, пропитавшую подошвы носков ее дочери — белых, с оборочками.

— Стой! — кричит Дайана.

Она оттаскивает Грейс, затем заворачивает за угол, к северной стороне лавки. Вайолет лежит лицом вниз, освещенная низкой лампой с застекленного шкафа, кровь забрызгала белые стены вокруг нее.

— Вайолет, вставай! Что случилось, дорогая? — Дайана порывисто наклоняется, чтобы поднять сестру, думая, что она ударилась головой и потеряла сознание, но, отведя волосы в сторону, видит длинную зияющую рану у нее на шее. Отшатнувшись на каблуках, она кричит: — Кто это сделал?

Полицейский в форме помогает Дайане подняться и просит ее увести Грейс обратно в столовую.

— Неужели вы правда ничего не слышали, миссис Танай?

— Нет! Нет! — Дайана лихорадочно озирается в поисках Грейс, но та все еще у прилавка с кассой,

поднимает сначала одну ногу, потом другую, разглядывая красные пятна на носках. — Не смотри, детка, не смотри!

Она прикрывает глаза Грейс ладонью, но сама, не удержавшись, оглядывается — на отпечатки рук и коленей, ведущие в глубину ниши, где хранятся коробки с обувью и где лежат, перевернутые вверх толстой подошвой, туфли самой Вайолет.

Осторожнее, Гвилим, в крови топчешься. Приблизительное время смерти — между 20:05 и 20:15. Первым на месте преступления оказался некий Арчибальд… Нет, исправь на «Арчболд». Зашел за пачкой сигарет. В соседней комнате ни звука не слышали. Ее сестра малость глуховата, а на двери столовой уплотнитель от сквозняков. Чертовы криминалисты опять не торопятся. О, вот и старший инспектор подтянулся. Наложить запрет на все суда, выход которых из порта был намечен на сегодня. А ближайшие родственники все это время ужинали. Кажется, она видела чернокожего в дверях в девятом часу. Несколько попыток взлома в последнее время. Как видите, в доме нет мужчин. Никаких криков, должно быть, впустила его. Всего пару дней назад ее видел. Упокой, Господи, ее душу.

Ха-Шем! Ха-Шем! Мэгги, Мэгги, погляди, что сделали с нашей Вайолет. Горло ей перерезали. Где Грейс? Здесь, Дайана, вот здесь, рядом. Сколько же там чертовых полицейских. Почему нас к ней не пускают? Как же так вышло, что ты ничего не слышала? Сходи наверх, возьми в шкафу бренди. Справа. Выпей, Дай, пожалуйста. Прекрати качаться. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Сегодня вы должны остаться у нас с Дэниелом. Никогда, никогда, никогда. Как такое могло случиться? Отвернулся Бог, что ли?

Снаружи целая толпа зевак, шеф. Отгоните ее. Родственники видели на крыльце какого-то черного прямо перед тем, как все случилось. Обойдите все ночлежки для цветных. Останавливайте все суда, покидающие порт. Они тут рядом прямо плач по покойнице устроили. Такой у них обычай. Вы уже сделали все снимки, какие надо? Судя вот по этим отпечаткам, она пыталась спастись. Стало быть, мы имеем дело с настоящим злодеем. Знаете, они ведь собираются завтра же похоронить ее. Сначала вскрытие. Вообще-то тут и так все ясно — да, шеф? Здоровенные резаные раны на шее. Что-нибудь пропало? Пока неизвестно, но наверняка. Прибыла машина

из морга.

Барух даян га-эмет. Потерпи, Дайана, Господь тебя утешит. Ты правда в это веришь? Грейс, иди сюда, посиди у меня на коленях. Да ты совсем холодная, детка. Закрой глаза, прислонись ко мне. Я уже всех обзвонил, все едут. Господи. Равви Герцог уже выехал из Римни. Они меня сметут. Мне их ни за что не сдержать. Кто-то у задней двери. Это Джошуа, кантор из синагоги.

— Да утешит вас Всемогущий среди скорбящих Сиона и Иерусалима.

— Я сразу вижу, когда человек под гипнозом.

— Но как, Док?

— Тебе ли не знать, Манди! У тебя на родине, в Гамбии, ведь есть обиа, так? Не одни же там только бонго и джунгли.

Раздражение вспыхивает в раскосых глазах гамбийца. В этом доме он самый образованный из всех, в шестнадцать окончил школу при миссии, но Док то и дело норовит его принизить. Резко выдохнув, он потирает бугристый келоидный рубец на шее, где несколько пружинистых волосков врастают в кожу, ввинчиваются в нее, как миниатюрные сверла. В тусклом свете кажется, будто на голове Манди надета плотно прилегающая

коричневая шапка; волосы сбриты под острыми углами на висках и шее и набегают на лоб, пока не останавливаются внезапно несколькими сантиметрами выше кустистых бровей.

— По мне, гипноз — это другое. Его показывают старые хрычи в белых куртках.

— Необязательно. Хоть в варьете, хоть у стариков в белом — типа подчинить и заставить во всем признаться, — понимаешь, к чему я веду? Это мощная штука. Если уж попался, ты *под ним*.

— Так как же ты это видишь, Док?

— В газетах-то все черным по белому. «Бледность, вид как у помешанного, апатичная реакция», и я в море повидал людей, которые могли вытворить что угодно, а потом были не в состоянии объяснить ни черта, а теперь этот доктор Франкенштейн решил представлять такое в Новом театре. — Док Мэдисон тянется к тумбочке за кучкой таблеток, которые обычно глотает в восемь вечера. Его кровать с железными столбиками, заваленная подушками и цветастыми стегаными одеялами, имеет вид восточного трона, оплота величия и мудрости, а пурпурная шелковая пижама Дока лишь усиливает царственную атмосферу. Он ушел с торгового флота, купил этот обветшалый дом в ряду точно таких

же, на улице за тюрьмой, а затем улегся в постель и нагло пренебрег законом белых, продолжая получать государственное пособие и при этом сдавать комнаты в аренду. Док живет и спит в гостиной, вместе с Джекки. Его квартиранты шутят, что эти двое в постели — готовое пособие для студентов-медиков: вот так выглядит молодое сердце, вот какой становится печень старого моряка, вот пухлая здоровая матка, а вот обвислая старческая мошонка.

— И что ему сказали?

— Чтоб поискал другое место! Они еще в своем уме.

— Загипнотизируешь хоть дядьку, хоть тетку — и приказывай им что хочешь, отдать бумажник или ключи от дома, и влезай девчонке в трусы без ее причитаний, что папаша ее убьет, или вопросов, сколько у тебя припрятано. Мощная штука.

— Думает, он важная птица, ведь он еще и доктор медицины, но какой доктор будет просить деньги с порога, да еще захочет антракт? Мошенник, вот какой. Подбрось-ка еще угля, малец, прямо до костей пробирает, да еще проклятый дождь льет всю ночь.

Манди ворошит кочергой оранжевые угли, потом берет большой брикет угля и бросает его

подальше в камин.

Входная дверь рядом с комнатой Дока грохает так, что трясутся хлипкие окна с подъемными эдвардианскими рамами и сквозь щели в гнилом дереве в дом влетает свирепый сквозняк. Весь дом такой же немощный и хворый, как его хозяин: сырость ползет все выше по шелушащимся стенам, кишки водопроводных и канализационных труб урчат и страдают засорами, прохудившиеся и обмотанные там и сям газовые трубы изрыгают вонь.

— Чтоб его черти взяли! Зачем так хлопать дверью?

Манди презрительно втягивает воздух сквозь зубы и ерзает, снова умещаясь в ямы, продавленные его мышцами в красном бархатном кресле, и скрывая своим телом проплешины на обивке и видимые части остова. По голым сосновым половицам коридора слышны шаги, оба мужчины устремляют возмущенные взгляды на дверь.

Как и ожидалось, медная ручка поворачивается, в комнату входит Махмуд: дождь придал лоска его черному шерстяному пальто, расшил его блестками, с хомбурга стекают струйки на единственное ковровое покрытие во всем доме.

— Ну, надо же, вот и он, прямо как смерть с

косой. — Манди окидывает Махмуда взглядом от залысин до мысков остроносых туфель.

— Так и будешь дубасить мою дверь, пока не треснет? Ты хоть знаешь, во что встанет замена?

— Да остынь ты, Док, ничего твоей деревяшке не сделается. — Махмуд широкими шагами проходит по комнате и садится на обитый твидом диванчик. Порой ему приходится напрягаться, чтобы разобрать резкий ямайский акцент Мэдисона.

— Смотри не намочи обивку!

Кинув взгляд на домовладельца, Махмуд снимает пальто и кладет его, свернув лицевой стороной внутрь, на подлокотник рядом.

— «Эхо» у тебя есть?

— Ну как, сегодня повезло? — спрашивает Док, бросая ему газету.

— Слегка, — никаких других ответов на этот вопрос он никогда не дает, не хватало еще, чтобы кто-нибудь совал нос в такую деликатную сферу, как его *насииб*[7].

— Слегка — значит, можешь оплатить жилье вперед за следующую неделю.

— Нет, это если бы я сразу выиграл много. — Он

---

[7] Примечания: 7
Удача, везение (*сомали*). (*Прим. пер.*)

медленно переходит от страницы к странице, разглядывает хорошеньких девушек в рекламах, листает газету наоборот, от конца к началу, как будто она на арабском.

— Пальто новое, — это утверждение, а не вопрос, и Манди переводит взгляд с Махмуда на его пальто. Он подносит расписанное цветами блюдце к губам и с хлюпаньем выпивает пролитый на него чай.

— Оно старое.

— Я вроде бы видел, как утром ты уходил в этом своем старом спортивном пиджаке.

— Переоделся.

— Ты что, Золушка, — крутанулся на месте и на тебе уже другая одежда? — встревает Док.

Махмуд улыбается.

— Что скажете насчет завтрашних скачек?

— В четырнадцать часов интересные лошади, от Старого Табаско, с хорошим жокеем-шотландцем, и все такое.

Махмуд просматривает список; по-английски он читает еле-еле, но любит делать вид, будто читает бегло, вдобавок он разбирает несколько знакомых кличек и все цифры.

— Этот пройдоха Рори Харт опять попал в газету — за пьянство и нарушение порядка, — Док ска-

лит крокодильи зубы, — значит, говорит он судье, мол, хотел только оттолкнуть лодку[8], — он смеется, выдыхая через ноздри, — а почтенный судья ему: «Что же помешало вам оттолкнуть ее снова?» И знаешь, что отвечает ему Харт? — У Дока вырывается смешок, эхом отдается от стен. — «Так эта лодка затонула». *Эта. Лодка. Затонула.*

Все трое смеются удачной остроте докера.

— Да уж, надо быть ирландцем, чтобы сказать такое судье! — Хихикнув, Манди чуть не давится чаем.

Прихватив пальто, Махмуд пользуется случаем, чтобы улизнуть, пока Док не завел все ту же песню про плату за жилье, или про дверь, или уголь, который сам собой с улицы не придет, или про молоко, пролитое на кухонный стол.

В своей почти пустой комнатушке Махмуд снимает костюм в узкую полоску и вешает пиджак и брюки на покореженную проволочную вешалку. Его тонкие носки промокли на мысках и пятках, но он их не снимает, боясь ложиться в постель — при этом ему всегда кажется, будто он ныряет в ледяную воду. Раньше этим вечером он пытался встретиться с той русской, черноволосой

---

[8] Примечания: 8
Раскошелиться или развлечься. (*Прим. пер.*)

воровкой, которую заприметил в пабе «Ведро крови». Она старше его, умнее и злее, между ними вспыхивают опасные искры. Хоть он и давал себе зарок, что больше не будет видеться с ней, сам не заметил, как очутился перед ее красной дверью. Но ее не оказалось дома, наверное, крутила шашни с каким-нибудь другим болваном. Надо ему просто порвать с этой женщиной и позаботиться, чтобы Лора о ней никогда не узнала.

Сделав глубокий вдох, он ныряет под шерстяные одеяла, его жилистые руки и ноги передергиваются, когда хлопковая простыня норовит лишить его и без того жалких остатков тепла. Ворочается в постели, старается разогнать кровь, но холод сильнее его. Уминая кулаком древнюю затхлую подушку, чтобы придать ей хоть немного сносную форму, Махмуд вдруг вздрагивает от громкого стука во входную дверь.

Слишком позднего для хороших вестей, слишком дерзкого для кого угодно, кроме полиции.

Слышатся тяжелые шаги Манди, потом скрип двери.

— Привет-привет, извиняюсь…

— Инспектор! Пожалуйте, пожалуйте.

У них на меня ничего нет и быть не может, думает Махмуд. Наверняка это из-за того нового

ямайца наверху — Ллойда, или как там его: говорит, что боксер, а сам никогда не тренируется и в боях не участвует, только сидит наверху да курит травку, выпуская дым в окно.

Док повысил голос, Махмуду отчетливо слышно его через стену.

— Детектив Лейвери! Что привело вас сюда в такую гнилую ночь? Я прилагаю все старания, чтобы мое заведение было приличным, христианским, и очень, очень расстраиваюсь, когда что-нибудь в нем возбуждает у вас подозрения.

— Для чрезмерного беспокойства нет никаких причин, мистер Мэдисон, ваш ночлежный дом не единственный, куда мы намерены заглянуть сегодня. Ваши жильцы все дома? — У Лейвери сильный валлийский акцент, голоса этих двоих вместе звучат как у лорда и его егеря из комической радиопостановки.

— Думаю, да, детектив, но у нас наверху новенький, а он вроде как сам собой, извиняюсь, сам по себе.

— Нам надо побеседовать с каждым, мистер Мэдисон.

— Он здесь, здесь, — уверяет Манди.

— Начнем с Маттана.

К нему стучат еще до того, как Махмуд успевает

надеть брюки.

— Кто там? — кричит он.

— Полиция. — Его застают одетым в трусы и майку. Знакомые лица. Моррис и Лейвери.

— Чего вам? — Махмуд застывает прямо перед ними.

— Где вы были этим вечером? — спрашивает Лейвери, а тем временем Моррис, пошарив повсюду взглядом, уже щупает пальто Махмуда.

— В «Центральном».

— Какие фильмы смотрели?

— Про корейскую войну и ковбоев.

— В какое время вы покинули «Центральный»?

— В половине восьмого, — обернувшись к Моррису, Махмуд резко спрашивает: — А ордер у вас есть?

Не обращая на него внимания, Моррис продолжает рыться в карманах пальто.

— Какой дорогой вы вернулись домой?

— Мимо бань.

— В кино вы были один? Видели кого-нибудь из знакомых?

— Да. Нет.

— Вы проходили сегодня вечером по Бьют-стрит?

— Нет.

— Вы носите с собой нож, Маттан?

— Нет.

— Нам предстоит обыскать вашу комнату, Маттан.

— Зачем?

Моррис хлопает по карманам пиджака, висящего на спинке стула, и находит сломанную бритву.

— Раньше я брился ею. Она не так давно сломалась.

— Другая бритва у вас есть?

Махмуд указывает на туалетный столик.

Лейвери берет со столика безопасную бритву и осматривает лезвие. И кладет на прежнее место, ничего не сказав.

— У вас есть деньги?

Моррис показывает несколько серебряных и медных монет, найденных в карманах пальто.

— Куда вы ходили после кино?

— Сразу пошел домой. — Махмуд напрягается, а Лейвери и Моррис лапают все подряд. — Что вы ищете? Зачем ходите к мне? У вас нет ордера.

— Не надо наглеть, ордер нам не нужен. Сегодня на Бьют-стрит совершено тяжкое преступление, подозревается цветной.

Махмуд фыркает:

— Почему сразу цветной?

— Вы должны сказать нам правду, где были сегодня вечером, Маттан. Дело гораздо серьезнее ваших прежних краж из магазинов.

— Я с вами не говорю. — Махмуд хватает брюки, расправляет их и быстро сует ноги в штанины.

— Убили женщину. — Лейвери смотрит ему в глаза.

— Вы лжете. Все полицейские — лжецы.

— Лучше придержите свой длинный язык. Еще раз спрашиваю: где вы были сегодня вечером?

— Ничего я вам не говорю.

Моррис трогает обе пары туфель, стоящих у постели, потирает пальцы, ощущая влагу.

— Если услышите что-нибудь, обязательно зайдите в участок и сообщите нам, понятно?

Махмуд стоит навытяжку у своей двери, пока они не уходят, потом тяжело садится на кровать. Спокойная ночь испорчена. Что это за женщина, которую убили? Нет конца вранью, которое они плетут, лишь бы осложнить жизнь чернокожему.

Услышав шум, он подходит к двери и выглядывает в коридор. Верхний жилец, ямаец, дерется с полицейским в форме и явно побеждает. Лейвери

и Моррис с грохотом сбегают по ступенькам и ввязываются в драку. Повернувшись к Манди, который ошарашенно застыл посреди коридора, Махмуд пожимает плечами и закрывает свою дверь, отгораживаясь от хаоса.

Сомертон-Парк, стадион для собачьих бегов. Ньюпорт. Махмуд целует корешки билетиков со ставками, которые держит в правой руке, и идет к окошку тотализатора забирать выигрыш. Бумажные фунты ложатся один на другой, пока между ним и кассиром в кепке не вырастает стопка из двадцати таких купюр. Вот он, заработок за десять недель, пухлый и легко доставшийся, бумажки хрустящие, с острыми краями: тронь — обрежешься. Хватит и на жилье, и на Лору с детьми, и на какое-то время ему на жизнь; пачка такая толстая, едва вмещается в его изголодавшийся бумажник.

— Похоже, удачный у тебя выдался день, Сам, — говорит кассир, который выдает ему выигрыш и курит при этом трубку.

— Сам? Меня зовут не Сам.

— Да я всех ваших называю «Сам».

— Всех наших? И что это значит? По-твоему, это смешно — звать нас «Самбо»? Да я тебе череп разобью. — Махмуд хлопает ладонью по стойке,

и кассир в испуге отшатывается.

— Я никого не хотел обидеть, — уверяет он, выставляя вперед ладони.

— Кусаете первыми, а потом распускаете нюни. И так всегда. — Он качает головой, бросает монеты в карман брюк и оглядывается на беговой круг. Скоро еще один забег, новые собаки уже выстраиваются за воротцами, тяжело дышат, пар вылетает из их разинутых пастей, и он ощущает возбуждение со всех сторон, предвкушение того, что пьянит сильнее победы. Нет-нет, не глупи, одергивает он себя, заставляет переставлять ноги и вскоре возвращается на безлюдную улицу, направляясь к автобусной остановке.

На семьдесят третьем, идущем до Королевской больницы, он проезжает через центр Кардиффа и глядит в запыленное окно, как в кинотеатре на экран, полностью отделенный от его разоренной войной, унылой неприкаянности. На залатанные шпили, на деревянные ручные тележки, на чахлых цыплят и окровавленных кроликов, вывешенных в витринах у мясников, на матерей, со свирепым самозаб-вением везущих младенцев в колясках, на широкий, цвета слоновой кости купол мэрии, почерневший от копоти, на витрины магазинов с их буквами, которые болтаются,

как сережки, на веревочках, на чайные с дежурным блюдом за два пенса, состоящим из хлеба с маслом и чашки чая, на заколоченные окна, на обнесенные заборами разбомбленные здания. Тяжко здесь живется, если у тебя в кармане нет денег; он порадовался бы, если бы все здесь снесли подчистую, как хотят снести доки. И непонятно, почему они смотрят на Бьюттаун свысока, если им самим почти нечем похвастаться. Бэй возникает из промышленного дыма и морской дымки, словно древняя окаменелая тварь, выходящая из воды. Можно пройтись вдоль доков и поглазеть на матросов с попугаями или обезьянками в самодельных курточках — их держат или на продажу, или как память, можно пообедать китайским рагу *чоп-суй* и поужинать йеменской *сальтой*, и даже в Лондоне не найти таких симпатичных девчонок — с предками со всех континентов мира, — какие запросто попадаются в Тайгер-Бэе.

Другой Кардифф для него означает хождение по замкнутому кругу между заводом, домом и пабом, тяжкое, как у ломовой лошади. Он не может, нет — не хочет скатиться до такого. Лишаться фунта из заработка каждую неделю по милости ворюги, который считает, что ты должен быть благодарен уже за то, что вообще работаешь. Подметать,

чистить, даже близко не подходить к машинам, потому что тогда тебе придется назначить плату, как другим людям. Ужас столовых в том, что посетители щупают тебя, как раба на торгах, спрашивают, оттого ли ты черный, что вылез у матери из задницы, и от нарастающего волной смеха желчь подкатывает к горлу. Розовую солонину и вареный картофель подают с гарниром «англичанин, ирландец и ниггер заходят в бар». Белые сами по себе несчастны, раздражены и ожесточены, но обращаются с тобой так, будто это ты стал для них последней каплей. А ведь он не то что другие сомалийцы, которые когда-то спали рядом с верблюдами и знают жизнь только как жесткое ложе из шипов и камней. Нет. В детстве он всегда спал с удобством, на индийском матрасе, утром его ждала чашка молока с сахаром, мать вливала текучие строки своей поэзии ему в уши, хваля его. Благодарности с их стороны он не чувствует. Берет два шиллинга и пять пенсов с кивком и улыбкой, хоть у него раскалывается спина, ноздри забиты пылью, пальцы не гнутся и костяшки кровоточат. Белые для него — ничего особенного, он знает их с малых лет, когда таскал холщовые мешки с сахаром и чаем в колониальном клубе Харгейсы и подбирал теннисные мячи

на сожженном засухой корте. Он умеет смотреть им в глаза и пререкаться, но это все равно трудно. Трудно.

— Уходи из моего дома.

— О чем ты говоришь, Док?

— Не собираюсь я с тобой разводить разговоры, у тебя две недели, чтобы собрать пожитки и найти другое жилье.

Манди сидит в кресле и ухмыляется.

— Знаешь, что я сейчас сделаю, приятель? Заплачу тебе вперед за следующие восемь недель. Заплачу хорошие деньги за твою сырую долбаную комнату.

— Сырую? Всем остальным она годится, а ты откуда выискался такой важный? С тобой одни неприятности с тех пор, как ты шагнул на порог. Сколько раз ко мне уже стучалась полиция, разыскивая тебя? — Док с отвращением втягивает воздух сквозь зубы. — У меня от тебя давление подскакивает, парень, я тебя предупредил, а теперь оставь меня в покое.

— Прошлой ночью они же не *меня* искали, — возражает Махмуд, отделяет от стопки столько купюр, чтобы хватило на следующую пару недель, а потом бросает их на тумбочку у кровати.

— А в другие разы? — огрызается Док.

Махмуд пожимает плечами и покидает комнату.

Направляясь во двор, в уборную, он проходит в кухне мимо подружки Дока.

— Чего он всполошился?

Руки у нее по локоть в муке, она месит тесто для хлеба, набивное платье в цветочек обтягивает мускулистые плечи, брови припорошены белым. Рослая, крупная девчонка, какие по вкусу старикам, простая и добрая, как корова. Он слышал, в прошлом году она попала в газеты, потому что Док ушел в плавание и почти не оставил ей денег на хозяйство, так что в его отсутствие она продавала мебель, на выручку и жила. Едва вернувшись, Док повел ее прямиком в полицию и подал на нее в суд, но как-то вышло, что они до сих пор вместе.

— Сегодня утром приходили из местного совета обследовать дома, и теперь он думает, что это ты на него заявил. Это правда ты? — Глаза у нее блестящие, взгляд невинный.

— С какой стати?

— Вот и я ему так сказала, но ты же знаешь, какой он становится, когда вобьет себе что-нибудь в голову. Про бедняжку Вайолет Волацки слышал? Ее убил прошлой ночью прямо у нее в

лавке какой-то цветной.

— Значит, так ее зовут? Это тот тип с Ямайки, которого увели прошлой ночью?

— Нет, непохоже, он отсыпается наверху — в комнате у него нашли марихуану, за это он и поплатился.

— Болван. — Махмуд сплевывает: торчков он терпеть не может — за их лень, сонливость, нежелание понимать, что в этом мире нужны вся бдительность и сила, на какие ты только способен.

— Без драки точно не обошлось, крепкая она была женщина, вдобавок всю жизнь прожила у самых доков, вряд ли она сдалась без боя. — Она шлепает тестом об стол.

— Наверное, он напал на нее сзади — вот так. — Махмуд несильно обхватывает ее за шею одной рукой, вдыхает сладкий запах пота и лавандовой воды, исходящий от ее кожи цвета кофе с молоком.

— Отстань! — Она смущенно хихикает и ерзает, пытаясь высвободиться.

Гримасы на ее лице он не видит, поэтому продолжает:

— А потом ему осталось только взять бритву и провести ей по шее вот так… — Он чиркает двумя

темными, суживающимися к ногтям пальцами поперек ее твердой шеи, ослабляет захват и крадучись отступает по линолеуму, восстанавливая между ними прежнее расстояние.

Ее глаза широко раскрыты, плечи подняты и неподвижны — она напугана его прикосновениями и боится, что Манди или Док войдут и поймут происходящее превратно.

— Да иди ты! Как ты меня напугал.

— Незачем бояться. — Он улыбается и задерживает на ней взгляд чуть дольше, чем следовало бы, — достаточно, чтобы дать понять, что он гибкий, симпатичный и вдвое моложе Дока.

Это один из тех редких дней, когда Махмуд успевает застать солнце — настолько ночным стал образ его жизни. Бывают ночи, когда он является в свое временное жилье часа в четыре или в пять, находя в темное время суток больше развлечений, чем днем. Завязывая шнурки, он дает себе зарок, что уйдет от Биллы Хана к полуночи, самое позднее — в час ночи, а утром прямиком на биржу труда. Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как у него была приличная работа; последняя досталась ему на аэродроме, где он был смотрителем — хорошая, чистая работа. От синего моря до синего неба, вот как он путешествовал,

и его вновь и вновь тянуло к машинам, благодаря которым мир казался таким маленьким и доступным. Несколько месяцев он цеплялся за это место, не опаздывал и помалкивал, когда надо, но все равно продержался недолго.

Поправив свой хомбург — его теща говорит, что эта шляпа вечно напоминает ей о похоронах, — и, надвинув его пониже на лоб, Махмуд понимает, что на улицах сейчас слишком много людей, встречи с которыми он не желает: нигериец-часовщик, погнавшийся за ним из-за часов, вытащенных из кармана, долговязый и тощий еврей, хозяин ломбарда, который принял у него постельное белье, когда больше ему было нечего заложить, та русская из кафе, увидеться с которой и хочется, и колется. Сделав глубокий вдох, он выходит из дома.

Складные щиты возле газетных киосков все еще пестрят снимками из Лондона: приспущенный флаг над Букингемским дворцом, Черчилль в цилиндре чтит память покойного, новоиспеченная королева на заднем сиденье машины, неподвижный взгляд устремлен вперед. Смерть короля превращается в голливудскую постановку, хотя всем известно, что человеком он был безвольным, избалованным с самого рождения,

выхолощенным богатством и чересчур легкой жизнью.

Махмуд перепрыгивает через низкую кирпичную ограду Лаудон-сквер и идет наперерез по траве с проплешинами, мимо деревьев, увешанных веревочными качелями для детей, оставивших после себя обертки от сладостей и рисунки мелом на каменных плитах дорожки. Щурясь, Махмуд вглядывается вперед, в массивную фигуру между стволами деревьев, и ступает тише. Приближается и находит какого-то мужчину, обмякшего на скамье — голова сонно поникла, в руке с серыми костяшками сжат промасленный бумажный пакет. Между шарфом и шерстяной шапкой виднеется лицо западноафриканца средних лет, потерянного для мира. Махмуд стоит над ним, наблюдает. Это не бездомный, в слишком уж хорошем состоянии его одежда и ботинки, так почему он сидит здесь на холоде, с разинутыми карманами пальто? Рабочий. Вымотался. Задремал между сменами. «Оставь его, — велит голос в голове Махмуда, — оставь это неприкаянное чадо». Махмуд поворачивается и продолжает путь по Бьют-стрит.

Вот это место у него под ногами, на углу Анджелина-стрит, всегда привлекает его внимание.

Здесь собираются любители азартных игр, здесь Хайрех приставил пушку к затылку лысой головы Шея и забрызгал его мозгами обувь Берлина. В этот самый момент Махмуд ждал возле лондонского «Парамаунт-Клаба» блондинку, которая его продинамила; прождал два часа, думал, может, со временем напутал, но компанию ему в эту ночь составили только отражения огней светофоров в мокром асфальте. Был бы здесь, стал бы очевидцем того, что раньше видел только в кино, — чистой, слепой, кровавой мести. С Шеем было трудно поладить, его уже не раз предупреждали, чтобы не трогал сбережения жильцов, но кто же знал, что Хайрех способен на *такое*. Да еще открыто, с пушкой и при свидетелях! Не у каждого хватит духу. А он был готов из гордости отправиться на виселицу. Берлин потом рассказывал, что от потрясения у него чуть ноги не подкосились, что он держал на коленях голову самого близкого друга, пока того покидала жизнь, что ему пришлось вытирать с туфель белое творожистое месиво мыслей и воспоминаний, что все уличные игроки столпились вокруг и шепотом читали «аль-Фатиху», пока он закрывал Шею глаза.

Махмуд стучит холодными костяшками в стек-

лянную панель двери раз, другой, третий, дождь моросит, пока Билла Хан медленно, вперевалку спускается по лестнице. Нельзя, чтобы Махмуда заметили возле этого нелегального покер-клуба сейчас, когда у него условный срок, и он раздраженно бьет в стекло еще раз — за мгновение до того, как Билла Хан распахивает дверь.

– *Масала кя хэ*? — Билла Хан откидывает клок тяжелых маслянистых волос со лба и устремляет свирепый взгляд на Махмуда.

Тот отлаивается на хинди:

– *Джанам меин йе каам хатм хога я нахи*.

Билла Хан машет рукой, впуская его.

– *Джальди каро, бхай*.

Еще один моряк, переставший ходить в плавания, Билла Хан устраивает игру в покер ночи напролет в съемной комнате и этим зарабатывает себе на жизнь, взимая по фунту с каждого игрока. Говорить по-английски он отказывается, так что они столковываются на хинди, которого Махмуд нахватался в Адене. Махмуд закрывает входную дверь и безмолвно следует за широкой кормой индийца вверх по лестнице. Похожее на кеглю тело Хана всегда смешит его; его манера носить брюки, поддергивая их до самых сосков, усиливает впечатление узости плеч и женствен-

ной пышности бедер.

Камин сыплет искрами, сигаретный дым густыми клубами окутывает абажур с бахромой под потолком, из маленького проигрывателя льется воркующий голос Мохаммеда Рафи, который поет на хинди. Вот этот мир Махмуду по душе, его достаточно, чтобы вызвать у него улыбку. Он окидывает комнату взглядом. Шесть человек, два игрока с большими деньгами: сосед-еврей, домовладелец, и хозяин китайской прачечной. Он кивает, ему кивают в ответ.

— Нам ее отдали. Она у нас.

Ее кожа холодна, губы серы, широкая рана на шее стала тускло-розовой, сморщенной и почти скрытой под высоким воротником. Гроб, выбранный Дайаной для Вайолет, — насыщенного орехового цвета, с тонким слоем кремового шелка внутри. Почти как подвенечный наряд; стеганый шелк с тиснеными цветочками по краю. Красивых вещей для себя она никогда не хотела, всегда была чересчур практична, носила вдовий траур, хотя у нее и не было мужа, чтобы его терять, зато теперь сойдет в могилу в шикарном ящике, ни на что не годном, кроме как сгнить вместе с ней. Мужчины хотели, чтобы все было по *галахе* и чтобы Вайолет завернули в простое белое

полотно, но Дайана сама пошла и купила гроб. Дом заставлен лилиями, распространяющими резкий запах из каждой вазы, кувшина и большой кружки, какие только удалось собрать. Но Вайолет терпеть не могла их тошнотворно-сладкое благоухание и оранжевую пыльцу, которая сыпалась на ее скатерти из французского льна и оставляла на них пятна. Давние друзья, обычно отказывающиеся ступать даже на мост, ведущий в Бьюттаун, явились длинными настороженными вереницами, под зонтами, с изысканными букетами и блюдами, завернутыми в старую ткань. Убийство Вайолет — эти два слова по-прежнему смотрелись в сочетании так дико и неуместно — подтвердило все их опасения насчет Бэя и вместе с тем каким-то образом придало им смелости, побудило явиться в это ужасное место и увидеть его своими глазами. Домохозяйки из Кантона, Пенарта, Эбу-Вейла, Сент-Меллонса ахали при виде уличных азартных игр, детей-полукровок и баров-развалюх, у которых болтали женщины-развалины. Широкие окна лавки Волацки занавесили черным крепом, табличка на двери была постоянно обращена к миру стороной «Закрыто», в мальтийском ночлежном доме и кафе «Каир» по обе стороны от лавки старались

приглушить шум и музыку до траурного уровня. Дайана охотно окатила бы все вокруг бензином и подожгла: лавку, дом, улицу, город, мир. Почему он продолжает стоять, чем заслужил такое? Если безобидную женщину, которая только работала и старалась заботиться о близких, зарезали, как скотину на бойне. И она истекла кровью, пока ее родные в соседней комнате резали жареную картошку и просили передать им соль. Почему она, Дайана, не выглянула проверить, что там у Вайолет, когда увидела на пороге того человека? Он показался ей незнакомым, но трудно различить лицо, особенно темное, да еще ночью и под низко надвинутой шляпой, ведь так? Надо ей было оставить проклятую дверь столовой открытой, чтобы *видеть* или хотя бы *слышать*, что происходит. А она, дура, закрыла ее. Среди каких же людей она живет, если они способны на такое, зная, что свидетели совсем рядом? Не ведающих ни страха, ни жалости, дерзких. Правильно делала Вайолет, что опасалась. Скрипя зубами, Дайана моет тарелки и столовые приборы в узкой и глубокой, как окоп, фаянсовой раковине. Она грубо орудует тряпкой, и зубья вилки впиваются ей в кожу. Ярость в ней нарастает, как свирепая буря, то редеет до дымки, то сгущается, как беспросветное месиво,

забивающее легкие. В таком состоянии она способна убить, схватить маленький нож для масла и вонзить его глубоко в глаз первого встречного мужчины; только мужчины становятся жертвами ее ярости в этих молниеносных фантазиях — крупные, дюжие, которых надо истребить.

В магазине игрушек толстый пушистый медведь безвольно свисает с большого крюка на стене, и красный в горошек галстук-бабочка туго перехватывает его шею. Махмуд поднимает голову и видит два желтых глаза из стеклянных шариков и плоскую улыбку, вышитую на морде. Ростом медведь выше трех футов вместе с громадной головой и маленькой соломенной шляпой-канотье, пристроенной между ушами. Обняв обеими руками, Махмуд снимает медведя с крюка, зарывается лицом в мягкую густую шерсть; медведь изготовлен так искусно, что почти как живой, даже странно, что в нем не бьется сердце. Цена грабительская, но слишком уж давно он ничего не покупал мальчишкам, а через пару дней маленький ид — праздник. Их мать наверняка скажет, что им нужны не игрушки, а новые ботинки или кровати, но он не может удержаться от покупки бесполезных, в сущности, вещей, каких не было у него в детстве: игру-

шечных железных дорог, солдатиков, ударных установок, заводных обезьянок с лязгающими тарелками. Мальчишкам медведь понравится, в этом он уверен, будут карабкаться на него так же, как на отца. А Лора останется довольна темно-синим плащом, припрятанным у него в холщовой сумке, висящей на плече. Плащ двубортный, с двойной отстрочкой, атласной подкладкой и красивым широким поясом, который подчеркнет ее тонкую талию. В сумку он сунул его потихоньку, незаметно для полуслепого хозяина лавки «А. и Ф. Гриффин». Этот отработанный фокус ему удается даже при более пристальном наблюдении. Здесь важно все — рассчитать время, ловко сработать и сразу же уйти, малейшее замешательство или суета — и все пропало, упустишь момент или попадешься полиции.

Он не уверен, что плащ подойдет по размеру маленькому островку тела Лоры. После свадьбы он изучал его так же пытливо, как Ибн Баттута; ее зеленоватые вены отчетливо проступали сквозь веснушчатую кожу, казались разветвленными реками и ручьями. Груди были плотными и от его прикосновений покрывались гусиной кожей. Сказать по правде, в тот первый раз он причинил ей боль, оплошал, потому что совсем забыл, как

это бывает с девственницей, но еще и потому, что в то время сам был злее и пользовался ее телом, чтобы мстить за каждый смешок, «ниггера» и захлопнутую перед носом дверь. Внедрялся в нее, чтобы не встречаться взглядом с ее немигающими глазами. Прямо перед знакомством с Лорой он стоял в доке в Америке, в Новом Орлеане, где даже дерьмо белых и черных полагалось разделять и где любая белая женщина могла заставить его нести ее сумки или убить только за то, что он посмотрел ей в глаза.

Все изменилось, когда он вернулся из плавания и почувствовал, как толкается внутри у Лоры его ребенок; первой вспыхнула безотчетная паника оттого, что в этом белом теле содержится нечто столь драгоценное для него, что его *абтирис*, наследие в шестнадцатом поколении, передано ребенку, в котором смешалась кровь валлийских горняков и ирландских беженцев. Колыхание туго натянутой горячей кожи Лоры, под которой ребенок ворочался и метался, как неведомая морская тварь, изумляло его. Тогда-то ее тело и стало для него надежным приютом, уединенным святилищем, где отступали взвинченность и унижения минувшего дня. Ее шрамы, запахи и укромные местечки стали знакомы ему как

собственные, пока она не начала жаловаться, что хочет побыть одна, что у нее все болит, что она постоянно беременна и ей нужна передышка. Как смешанная пара, в Кардиффе они могли снять лишь убогие комнатушки с черными стенами, а шансов на муниципальное жилье и вовсе не имели, поэтому решили начать заново на новом месте. Они перебрались в Халл и вели семейную жизнь как полагается, пока однажды, вернувшись домой со смены на сталелитейном заводе, он не увидел, что дома пусто. Бум! Она собрала чемодан и вернулась вместе с мальчишками в Кардифф. Сперва жаловалась, что жизнь рядом с ее родичами невыносима, а потом с плачем убежала обратно, заявляя, что ей без них одиноко. Вот так Лора и отняла у него свое тело, отлучила от него, и постепенно говорить им стало не о чем, кроме как о детях, или о деньгах, или о том, что сказали ее мать или отец. Из девчонки-подростка, с легкостью говорившей «нет» родителям, Лора превратилась в женщину, которой, похоже, доставляло удовольствие говорить «нет» *ему*. Нет, нет, нет — по любому поводу. Лежа без сна в холодной постели у Дока, он слышал ее голос, а тот твердил «нет, нет, нет» на все: снова сойтись, попробовать завести девочку, перебраться в Лон-

дон. Он не может даже допустить возможность, что когда-нибудь другой мужчина будет лапать ее, наполнять своим семенем, осквернять его храм. Все смеются над ней, говорят, что слишком уж она растянута для приличного белого мужчины, и она переходит от одного черного к другому, как у них бывает, постепенно опускаясь и становясь безвольной. Попадается тому, кто поколачивает ее или продает другим. Черные мужчины для нее как ножи, которыми она ранит саму себя, как делают дошедшие до края белые девчонки, и это доказательство, как далеко им до искупления. Нет, она не из таких, напоминает он себе; если уж на то пошло, это она нож, которым он ранит себя. Им надо оставаться в браке, чтобы она не лишилась уважения; пока они женаты как полагается, мегеры с Дэвис-стрит могут лишь судачить о ней. Но если она с ним расстанется, ее добьют.

Махмуд раньше Лоры догадался, что их брак стал для нее чем-то вроде смерти, и понял, что ей нужно время, чтобы погоревать. Он поступился самолюбием, позволил ей назвать их первенца в честь ее любимого брата, который съехал от родителей, настолько был ненавистен ему брак Лоры. Теперь-то Махмуд видит, как тревожит

ее изменение статуса с его почти незаметными уровнями: она не пускает мальчишек в мусульманскую школу, называет их валлийскими именами, хочет крестить их и растит так же, как их двоюродных братьев и сестер. Она идет обратно по тому пути, который они проделали вместе. Недавно он заходил к ним и застал мальчишек за столом, поедающими вареные свиные ноги. Увидев скользкий жир на губах сыновей, он чуть не вывернулся наизнанку и так разозлился, что сгреб их тарелки и вышвырнул их на задний двор — *ахас*, пакость!

Другой раз Махмуд вышел из себя, когда заявил ее матери, что убьет Лору, если увидит ее с мужчиной. Лора услышала его с лестницы и разразилась потоками бранных слов в его удаляющуюся спину. Само собой, он не всерьез, и она могла бы понять, но любовь сводит мужчину с ума. Да и в таком городе обезумеет кто угодно. Взять хоть вот этого разнесчастного сикха, Аджита Сингха, который сейчас ждет казни в камере кардиффской тюрьмы. Спятил оттого, что белая девчонка бросила его, вот и застрелил ее возле больницы в Бридженде при тысяче свидетелей, так что судье ничего другого не оставалось, кроме как надеть черную шапочку. Чертовски дурац-

кий конец жизни.

С автобусной остановки неподалеку от лавки Дайана смотрит, как главное шествие по случаю Ид аль-Адха[9] движется от канала вокруг всей Лаудон-сквер и направляется к *завие* на Пил-стрит, в то время как соперничающее, но не столь многочисленное окружение шейха Хассана медленно плетется со стороны доков. Дети, одетые в йеменские *таубы* и головные уборы, с жестяными дисками и красной вышивкой на лифах, обгоняют взрослых и опережают их в пении. Даже христианские, буддистские, иудаистские ребятишки присоединились к друзьям, нарядившись в рождественские костюмы — голубые, как у Марии, и в мелкую клетку, как у пастухов, подражают арабским песнопениям-*нашидам* и особенно стараются, повышая голоса во время припева: «*Йя Аллах, йя Аллах, йя Аллах карим*». *Дарбука* держит ритм, ей вторит стук подошв сотен участников обряда. Впереди — Али Салейман, хозяин кафе «Каир», несет за одну сторону темно-синий стяг, на котором принявшие ислам жены Кардиффа вышили слова Священного Писания. Жена самого Али, Олив,

[9] Примечания: 9
Курбан-байрам. (*Прим. пер.*)

стоит возле их кафе, раздавая *самосы* с мясом и напиток «Вимто» в бумажных стаканчиках. Матроны в передниках, игроки в кепках, чахлые пропойцы, тявкающие собаки, свежие на лицо девчонки из баров и хулиганистые подростки в кожаных куртках глазеют с тротуара и машут из окон. Развеваются несколько обтрепанных «Юнион Джеков», оставшихся с празднования Дня победы в Европе. Ребятня, довольная, как она говорит, «мусульманским Рождеством», жадно расхватывает целлофановые пакеты леденцов — и мелких, и круглых твердых, — не зная, что знаменует этот день, и не задумываясь об этом. Это предание Дайане хорошо известно из Торы: в нем такого же маленького и ни в чем не повинного ребенка, как они, следовало принести в жертву. Шея Исмаила покраснела от лезвия ножа, однако он чудесным образом не оставил раны; в руках плачущего, но непоколебимого пророка Ибрахима, исполняющего повеление Бога, ребенок молчал; в последний момент баран был ниспослан, чтобы заменить Исмаила и явить милость Божию. Празднуется и испытание, и избавление.

Приземистый купол *завии* Нуруль-Ислам виднеется за вереницей кирпичных дымоходов

простых и серых домов рядовой застройки на Пил-стрит. Махмуд слышал, что мечеть, раньше стоявшую на этом месте, разрушили во время налета на Кардифф в 1941 году, и это резко выделяющееся белизной строение с заостренными арками окон заменило ее; черная краска по краям придает ему сходство с детским карандашным рисунком. Из окна доносятся голоса мальчишек в молитвенных шапочках и чалмах, они повторяют религиозные стихи с мелодичным валлийским акцентом, одноногий учитель-йеменец указывает тростью на доску, стена за ним сплошь в медальонах рукописной мусульманской каллиграфии и *китабах* — книгах в кожаных переплетах. Махмуд вытирает ноги, прежде чем войти, потом оставляет обувь в маленькой прихожей перед молитвенным залом. *Кибла* неоново светится арабскими буквами наверху ниши. Дело к вечеру, время между молитвами *аср* и *магриб*, и зал пуст, если не считать старика, пощелкивающего бусинами четок-*тасбих*; желтые подошвы подвернуты под него, согбенная спина кренится вправо. До Махмуда долетают обрывки произнесенных шепотом имен Аллаха: Свидетель, Друг, Создатель, Начало, Завершение.

На лестнице ноги верующих уже вытерли

темный лак, обнажив бледную сучковатую древесину каждой крутой ступеньки. Махмуд взбегает по ним, скачет сразу через две ступеньки, ключи звенят у него в кармане. Он останавливается на втором этаже, где устроена комната для деловых встреч с персидскими коврами и плоскими арабскими подушками. Первыми он видит их ноги, вытянутые в его сторону ступни в носках; закипает серебряный самовар, от него запотевает незавешенное окно. На щеках вздуваются бугры от *ката*, привезенного замороженным из Адена, так что теперь он сухой и едкий, но его все равно жуют, если не ради удовольствия, то в силу привычки.

– *Йа салам*! Поглядите, кто вернулся, — говорит смотритель мечети Якуб.

– *Ассаламу алейкум, кеф хак*? — Махмуд растягивает губы в широкой улыбке. — С утра пораньше сегодня жевать начали?

Некоторое время все молчат.

— Ливерпульские докеры бастуют, так что сегодня работы нет, — это Ибн Абдулла, бывший алкоголик, у которого теперь видна темная мозоль на лбу — так часто он бьется им о молитвенный коврик.

— Совсем стыд потерял, ибн Маттан? Явился на

место преступления, — это снова Якуб; он встает, заслоняя от Махмуда чемоданы и пароходные кофры, расставленные вдоль дальней стены. Они готовятся к *хаджу* в Мекку, в багаже полно *садаки*: нейлоновых рубашек, хлопковых трусиков и лифчиков, упаковок пенициллина и аспирина, сухих молочных смесей для детей, английских словарей и детских учебников. Махмуд задается вопросом, какая часть этих вещей дойдет до бедных, которым они предназначены, а какая будет подарена родным и близким. Заметив, что он смотрит на чемоданы, Якуб цитирует *хадис*, проклинающий воров и обрекающих их на самые глубины *кадааб*, преисподней.

— Я просто взял их на время.

Йеменцы смеются.

– *Кебир, о кебир, йа Иблис*!

— И я всегда плачу долги. — Махмуд лезет в карман.

— Ты бы поосторожнее, Махмуд, а то дьявол у тебя на левом плече скоро выбьется из сил, записывая все неприятности, в какие ты ввязываешься. Пожалел бы ты его.

— Что ж, пусть, по крайней мере, что-то одно вычеркнет. — Он поднимает наличные над головой. — Вот это видишь? — И он вкладывает их

в ладонь Якуба, шлепнув по ней. — Я прибавил немного в счет моих пожертвований. — Махмуд принимает картинную позу в центре круга — выпячивает грудь, вскидывает голову и насмешливо салютует портрету имама Ахмада бен Яхьи, висящему над камином. Портрет настолько скверный, что пучеглазый, одурманенный наркотиками, незначительный король Йемена похож скорее на гнома, чем на *джинна*, которым якобы считается, на *джинна*, избежавшего бесчисленного множества покушений, предпринятых завистливой родней, республиканцами и фанатиками.

Выходя на прохладный воздух, Махмуд чувствует, что на душе у него стало легче, но и в бумажнике тоже, причем заметно, и это его тревожит. Так всегда и бывает. Большой выигрыш утекает чуть ли не за одну ночь. Его пиджак пропитался сильным запахом благовоний, которого внутри мечети он не ощущал. Его мать вечно твердила, что это признак скверны — не любить священный запах *унси*, однако от него у Махмуда по-прежнему болит голова.

Кажется смешным и нелепым тащить плюшевого медведя по узкой Дэвис-стрит, где все небольшое расстояние между девятым и сорок вторым домами его сопровождает колыхание

штор и стук поспешно захлопнутых дверей. Адамсдаун настроен более высокомерно и недоброжелательно, чем Бьюттаун, немногочисленные местные жители с черной и коричневой кожей загнаны в горстку ветхих ночлежных домов. Это здесь живут с семьями ирландцы-докеры, сгорбленные рассыльные и страдающие от недосыпания фабричные рабочие, живут в домах рядовой застройки, возведенных из коричневого кирпича и купленных на муниципальные ссуды, выплачиваемые в течение пятнадцати лет жестоких лишений, с призраком принудительного отчуждения собственности и сноса, зависшим где-то за морем. До сих пор единственным сомнительным явлением, в самом деле принесенным с моря, стали иностранные моряки. Махмуда всегда коробило, что мать Лоры, Фэнни, в бытность его жены девчонкой-подростком велела ей переходить на другую сторону улицы, если иностранец хотя бы попытается заговорить с ней, а когда Лора спрашивала, что ей делать, если он пойдет за ней, следовал краткий ответ: «Визжать». При виде Махмуда никто не визжит, однако не ощущается недостатка в невнятных оскорблениях, косых взглядах, смешках, грязной воде, выплеснутой в его сторону женщинами,

камушках, брошенных их малолетними сыновьями. Он живет здесь потому, что здесь живет Лора вместе с родителями и младшими братьями и сестрами — в доме, в который во время налета попали осколки германской бомбы, оставив на память о себе протекающую крышу и паутину трещин на окне в ванной. Махмуд стучит медным дверным молотком в синюю дверь и снова подхватывает на руки медведя и сумку. От топота ножек Дэвида по коридору у него учащается дыхание.

— Мама, мама! Папа за дверью! — кричит мальчик, расплющив нос о матовое стекло и оставляя на нем влажный отпечаток.

Слушая голос сына, Махмуд смеется, каждое туго скрученное, сплошь в узлах, сухожилие его тела расслабляется, и он лишь теперь, вздохнув свободно, замечает, какими скованными были его легкие.

— Подожди меня, — слышится голос Лоры, но Дэвид хватается за дверную ручку, поднимается на цыпочках, вытягиваясь всем телом, и сражается с замком.

Наконец он побеждает, и Махмуда охватывает и гордость, и страх.

— Папа! — пронзительно кричит Дэвид, вы-

рывается из дома и барахтается, подхваченный отцовской рукой.

– *Ааббо*, — поправляет Махмуд на сомали, — называй меня «*ааббо*», — но сейчас не до слов, сын тычется в него, нюхает везде.

— Мишка мне? — спрашивает он, хватая огромную плюшевую игрушку.

— Тебе и твоим братьям, да.

— Нет, мне!

Махмуд ставит Дэвида на пол и отдает ему медведя, но тот слишком велик, мальчишка теряет равновесие и падает под своей ношей, как будто поваленный ею, но довольный.

— Ну и куда прикажешь девать вот *это*? — Лора выходит из гостиной, укачивая у голой груди Мервина.

— Да куда захочешь, девочка моя, — улыбается Махмуд.

Она закатывает глаза и шлепает в мужских шерстяных носках обратно к кушетке.

— Ш-ш, Омар засыпает наверху.

Махмуд идет за ней, помогая Дэвиду тащить медведя, голова которого волочится по полу.

Огонь в камине пылает, но в комнате Лора одна, с кружкой чая и газетой, пристроенной на деревянном подлокотнике кушетки.

— А где твои родители?

— Вот то-то и оно. Вода только что закипела, иди налей себе чашку, если хочешь. — Выглядит она осунувшейся и усталой, ремешок наручных часов стал свободным и беспокойно болтается на ее тонком запястье.

— Я не за чаем пришел. — Махмуд раскачивает в руке холщовую сумку и роняет к ее ногам.

— Что там?

— Сама посмотри.

Отняв сонного младенца от груди, она томным движением прячет грудь в бюстгальтер, крупный, похожий на малину сосок, медленно исчезает у Махмуда из виду. Лора кладет ребенка головкой на подушку, вздыхает, наклоняется и заглядывает в сумку.

Он следит за каждой мелкой мышцей ее лица в ожидании реакции, ему кажется, что он видит, как зрачки ее больших прозрачных глаз расширяются и сокращаются, пока она окидывает взглядом плащ. Она проводит ладонью по ткани, откидывает полу, обнажая атласную подкладку. С ее губ срываются негромкие одобрительные возгласы, но ничего связного или однозначно благодарного.

— Ничего, — наконец говорит она.

– *Очень даже* ничего, — поправляет он.

Складывая плащ на коленях, Лора поворачивается к своему мужу, живущему отдельно, и спрашивает:

— Где ты его взял? Судя по виду и запаху, он новехонький.

— В одном магазине в городе, хорошие деньги заплатил, повезло с лошадьми, на скачках, — неловко бормочет он.

Общаясь с Махмудом, Лора в совершенстве овладела взглядом, выражающим одновременно скептицизм, насмешку и категоричность «давай на этом и остановимся».

— Я не могу его взять, Муди.

— Кто сказал, что не можешь? Бог? Король? — Он начинает вышагивать по ковру перед камином. — Тебе сделали подарок, нельзя возвращать его.

— Мне нельзя тебя обнадеживать… умоляю, не мечись! У меня голова раскалывается!

Дэвид отвлекается от плюшевого медведя, с которым борется, переводит взгляд с одного родителя на другого, опасаясь очередной ссоры.

Махмуд садится в неудобное, с высокой спинкой кресло ее отца и на секунду закрывает глаза, борясь с нарастающим желанием вспылить.

Потом открывает глаза и устремляет их на обои с рисунком из изогнутых листьев сирени, которые словно парят в воздухе.

— Не могу поверить, что ты совершил кражу в *завии*, — негромко и осторожно говорит она с горечью.

— Пришлось, — отзывается он, укладывая висок между большим и указательным пальцами.

— Да какая же это, к дьяволу, причина — тебе «пришлось»?

— А как же иначе мне платить тебе алименты? Думаешь, в суде это просто так написали, для смеха?

— Слишком уж много этих платежей ты пропустил, чтобы я купилась на твою отговорку.

Дэвид льнет к отцовским ногам, забравшись между ними, сосет костяшки пальцев правой руки, нервозно скребет ногой икру Махмуда; взгляд у него тревожный и умоляющий.

— Я сидел без гроша. Был на все сто процентов на мели. Теперь поверишь?

— Поверю, потому что это правда. — Лора улыбается и победно, и ласково. — Я могла бы написать книгу о том, что значит быть на мели, Муди, в этом для меня нет ничего нового, я не даю этому донимать меня. Но красть! Слишком долго

я проучилась в воскресной школе, чтобы считать *такое* нормальным.

— Ну а я в воскресную школу никогда не ходил, зато по пятницам приходил и сидел с *маалимом* под деревом, и он говорил, что ворам надо отрубать руки. А жизнь учит нас другому.

Говорят они по-прежнему тихо, и, к счастью, напряжение понемногу рассеивается. Махмуд запускает длинные пальцы в курчавые каштановые волосы сына, массирует ему голову. Весь череп Дэвида аккуратно умещается в его большую ладонь.

— Ты ведь папин сынок, да, Дэвид?

Дэвид довольно улыбается.

— Знаешь, я заплатил им, ну, в *завии*, — отдал больше, чем взял.

— Это-то меня не удивляет, Муди, вот таким ты был, когда я вышла за тебя.

— Я и не менялся.

— О, еще как.

— Внутри я всегда был таким.

— Хм-м, пожалуй, верно, но кому охота доискиваться до всего, что в них скрыто? Уж точно не мне. Есть вещи, от которых надо держать дверь на замке.

— Все это женские разговоры, а мужчины долж-

ны выходить в мир и смотреть, что он с ними сделает, нельзя сидеть дома, как девственница.

— Сходил бы под мост на канале, там полно женщин, которые только рады будут согласиться с тобой.

— Даже ты, Лора…

Это предположение она решительно отвергает.

— Нет-нет, я не об этом. — Махмуд втягивает воздух сквозь зубы. — Я хотел сказать… вот ты говорила, что выйти за такого, как я, — худшее, что может натворить девушка, намного хуже, чем украсть, и все-таки ты это сделала, ведь так? И твой брат перестал с тобой разговаривать.

— Дура была от любви. — Она улыбается.

— Нет, не дура… — Махмуд поднимается с кресла и сажает в него Дэвида. Он проходит по ковру и встает на колени перед Лорой, взяв ее теплые ладони в свои. — Ты лучшее, что когда-либо даровал мне Бог, ты и трое мальчишек. Ради вас я готов украсть с неба звезды.

— Только не надо разводить мне сейчас нюни. — Лора вспыхивает и пробует высвободить свои покрасневшие, сморщенные от экземы руки, но он не дает.

— Это правда, клянусь своей жизнью.

— Так изменись тогда. Махмуд, изменись. Не будь таким недалеким. Избавься от этого плаща — и от этого адова медведя, если ты ухитрился стащить его, — и ради всего святого, просто возьмись за ум.

— С медведем все законно, никуда я его не заберу, а плащ отнесу обратно, если тебе так будет лучше.

— Да. Лучше. Устройся на приличную работу, Муди. А до тех пор даже не вздумай заговаривать мне зубы.

Махмуд вышагивает туда-сюда в темном и запущенном закоулке доков, где заканчиваются рельсы и начинается ряд складов. Хоть над ним и высятся пароходные трубы, краны и грохочущие желоба, по которым тонны зерна спускают в трюмы, вечером, когда докеры заканчивают работу, а матросы спешат в город, чтобы набраться вусмерть, вокруг нет ни души, разве что изредка полицейский на четырехчасовом патрулировании пройдет мимо. Махмуд нашел работу на фабрике резиновых шлангов, утром приступать, но сначала ему надо сбагрить плащ, а уж потом можно и расслабиться, и начать чистую и законную жизнь заново. Скупщик краденого, с которым он договорился встретиться, мальтиец

Альфредо, подвел его, не явившись на их обычное место во дворе за пабом «Пакетбот». Обычно он верен своему слову, но на этот раз Махмуд прождал пятнадцать минут и сдался. Был еще один тип, с которым раньше он пару раз имел дело, тоже мальтиец, но более прижимистый и сомнительный, чем Альфредо, промышлявший на его территории. В прошлый раз, когда они встречались, Махмуд пытался сбыть наручные часы, свистнутые у часовщика-нигерийца, хорошие часы, только починить бы их. За них ему причиталось восемь фунтов, но барыга не предложил ему и половины. Услышав приближающиеся издалека шаги, Махмуд поправляет шляпу и потуже затягивает пояс макинтоша. Уличный фонарь в каких-нибудь десяти шагах, но в эту безлунную ночь разглядеть, кто приближается, ему не удается. Не нравится ему шляться здесь, где договариваются и заключают сделки местные бандиты; лучше не видеть то, чего тебе не полагается. Виски, опиум, карточки на вещевое довольствие моряков, табак — вот настоящее, прибыльное дело, которое подмяли под себя несколько банд — британских, мальтийских и китайских. Ему сюда и соваться не стоит. Время от времени между бандами вспыхивают разбор-

ки, порой из канала или из моря вылавливают труп, но в целом этот мир действует слаженно и бесшумно.

Шаги уже совсем рядом, эхом отзываются от металла складов и непрочных от холода рельсов. Бросив еще один взгляд в ту сторону, Махмуд видит двоих кряжистых парней в длинной черной одежде, придающей им сходство с гробовщиками; из тени, которую отбрасывают на лица их шляпы, выступают лишь бледные подбородки. Они приближаются шаг за шагом — клац, клац, клац, постукивают их подошвы по блестящим булыжникам. Махмуд отступает к нагромождению повозок, бочек и складам дизельного топлива, страстно желая, чтобы его темная кожа впитала всю черноту ночи, и его дыхание вылетает из ноздрей двумя белыми тонкими струями пара.

Двое неизвестных застывают на месте и, посовещавшись, решительно направляются к ненадежному убежищу Махмуда. Тот, что повыше ростом, останавливается в шаге от Махмуда и рукой в перчатке надвигает свою шляпу-трильби ниже на лоб. После краткой паузы и улыбки он достает блестящие наручники и тянется к запястьям Махмуда.

— Махмуд Маттан? Вы имеете право хранить

молчание, но все, что вы скажете, может быть использовано как свидетельство против вас.

5. Шан

Сперва Дайана сбежала из дома 203 по Бьют-стрит, отослав Грейс к Мэгги и проведя там сама несколько ночей, чтобы устроить ее, но теперь пора заняться делом. Она отпирает дверь лавки и садится, чувствуя, как ноет спина, на высокий табурет Вайолет за кассой. Последние несколько дней выдались черными — в водовороте траурной одежды, унылых встреч, перехваченных наспех бутербродов и бессонных ночей. Похороны состоялись в выходные, кортеж покинул лавку в половине третьего, и сразу же за ним последовала большая толпа местных жителей, проводившая его до кардиффского еврейского кладбища. Венки с белыми цветами, две лошади в шорах, с черными плюмажами на головах, гроб в стеклянном катафалке, стоящие вдоль улиц мужчины с обнаженными головами, прижимающие шляпы к талиям, дети, жмущиеся к лошадям, чтобы потрогать их бока, кучер в цилиндре и длиннополой одежде, отстраняющий детей кнутом. Грейс прошла весь путь, не плача и не жалуясь, крепко вцепившись в руку Дайаны.

В обрамлении черного шарфа ее лицо казалось вдруг повзрослевшим. Со всех районов Кардиффа собралось, должно быть, не меньше двух сотен скорбящих — черных и белых, мусульман и христиан, потомков старинных еврейских семей и *новоприбывших*, стряпчих и мясников. Хорошие были проводы, с расходами на которые не посчитались, но прошли они, как немой фильм, ненатуральный и ничем не примечательный. Вайолет жила так тихо, так уединенно, что мало кто знал, как почтить ее память, поэтому все только твердили: «Хорошая она была девочка, истинная *мих*ья». Они не знали, что она собирала в альбом вырезанные снимки актеров или по воскресеньям проводила в ванне долгие часы, читая детективы, или сама училась танцевать вальс, фокстрот и ча-ча-ча, сверяясь с печатными руководствами.

Кровь. Кровь. Кровь. Между половицами, там, где растеклась и засохла кровь, появились красные лаковые швы. Белую стену придется перекрасить, чтобы с нее исчезли мелкие брызги окисленной крови, но это уже не ее забота. Лавка выставлена на продажу, вывеске с фамилией Волацки, прослужившей сорок лет, суждено отправиться на свалку. Кровь ее сестры будет

напоминать всем и каждому о ее отсутствии, сколько сможет. Дайана отодвигает табурет, чтобы вытянуть ноги, потом переводит взгляд влево, где стоит сейф — причина всех ее душевных мук. Она не в курсе финансовых дел Вайолет, а полиция продолжает расспрашивать о них. Дайана старалась пореже бывать в лавке и избегала разговоров о работе за ужинами. Сколько денег там было? Когда Вайолет ходила в банк? Сколько наличности она оставляла в лавке? Какими были размеры дневной выручки? Дайана могла лишь предполагать. Вайолет вела бизнес самостоятельно и скрытно, как их отец, а Дайана, принимая ставки на бега, была слишком занята, чтобы задавать вопросы. К счастью, у продавщицы Анджелы имелась голова на плечах, она могла точнее назвать цифры и с уверенностью заявляла, что, судя по маленькой бухгалтерской книге, которую вела Вайолет, из сейфа пропало около сотни фунтов. Жизнь оказалась не бесценной: ее цена с легкостью свелась к сотне фунтов стерлингов. Достаточно, чтобы купить подержанный автомобиль, или три ящика «Шато-Латур», или скаковую лошадь среднего уровня, или земельный участок с развалинами дома. На что бы этот сатана ни потратил краденое, Дайана

надеется, что его приобретение будет проклято и никогда не принесет ему и его близким ничего, кроме боли.

Дэниел уже перевез большинство вещей, которые можно продать, к себе в лавку, так что на полках и витринах остались лишь домашние и морские мелочи — свернутые веревки, водонепроницаемые плащи, спички, резиновые сапоги, ножи, жестяные сундучки; словом, всего навалом, чтобы снарядить лодку в море и отплыть вместе с Грейс.

Дайана все еще пытается вести себя разумно и благопристойно, воздерживается от потоков ругани, которой ее так и тянет осыпать постоянных покупателей, когда те появляются у двери, толкают ее и застывают в недоумении, не сумев открыть. Им известно, что произошло, но они, не обращая внимания на траурный креп, продолжают приходить в силу привычки — обналичить авансовую расписку или купить пару носков.

В семье ее так долго считали сильной личностью, что она много лет не ощущала, как велика на самом деле ее беспомощность. «Стойкий солдатик», «кремень», «вы видели ее в газете? Так внушительно выглядит в форме, правда?» Капрал Дайана из женской вспомогательной службы

ВВС, покинувшая дом и бизнес сразу после Хрустальной ночи, чтобы поступить на военную службу вместе с мужем, лидером скаутов, и вернувшаяся в Кардифф лишь потому, что оказалась беременной своим первым, и, как потом оказалось, единственным ребенком. Несгибаемая Дайана, девчонка-сорванец, заменившая ее отцу долгожданного сына, получившая, в отличие от сестер с их бальными платьями, автомобиль на свое восемнадцатилетие и решившая растить дочь в одиночку, чтобы не рисковать, не будучи уверенной в симпатиях отчима.

Капрал Дайана рушится, она трескается, но жесткая наружная оболочка так пристала к ней, что лишь она сама замечает тонкие трещины, разбегающиеся по костям. «Не возьмешь себя в руки — ждет тебя лечебница для душевнобольных в Уитчерче», — регулярно напоминает она себе, но безуспешно. Следующие несколько дней, недель, а может, и месяцев, она сумеет продержаться, только если на все махнет рукой. Впервые за всю свою жизнь она позволит мужчинам решать, что делать: с расследованием, с лавкой, с ее ребенком. Она сделается как можно более покладистой, чтобы не растрескаться еще сильнее. Приливная волна происходящего просто

подхватила ее и тащит прочь, корабль медленно и неотвратимо терпит крушение, и, возможно, когда-нибудь ее выбросит на какой-нибудь далекий и неизведанный берег, и Грейс все еще будет рядом с ней, если повезет.

Грейс, Грейс, Грейс, Грейс. Милая Грейс. Уже сейчас Несгибаемая Грейс, которая будет сдавать экзамен в Хауэллс, несмотря ни на что, ведь этого хотела бы тетя Вайолет. Как можно по-прежнему любить этого ребенка всей душой, когда жизнь ясно дала понять, что на самом деле ей никто не принадлежит? И что она с легкостью может очутиться на руинах былой жизни. Дайана закрывает лицо ладонями и пытается унять участившееся дыхание.

Грейс говорит, что тоже видела его, того человека на пороге, когда выглянула в лавку из двери гостиной. Это одно из немногих обстоятельств, подтверждающих, что он не просто плод ее воображения, иллюзия типичного убийцы — черной тени с золотым ртом. Грейс считает, что он был похож на сомалийца, но Дайана в этом не уверена: и среди выходцев из Вест-Индии попадаются рослые и худые мужчины с характерными осунувшимися лицами. Она плохо помнит его лицо, но по ночам в постели во вспышках воспомина-

ний ей вдруг являются его кожаные перчатки, остроносые ботинки, медные пуговицы на его верхней одежде. Избыточные подробности, которые лишь дразнят ее. Боль при мысли о том, как она сидела, ела, танцевала, пока в нескольких шагах от нее убивали родную сестру, запускает в нее когти, заставляет чувствовать себя глупой и никчемной. Она ничего не слышала, вот в чем заключается жестокая правда. Ничего такого, чтобы предположить, что Вайолет в опасности или нуждается в помощи. И теперь ее сердце учащенно колотится при мысли, что она могла подвести и Грейс.

Пурим наступил через пять дней после убийства. Было решено, что со стороны Грейс было бы неуместно присоединяться к празднующим, однако все равно создавалось ощущение, будто ее и без того уже вычеркнули как запятнанную трагедией, с которой она невольно оказалась связана. Они видели, как дети, одетые клоунами, летучими мышами и пилотами, собирались у зала собраний методистской церкви и несколько минут наблюдали за ними, пока дети не заметили Грейс и не стали махать ей, зовя к ним. Когда они уходили, Грейс оглянулась всего один раз, а потом понурилась и ни словом не упомянула о

пропущенном празднике, когда они вернулись к Мэгги.

Весь день Дайана занималась уборкой, пальцы у нее покраснели и покрылись ссадинами, пока она оттирала отпечатки грязной обуви полицейских, следы чернил и пятна от чая. Предполагалось, что она справится в одиночку, но с самого утра с ведрами и тряпками явились помогать Анджела и ее мать Элси, не желая слушать никаких возражений.

Рослая и элегантная, рожденная от нигерийского матроса матерью, сбежавшей от мужа в Шеффилд, Анджела носит на голове бархатный ободок и ежедневно укладывает свои по-африкански курчавые волосы в безупречно аккуратный узел. В лавке она начала работать, как только ей исполнилось шестнадцать, так же, как и Вайолет, и, несмотря на внешние отличия, манерами и сдержанной речью они были так похожи, что казались матерью и дочерью. Наверное, Анджела взяла бы на себя все ежедневные обязанности в лавке, если бы Вайолет решила, что в жизни есть хоть что-нибудь помимо работы, и отвела бы Анджеле должность, которой она была бы рада и которую заслужила. Сегодняшнее присутствие их обеих оказалось в итоге удачей: их болтовня и

сплетни приглушали тоскливое ощущение, будто бы они все вместе стирают память о Вайолет, убирая не только сделанные ее рукой аккуратные таблички, которые она клеила на выдвижные ящики, ее оброненные каштановые волосы или мазки ее лечебного лосьона для рук с клавиш кассы, но и сам факт ее существования. Вайолет Волацки, старая дева, умершая в сорок один год от роду. Вот и все, что пишут в бумагах. А когда будет покончено и с этими сухими подробностями? К тому времени, как земля на ее могиле осядет, чтобы принять тяжесть надгробия? Или лишь когда ее «безмолвный убийца» будет казнен и предан забвению?

Мэгги пришла после обеда, когда в лавке царил полный хаос: в воздухе висела густая пыль, все стулья и табуретки были составлены в шаткие штабеля в углу, дверцы шкафов-витрин распахнуты. Она принесла с собой резиновые перчатки и с решительным видом достала их из сумочки, на этот раз ее покрасневшие от слез глаза были сухими.

— Не могу я все свалить на тебя, Дайана, — сказала она, схватила с прилавка губку и выжала ее над ведром.

Понимая, что ее сестре необходимо чем-нибудь

занять руки так же, как и ей, Дайана крикнула в ответ: «За дело, Мэгги!» — и продолжила подметать кладовую.

А когда вернулась в помещение лавки минут десять спустя, увидела, что ее побледневшая сестра стоит, прислонившись к стене, и судорожно сжимает губку.

— Что случилось? — ахнула Дайана, бросаясь к ней.

Анджела протянула ей фотографию:

— Она нашла вот это. И судя по всему, едва не лишилась чувств, так что мама ушла за стаканом воды для нее.

Дайана бросила взгляд на черно-белый моментальный снимок и поспешно спрятала его в карман. Высвободив табурет из общей кучи, она велела Мэгги сесть и отняла у нее губку.

— Не надо было тебе приходить! — резко и громко заявила она. — Из-за тебя становится только труднее.

Мэгги подняла залитое слезами лицо с широко распахнутыми и беспомощными глазами домохозяйки, которой неведомы трагедии.

Гнев Дайаны быстро сменился жалостью и раскаянием. Она поцеловала пробор в гладких волосах сестры и тихо извинилась.

— Просто посиди, сестренка, — потом поможешь, когда будешь в состоянии.

Вернулась Элси со стаканом воды, но тот остался нетронутым в руках Мэгги, которая сидела с остановившимся взглядом и льющимися по щекам слезами, пока три женщины суетились вокруг.

Анджела и Элси ушли только в пять, упорные в своем стремлении проводить Мэгги до дома. От платы Анджела отказалась, но Дайана уже потихоньку сунула ей в сумочку две фунтовые банкноты, заранее предвидя отказ.

Дверной звонок разрывает тишину и пугает Дайану; она бросает взгляд на часы и едва различает их циферблат в сумрачной комнате. Пасмурный дневной свет перешел в вечерний, а она даже не заметила. Она щелкает выключателем настольной лампы и наконец видит, что на часах шесть. Должно быть, это он. Журналист из «Уэстерн мейл». Сволочь. Он настоял на встрече в лавке — «колорита ради», как он выразился, а она услышала «чтобы поглазеть». Этот телефонный разговор с ним не давал ей покоя всю ночь, по этой же причине она явилась в лавку так рано — чтобы помешать ему испытать людоедскую радость от увиденного «места преступления». Он

хотел привести фотографа, но она не разрешила: нечего здесь было запечатлевать, кроме лавки со всем ее хаосом генеральной уборки. Он-то, наверное, думал, что увидит очерченный мелом силуэт на полу, как в кино про гангстеров, или кровавые отпечатки пальцев, или какую-нибудь улику, красноречиво указывающую на виновника, и первым раскроет это дело. В дверь снова звонят, Дайана медленно подходит к ней.

Но прежде чем взяться за дверной замок, она кричит:

— Кто там?

— Парри из «Уэстерн мейл», миссис Танай.

От вырвавшегося у нее тяжкого вздоха аж больно легким. Клац, клац, открываются замки, будто ломаются мелкие косточки.

— Добрый вечер, миссис Танай, надеюсь, вы в добром здравии. — Он шагает через порог еще до того, как она успевает открыть дверь пошире, опоздав со своим «входите».

Журналист — юнец в узких брючках и с пройдошливым лицом; ловкий и гибкий, он с полной убежденностью в том, что имеет на это право, обходит всю комнату, стреляя голубыми глазами под прикрытием туго натянутых век то в один угол, то в другой и не переставая что-то записы-

вать в блокнот.

— Вы ведь больше не живете в этом доме, так? — спрашивает он.

Дайана качает головой и придвигает стул к прилавку.

— Садитесь, — отрывисто велит она.

— Вы прямо как сержант.

— Капрал.

— Что, простите?

— Ничего.

— Прежде всего примите мои соболезнования в связи с невыразимо тяжкой утратой.

Напрасно она согласилась.

Но Дэниел настаивал.

— Рабби сказал, что это было бы неплохо, и поверенный тоже, — сообщил он.

— А мясник? А старьевщика ты спросил? — отозвалась она.

— Миссис Танай!..

Дайана перестает смотреть в пол.

— Вы не могли бы рассказать мне, что вам известно про обстоятельства этого… преступления?

— В настоящий момент рассказывать почти нечего: должно быть, все произошло в девятом часу вечера, мы ничего не слышали, ее нашли примерно в двадцать минут девятого.

— И вы не слышали ни звука? И впрямь «безмолвный убийца», — голос у него довольный, он лихорадочно записывает, и его стенографические знаки — как письмена древнего языка. — А где были в это время вы?

— С моей дочерью.

— Наверху?

— Нет, вон там, в столовой, — учила Грейс танцевать. — Дайана кивает на внутреннюю дверь.

— Всего в нескольких шагах.

— Да, пожалуй. — Дайана быстро моргает, снова смотрит на дверь соседней комнаты.

— Вы могли бы сказать, что у мисс Волацки были враги?

Невольно хохотнув, Дайана удивляет и саму себя, и журналиста этим единственным взрывом смеха, полного недоверия.

— Я могу с полной уверенностью заявить, что у нее не было никаких врагов.

— И темных личностей, затаивших на нее зуб, тоже? И спорных долгов? — допытывается он. — Известно же, что ростовщики всеобщей любовью не пользуются, так?

— Вайолет занималась *не только* ростовщичеством, — с горечью возражает Дайана. — Люди *знали* ее, покупали здесь всякую всячину, в случае

необходимости получали кредит. Даже моряки относились к ней с уважением, она им помогала.

— Но здесь, должно быть, столько иностранцев! Матросы из страны дикарей и бог весть еще откуда, склонные к насилию, не привыкшие к нашим законам и к принятым у нас обычаям.

— Насчет этого ничего не знаю.

— Если не ошибаюсь, полиция ищет некоего сомалийца? Вот у меня записано содержание телеграмм, которые они рассылают: «Сомалиец, примерно тридцать лет, пять футов семь дюймов, усы, золотой зуб». Вы сами видели этого человека?

— Да… нет… не знаю. Я выглянула за дверь, но сказать с уверенностью не могу. Моя дочь считает, что видела сомалийца.

Нащупав трещинку в ее обманчивой уверенности, Парри слегка колеблется, прежде чем спросить:

— Мисс Волацки не… м-м… подверглась… каким-либо?..

Потрясенно вытаращив глаза, Дайана громко и отчетливо заявляет:

— Нет! И чем яснее вы дадите это понять, тем лучше.

— Понял, понял.

— Абсурд! — понизив голос, негодует Дайана.

— Нисколько не хотел вас обидеть, миссис Танай, это все из-за читателей — видите ли, им хочется знать абсолютно все.

— Думаю, на этом мы закончим интервью, мистер Парри, но я хочу сказать еще кое-что. Полиция работает безупречно, направляет на розыски дополнительные силы отовсюду, от Лондона до Глазго, но установить личность подозреваемого пока не удается. Для этой цели… — Дайана достает из кармана свернутый лист бумаги и расправляет его на прилавке. Похожая на ребенка, сосредоточенного над уроками, она вглядывается в затейливый почерк Дэниела и читает: — «Мой зять, мистер Дэниел Леви, розничный торговец с Черч-стрит, Эбу-Вейл, с согласия всех наших родных решил назначить награду в двести фунтов каждому, кто предоставит сведения, которые помогут вынести приговор виновному. Чек на указанную сумму будет передан семейному поверенному, мистеру Майеру Коэну. Поверенный совместно с полицией решит, кто вправе получить эту награду в том случае, если виновный будет обнаружен и признан виновным».

— О, да это же сенсация! — Судя по виду, Парри готов в порыве благодарности пожать ей ру-

ку. — Какая щедрая награда! Это их наверняка всколыхнет. Уверен, материал завтра же будет на первой полосе.

Дайана встает и провожает его до двери.

— Хорошего вечера, мистер Парри.

— И вам хорошего вечера, миссис Танай. Смею заверить, я буду следить за этим делом очень, очень пристально.

Дайана вымучивает улыбку и закрывает за ним дверь.

Старший инспектор Пауэлл отпивает глоток обжигающего черного чая из покрытой блестящей синей глазурью кружки, давным-давно выигранной в вещевую лотерею на рождественской вечеринке регбийного клуба, и выжидает еще минуту за дверями помещения для допросов. Он слышит, как Лейвери монотонно бубнит, расспрашивая вновь и вновь об одних и тех же подробностях, и как подозреваемый невнятно отвечает ему на ломаном английском; Маттан не подозревает, что за ним следили больше недели. Инспектор поворачивает дверную ручку и распахивает дверь, его крупное тело будто вытесняет из комнаты свет. Выдержав эффектную паузу, он кивает Лейвери, тот бочком соскальзывает со стула, безмолвно уступая его.

В комнате душно, под мышками и между лопатками инспектора мгновенно проступает пот. Пауэлл выдергивает из розетки вилку обогревателя с двумя спиралями, стоящего у него под ногами, и проводит ладонью по своей лысой макушке. Сидящий напротив мелкий воришка Маттан не в меру задирист.

— Приветствую, — говорит Пауэлл, протягивая руку над фанерным столом.

— Приветствую, — эхом отзывается Маттан и сильно жмет ему ладонь.

— Давай-ка попросту, сынок. Мы ведь здесь все занятые люди, верно? — Пауэлл смеется.

Махмуд что-то уклончиво бормочет и старается сохранить непроницаемое лицо.

— Кража без отягчающих. Для тебя это уже не первое обвинение, как мы все знаем, но есть то, что нам стоит как следует обмозговать.

Махмуд бесстрастно ждет, его пальцы сплетены в тугой шар на столе.

— Видишь ли, у нас полно свидетелей, утверждающих, что они видели сомалийца возле лавки Волацки в тот вечер, когда Вайолет Волацки перерезали горло.

Махмуд недоуменно вскидывает брови.

— Не заметили, сколько сомалийцев живет на

этой улице? А если заметили, почему спрашиваете меня?

— Когда ты в последний раз ходил на Бьютстрит?

— Не помню, очень много месяцев прошло.

— Почему же тогда тот индиец, Мубашир, говорит, что ты вызвал его из кафе вечером накануне убийства и просил продать тебе хлеба из его лавки?

— Если я в кафе, зачем мне просить его идти в лавку за хлебом? — Махмуд смеется.

— Не смейся, парень, не смейся. — Пауэлл смотрит на Маттана в упор, пока сомалиец, заморгав, не опускает глаза.

— Почему твой домовладелец, Мэдисон, сказал, что ты вернулся домой в половине девятого в вечер убийства, а ты утверждал, что пришел домой из кино за целый час до того?

— Я знаю, в котором часу пришел домой.

— Откуда?

— Потому что я смотрел на часы над кассой «Центрального», когда входил, в четыре тридцать, и когда выходил, в семь тридцать.

— Кто видел тебя в кино?

— Я видел много кого из знакомых.

— Ты говорил с ними?

— Нет.

— Значит, ты заходил на Бьют-стрит после убийства?

— Нет, туда я не хожу.

— Совсем?

— Да.

— Свидетели сообщают нам, что видели тебя там в день похорон.

Махмуд раздраженно закатывает глаза:

— Вы говорите, что этот человек сказал то и это, но я вам не верю. Я не читаю, что вы написали. Приведите их, посмотрю, скажут они то же самое или нет.

— Полагаю, это можно устроить. Твое желание — закон для нас. Инспектор Лейвери, приведите сюда Мэдисона или Манди.

Махмуд смотрит, как Лейвери уходит, открывая и закрывая дверь, и морщится: странный какой-то допрос, не угадаешь, что нужно полицейским, плащ давно забыт, теперь только и разговоров, что о мертвой женщине.

— Не волнуйся, немного погодя мы дадим тебе сандвич и чашку чая, — обещает Пауэлл, неверно истолковав гримасу подозреваемого.

Махмуд бросает взгляд на Пауэлла, уже раскаиваясь в том, как резко выразил недоверие.

Вообще он собирался говорить как можно меньше и смешивать правду с неправдой до тех пор, пока они не составят одно убедительное целое. Не следовало ему говорить *аф-бурхаан* таким языком, надо обуздать свой норов и хоть немного улыбаться, особенно с этим детективом, который, судя по виду, легко способен пробить стену кулаком. Валлийского быка, вот кого напоминает ему этот Пауэлл: плотное, тугое мясо, втиснутое в старомодный костюм, и два маленьких немигающих глаза на ширококостном лице. Далеко за пятьдесят, но мускулы скорее наэлектризованы возрастом, а не ослаблены им.

Пауэлл зевает.

— Прошу прощения, последние две недели едва глаз сомкнул, работал по двенадцать-четырнадцать часов, — говорит он, словно в комнате пусто.

Махмуд слегка кивает, притворно выражая сочувствие.

Полицейский, который записывает допрос, стуча на пишущей машинке в углу, переводит взгляд с одного из них на другого и замирает, выжидательно занеся пальцы над клавишами.

Возвращается Лейвери, что-то шепчет детективу Пауэллу на ухо, потом оба усаживаются за стол

напротив Махмуда.

— Ты когда-нибудь говорил мистеру Мэдисону, как, по-твоему, была убита та женщина на Бьютстрит, или показывал ему, как это было сделано, по твоему мнению?

— Я никому не говорю, как убили женщину. Я не знаю эту женщину. Я не трогаю ее, она не трогает меня. Она ничего не говорит мне, я ничего не говорю ей.

— Ну а мы слышали обратное. И очутились в несколько затруднительном положении. Либо ты лжешь, либо лгут Мэдисон и Манди.

— Верьте чему хотите, я говорю правду, *руунта*, я говорю вам правду. — Махмуд запинается, английский подводит его, слова на сомали, арабском, хинди, суахили и английском слипаются в один ком у него на языке. Он проводит ладонью по волосам и делает глубокий вдох. — Манди делает то, что Мэдисон скажет ему, если он скажет «прыгай», Манди только спросит, высоко прыгать или нет.

— Как в твоей стране режут скот?

— Это вы о чем?

— Ну, как вы это делаете? Отчего жертва становится священной?

— Надо сказать над скотом «*бисмиллях*».

— И перерезать ему ножом шею, да? Так делается в твоей стране?

— Я никогда не режу.

— Я видел это здесь, в Кардиффе, на ваши праздники, а ты никогда не участвовал?

— Я слишком люблю мою одежду.

Пауэлл царапает что-то в блокноте, потом медленно поднимается из-за стола и выходит из комнаты, не добавив ни слова.

Попыхивая трубкой и вышагивая туда-сюда по темному коридору, Пауэлл собирается с мыслями: он не ожидал, что Маттан такой дикарь, настоящий бандит без малейшего уважения к властям, алчный чернокожий без определенного места жительства. Где-то он читал, что для сомалийцев каждый человек сам себе хозяин. Не то что веселые ребята из народа кру или англизированные вест-индийцы: сомалийцы вспыльчивы и злы, чуть что, хватаются за оружие, а раскаиваться в этом и не думают. Этот, должно быть, осмелел после мягких приговоров, которые ему выносили раньше; не забыл надеть перчатки, разделался с жертвой без колебаний, быстро избавился от орудия убийства и украденных наличных. Опасный тип, если бы не путался в собственном вранье. Хорошее, крепкое дело,

раскрыть которое ему должен был помогать сын, вместо того чтобы болтаться в Райтонском колледже, попусту тратя время на любительские постановки, гражданское право и английскую литературу. На кой инспектору сдалась вся эта белиберда? Полиция явно уже не та. Этой работе он отдал тридцать лет и научился всему, что надо знать, сбивая подметки на городских улицах. Имея дело с отбросами общества. Зная их привычки лучше их самих. Удержать в себе ужин, столкнувшись с последствиями их зверств, — вот показатель мастерства в этой работе. Не то чтобы в ней не было места книжным знаниям и криминалистике, но все же в итоге все сводится к непрестанному приобретению знаний и к преследованию волков, обосновавшихся в стаде. Тех извращенцев, безумцев, головорезов, безответно влюбленных, садистов, джекилов и хайдов, которых он допрашивал, делился с ними сигаретами, а потом отправлял их на виселицу. Обычно основная тяжесть удара приходится на потаскух и любительниц черномазых — застреленных, если им везет, или извлеченных нагишом из залитой кровью канавы, если они оказываются невезучими. Приличные женщины, такие как мисс Волацки, оставались неприкосновенными,

должны были оставаться. Он знал ее десятки лет, знал и ее отца. Совсем кроха, росточком ему чуть выше пояса, не христианка, но рассудительная, трудолюбивая и предельно честная. Тайгер-Бэю нужны такие люди, как она, иначе он пойдет к чертям собачьим. Он поймает ее убийцу, в этом нет никаких сомнений, и незачем газетам или чиновникам из муниципалитета торопить его. Они уже опросили каждого матроса с судов, стоявших в ту ночь в порту, хозяина каждого паба, каждого воришку, каждого наркомана, каждую шлюху, молочников и дворников, лавочников и владельцев кафе, пасторов и шейхов, заимодавцев и их должников, уличных игроков в кости и детей, наблюдающих за ними, и так вплоть до полицейских по всей территории. Если бы местные кошки, собаки и лошади умели говорить, он вызвал бы на допрос даже их. Полицейских помоложе будоражила работа в доках, а его угнетало наблюдать, до чего докатилась страна. Почти все ночи последние две недели, проведенные в Бэе, обескураживали его; район кишел извращенцами, черномазыми, хулиганами, бандитами, коммунистами и предателями всех мастей. В воздухе витал запах разложения, чувствовался и в маслянистой вони специй, которая исходила

от забегаловок, и в струйках дыма марихуаны на шумных домашних вечеринках. И это страна, за которую погибло столько хороших мужчин и парней? «Порты — наша содранная кожа», — говаривал первый главный констебль, под началом которого он служил, еще в двадцатые годы, и его слова справедливы до сих пор. Никто не слушал, когда Уилсон предлагал объявить межрасовые браки вне закона, и последствия не замедлили проявиться.

Слышны приближающиеся шаги, Пауэлл поднимает голову.

— Сэр, Манди явился по вашему распоряжению.

— Хорошо, хорошо, веди его сюда, и этого никчемного ямайца, Кавера, тоже. Он вроде говорил, что сомалийцем, которого он видел у лавки, был тот псих, Тахир Гасс, да?

— Так точно, сэр.

— Что ж, посмотрим, удастся ли нам слегка освежить его память. Гасс уже дал деру на корабле.

— Мистер Маттан говорит, что вы ошиблись, отвечая на вопрос, в котором часу он пришел домой в тот четверг вечером. Вы не могли бы сказать мне сейчас, в какое время он пришел?

Манди стоит у двери, держит руки за спиной

и хмуро кивает, избегая встречаться взглядом с Махмудом.

— Обязательно.

— Я сидел на диване в комнате мистера Мэдисона, мы говорили о бегах и ставках. А этот человек, — Манди пренебрежительно указывает на Махмуда, — явился примерно без четверти девять. И сел на диван рядом со мной. И ничего не говорил. Я дал ему газету, но он в нее не смотрел. Просто глядел вперед.

— Неправда, неправда, ты говоришь то, что Мэдисон велел тебе сказать.

— Чего это? Почему не можешь сказать этому человеку правду? Сам знаешь, когда ты пришел тем вечером.

— Сволочь!

— Это ты меня назвал сволочью? Назвал меня сволочью перед полицейскими? — Манди вскидывает ладони к потолку, будто свидетельствует в церкви.

— И лгун! Большой лгун! Ты говоришь им неправду. Не показываю я тебе ничего, и как убили женщину, тоже, все ты врешь.

— Ну-ка успокойтесь, джентльмены, — улыбается Пауэлл.

— Клянусь жизнью моей дорогой матери, что

он говорил Мэдисону, что было бы легко напасть на нее — просто обхватить одной рукой за шею, а другой перерезать горло. Я сам видел.

– *Караа! Ибн шармута*! — бранится Махмуд.

— Большой дурак! Сын развратной и непокорной женщины!

— Довольно. Уведите его, Лейвери.

— Ты раб Мэдисона, его пес, ему на тебя плевать, зачем врешь для него? Он просто злой, потому что я на него заявляю.

— Хватит, я сказал. — Пауэлл колотит кулаком по столу, пока Манди благополучно не выводят из комнаты.

— Это рассеяло ваши сомнения насчет показаний наших свидетелей, мистер Маттан? — спрашивает Пауэлл, вскинув кустистую бровь.

Махмуд утирает слюну в уголках губ и пытается вытрясти гнев из-под черепа.

— Британская полиция такая умная. Я говорю вам, что убиваю двадцать человек. Убиваю вашего короля. Если я говорю то, что вам нравится, думаете, это правда?

Лейвери заходит к нему в камеру с обоссанными стенами.

— Почему держите меня здесь? Просто отправьте к магистрату.

— Забыл, что завтра воскресенье?

Махмуд оттирает свежее пятно на своих брюках.

— Ну так в понедельник?

— Правильно. Итак, Маттан, ты не против встать в одну шеренгу с другими мужчинами, тоже сомалийцами, чтобы несколько человек — и дамы, и, может быть, один-два мужчины — осмотрели всех стоящих в шеренге? Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Понимаю. Дело ваше, мне все равно.

— Отлично, постараюсь организовать все утром. Хочешь, я пошлю за кем-нибудь из твоих друзей, чтобы навестили тебя? Или принесу тебе какую-нибудь особенную одежду, которую ты хотел бы надеть? Этот костюм выглядит так, будто его затаскал шахтер.

Махмуд слушает — сначала безучастно, потом замечает ловушку, в которую его пытаются заманить, и фыркает от смеха.

— Понимаю, вы говорите им, во что я одет, чтобы они выбрали меня. Нет, особенная одежда мне не нужна, друзья не нужны, ничего не надо, и в вашем параде я не участвую, и вы меня не заставите. — И он расцветает самодовольной и незлобивой улыбкой.

Лицо Лейвери, длинное и хмурое даже в лучшие времена, ожесточается, но он лишь кивает и выходит, тихо прикрывая за собой дверь.

Утром его ведут фотографировать. Вспышка сверкает прямо перед лицом, он так часто моргает, что фотограф в фетровой шляпе решает на всякий случай отщелкать лишний кадр. Он делает еще два снимка, левого и правого профиля, потом зачехляет орудие своего ремесла. Махмуд откладывает доску, на которой мелом написано его имя, и отходит от стены. Краем глаза он видит с полдюжины человек, медленно проходящих мимо распахнутой двери. Узнает старого бакалейщика, к которому раньше ходил за покупками, за ним замечает мальтийца, который однажды во время партии в покер обжулил его, сдавая карты, а дальше… нет, не может быть! Нигериец-часовщик, с которым он однажды поцапался из-за часов. Что это еще за сборище? Все эти непохожие друг на друга лица из его прошлого проходят мимо, чтобы поглазеть на него, как на нового льва в зоопарке, их глаза горят преступным любопытством. Позади всех идет девчонка в белых носках, с каштановыми волосами — ей лет двенадцать, она рассеянно сосет свой рукав. На него она смотрит в упор, не

моргая и не смущаясь, впивается в него глазами, голубыми, как лед. Потом шепчет что-то женщине, голова которой повязана шарфом, потом качает головой, поворачивается к Махмуду ради еще одного долгого взгляда, и обе уходят.

Во время поездки на заднем сиденье полицейской машины оказывается, что появились первые похожие на пену бутоны вишен и магнолии, в воздухе разлилось тепло или что-то вроде него, слышны птичьи трели и перепалки. Ему дают рубашку цвета хаки без воротника и коричневые брюки, и теперь он ждет своей очереди к кардиффскому судье-магистрату. В мрачной, обшитой деревянными панелями комнате ожидания едко пахнет воском и средством для полировки металла «Брассо», и Махмуд вздыхает с облегчением, когда секретарь суда, стуча ногами по ступеням, бежит объявить, что вызывают его.

Как в игре, Махмуд поворачивает голову то в одну сторону, то в другую, будто залог его свободы мечется по залу суда.

Предмет обвинения — кража.

Понял.

Стоимость плаща двенадцать фунтов и двенадцать шиллингов.

Понял.

Желает ли обвиняемый подать ходатайство об освобождении под залог?

Да, сэр!

Потом игра меняется. «Необходимо уладить некоторые формальности», «мы хотели бы задержать его на пять суток», «по более серьезному поводу».

Что делает здесь этот болван Пауэлл?

— Он матрос, имеющий расчетную книжку матроса. Его выселили из прежнего жилья, в настоящее время у него нет постоянного места жительства.

Мэдисон. Опять. Да чтоб ему гореть вечно.

— Что вы имеете в виду под «более серьезными обвинениями»? — спрашивает магистрат, перебирая кипу бумаг, лежащую перед ним.

— На данном этапе мы не вправе сообщать дальнейшие подробности.

Магистрат смотрит на Пауэлла и хмурится.

— Если так, я могу оставить его под стражей только до среды.

Секретарь поворачивается к Махмуду:

— Вы хотите что-либо сказать?

Махмуд прочищает горло, но издает лишь шепот:

— Я хочу сказать ничего.

В ворота кардиффской тюрьмы Махмуд въезжает со вздохом. Это викторианское строение находится так близко к его бывшему жилью на Дэвис-стрит, что тень тюрьмы создавала сумерки в его комнате всю первую половину дня, пока солнцу не удавалось подняться над трехэтажным зданием из грязного кирпича. В наручниках, сидя в фургоне, Махмуд гадает, кто заберет его сундучок со скудными пожитками из сорок второго номера. Может, прямо сейчас Мэдисон и Манди роются в его вещах, читают его письма, забирают себе что понравится. Это в самом деле головная боль — постоянно подыскивать себе новое жилье; когда он выйдет отсюда, придется переезжать из Адамсдауна, иначе он обязательно нарвется на неприятности, случайно столкнувшись с этими двоими. Четвертый переезд за двенадцать месяцев, и все еще никаких надежд на Лору, мальчишек и дом в ближайшем обозримом будущем. Ему осточертело иметь дело с полицейскими, ощущать на запястьях их дребезжащие браслеты, делить матрасы с городскими бродягами и отщепенцами. Для этого он уже слишком стар, а полицейские уже начинают его ненавидеть; здесь назревает что-то личное, слишком уж сме-

ло они произносят его имя и явно хотят верить, что он способен на все. Он не позволит им обращаться с ним как с тряпкой, которую они макают в пролитую кровь.

На приемке ему выдают одеяло, кружку, таз и новую форму. Всего две ночи здесь, и опять свобода. Его ведут в крыло А, где воняет вареной капустой и немытыми мужиками. Подросток-заключенный, стоя на коленях со щеткой и совком, поднимает голову и шепотом просит закурить. Вместо ответа Махмуд выворачивает пустые брючные карманы. Солнечный свет струится в высокие окна, отражается от металлических ограждений, решеток и лестниц, блики слепят глаза. Охранник ведет его на третий этаж. Тюремные камеры, как ему помнится, настолько тесные, что можно одновременно коснуться вытянутыми руками противоположных стен.

Уже сделав два шага по камере, Махмуд вдруг отшатывается: здесь он не один, другой чернокожий разлегся на узкой нижней койке, свесив с края здоровенные ступни.

— Я тебе не привидение, незачем шарахаться.

— Что ты здесь делаешь?

— Ну, ребята, оставлю вас знакомиться, — объявляет охранник и запирает дверь.

Махмуд сваливает принесенные вещи на верхнюю койку и смотрит в упор на Ллойда, таинственного боксера из сорок второго дома.

— Сижу по закону об опасных наркотиках, что же еще? — смеется Ллойд.

— Но тебя же отпустили.

— А потом нарыли на меня еще что-то и забрали обратно.

— Не повезло.

Грызя спичку, Ллойд корчит гримасу «да без разницы».

— А тебя за что?

— За кражу. Плаща.

— Я слышал, тебя прозвали Призраком, — что, солнце встало слишком быстро и ты попался?

Махмуд улыбается:

— Можно и так сказать.

— Тебе тоже не повезло, — слова у него выходят тягучими и звучными, с акцентом, в котором все еще отчетливо слышны ямайские переливы. Ллойд симпатичный, оттенком-двумя светлее Махмуда, с глазами американского индейца и широким разлетом скул. Волосы коротко стрижены, четкий пробор сбоку бритвой врезается в его блестящие завитки.

— Я всегда был один в камере, — говорит Ма-

хмуд, вышагивая по узкому пространству между дверью и окном, забранным белой решеткой.

— Да уж, это тебе не «Ритц», но, пока за нас стирают и носят нам горячую еду, никакому менеджеру не пожалуешься.

— Этот ублюдок Мэдисон выкинул меня из дома.

– *Холодный* он человек, злющий, как старая дева.

— Да пошел он. Найду что-нибудь получше, где можно пристроиться, и подходящий карман для моих денег.

— Да в этом Тайгер-Бэе полным-полно кишащих крысами ночлежек.

— Я не сплю там, где есть крысы. — Махмуд резко оборачивается к Ллойду.

— Угомонись, приятель. Везде, где мы есть и где нас нет, куда ни ступи, всюду королевская крыса, хоть под нами, хоть над нами, хоть за стенами — всегда она рядом. Букингемский дворец для нее просто детская площадка.

Махмуд встает и смотрит прямо в окно на крону голого дуба по другую сторону высокой тюремной ограды, на небо, прояснившееся до яркой, радиоактивной голубизны, на закопченные зады ряда домов на Дэвис-стрит, с их заросшими бурьяном

задними дворами, уродливыми от опрокинутых тележек, ржавеющих велосипедов, хлопающих на ветру рубашек и серого белья, которому прищепки не дают сорваться с обвисших веревок, на покосившиеся, исхлестанные дождем дворовые постройки, готовые испустить дух.

— Соскучился по своей кроватке?

— Нет, там живут моя женщина и мальчишки.

— Ты женат на *баккра*? — ухмыляется Ллойд.

– *Баккра*? Что это?

— Белая девчонка, — отвечает он, проводит языком по своим мелким зубам в никотиновых пятнах и прищелкивает им.

Махмуд оглядывается через плечо, и на миг ему кажется, что Ллойд преобразился. Он полон особой энергии, змеиной и переменчивой, на секунду вызывающей сомнения, что он вообще человек, что он крепкий и плотный и что не сменит облик у тебя на глазах.

— А я думал, вам, магометанам, нельзя есть… — Ллойд обрывает шутку, заметив, как переменился в лице Махмуд. — Ты в порядке?

Махмуд отворачивается к окну:

— Не хочу говорить о моей жене.

— Ваше право, шеф.

— Знаю.

Ллойд садится, скидывает ноги с кровати и отстукивает быстрый ритм на собственных бедрах, его широкие желтые ладони гулко и поло хлопают по плотным мышцам.

— А! — издает он крик и вскакивает на ноги.

Махмуд стремительно оборачивается, ожидая нападения, и вскидывает кулаки.

Ллойд смеется.

— Бой хочешь? Давай на кулаках! — Он наносит несколько порывистых, быстрых, как выпущенные стрелы, ударов, останавливая кулаки в нескольких дюймах от Махмуда. Глаза блестят, улыбка становится шире, он вдруг выглядит радостно и по-детски.

Подражая ему, Махмуд пружинисто скачет, прикрывает лицо одной рукой, наносит короткие удары другой, и его разбирает смех.

— Второй раунд — дзинь-дзинь-дзинь! Джо Луис против Шугар Рэй Робинсона. «Коричневый бомбардировщик» теснит Сахарного человека к веревкам! Бац! Бац! Бац! — Он делает вид, будто осыпает шквалом ударов голову Махмуда, затем отскакивает и поворачивается, вскинув в воздух кулаки. — Бесспорный чемпион всего-о-о ми-и-и-ра!

Махмуд опускает кулаки и возмущается:

— Нельзя объявлять самого себя чемпионом.

— Из самого Кингстона, Ямайка! Абсолютный, бесспорный, несомненный чемпион вселенной!

Ллойд закидывает длинные руки на плечи Махмуда и легко хлопает его по спине.

— В следующий раз и тебе повезет, Призрак.

Махмуд стряхивает его с себя, но оба смеются, полуденное солнце светит сквозь прутья решетки. Махмуду кажется, что стены тесной камеры расступаются и прикосновения Ллойда согревают кожу.

— Ах, приятель, лето, лето в Лондоне, а дальше такое было, что хоть уши затыкай.

Свет выключают. Оба лежат на койках. Матрасы такие узкие, что спать приходится неподвижно и вытянувшись по примеру Носферату.

— Я рыскал от Ноттинг-Хилл-Гейт до Грин-парка, за полчаса легко, это мой участок, а были ребята, которые промышляли между Мраморной аркой и Ланкастер-Гейт, но самый шик — это вдоль решетки у Грин-парка. Держал я пяток девчонок: трое из графств, одна ирландка, одна темная малютка из Испании. И все носили красные туфли — стильно, да? Такой у меня был фирменный знак.

Махмуд не отвечает, он почти спит и лишь

вполуха слушает мутные россказни Ллойда.

— Вот я и держал их на стиле, за их деньги покупал высший класс у королевских шляпников, французские чулки, итальянские туфли, смотрелись они как с картинки в «Вог». А я был и любовником, и боссом, и феей-крестной. Не скажу, что все они понимали, что получают. Одна из моих английских цыпочек сворачивала свой норковый палантин и садилась на него, если зимой скамейка была слишком холодная, ну что ты будешь с этой девчонкой делать! Да ничего особенного. Но летом — никому в голову не придет злиться лондонским летом, окунешься в Серпентайн, чтобы охладиться, а потом лежишь на травке, веки просвечивают красным, и знаешь, что вот для этого и родился и никто чары не развеет. Я же сюда прямиком с Ямайки, за солнцем не гонюсь, но есть что-то такое в том, как меняется эта страна, когда здесь тепло и от этого смягчаются все местные англосаксы и кельты. Как все роскошные здания на Уайтхолл, Пэлл-Мэлл и Риджент-стрит выглядят так, будто и они загорают, теряют серый оттенок и становятся золотистыми. Слушай, да даже голуби на Трафальгарской площади, и те становятся важными и помешанными на сексе, и все это льется

из каждого фонтана, из каждого крана в баре, из каждой потной подмышки. То же безумие.

Махмуд понимает, о чем он. С Лорой он познакомился в начале лета сорок седьмого. В тот самый момент, когда за один день совершается переход от зонтов и шерстяных пальто к коротким рукавам и мороженому. Он ждал под железнодорожным мостом на севере Бьюттауна ровно в пять тридцать, сразу после окончания ее смены на бумажной фабрике, и всякий раз боялся, что уж сегодня она точно его продинамит, а потом она приходила — опрятный шарф завязан под подбородком, старый плащ ее матери перехвачен пояском из желтого пластика. «Ну, что, Муди?» — спрашивала она грудным голосом. Тогда он, чтобы выглядеть джентльменом, забирал у нее сумку, и ее жестянка для бутерброда звякала в ней в такт шагам, пока они направлялись в кино или в молочный бар. В ту неделю, когда они познакомились, он записался на судно в Бразилию, но потом уступил свое место другому сомалийцу: было в ней что-то *такое*, отчего ему захотелось побездельничать. Она заставила его томиться в ожидании, и это ему нравилось: или свадьба, или ничего. Вдобавок у нее была сила воли, и плевать она хотела на то, кто и что подумает.

— Знаешь, иногда вот так смотришь, как плавно едет мимо шикарный автомобиль, и думаешь — а вдруг за кем-то из девчонок? А потом понимаешь, что глаз-то положили на тебя. В первый раз я только ахнул мысленно: «Господи Иисусе!» Испугался, что какому-нибудь педику захотелось черного мясца, но на треклятом пассажирском сиденье была женщина. И вот опускает она темные очки и смотрит на меня в окно «Роллс-Ройса» — шик-блеск, скажи? Клянусь, с виду она прямо как Мэрилин Монро, важная такая Мэрилин, и крупный жемчуг на шее едва не душит ее. А тот тип палец так согнул и зовет меня. «Добрый вечер, добрый вечер, не правда ли, чудесная погода?» — «О, несомненно!» Поговорили мы так на английский манер, а потом он и говорит — мол, они устраивают вечеринку и хотели бы пригласить меня, нет, он сказал, что на меня «распространяется приглашение». — Ллойд хмыкает. — А я говорю, что буду несказанно рад, и сажусь на заднее сиденье — светлая тонкая кожа, приятный запах, ноги можно вытянуть — места много, и едем мы к ней домой в Холланд-парк. От подробностей я тебя избавлю, но это была вечеринка, на каких я до тех пор ни разу не бывал, а потом узнал, после того как вернулся в парк

с тремя фунтами в кармане, и девчонки стали расспрашивать, где я был.

Махмуд морщится. Ему сразу вспоминается, как еще когда он только прибыл в Кардифф, какой-то человек вышел из паба — лысый, втиснутый в костюм-тройку, — схватил его за руку и сказал, что его жена хотела бы поздороваться. И они пошли к его тощей жене. Черные волосы, начес, белое от пудры лицо — смущается и старается скрыть плохие зубы. «Поздоровайся!» — велит ей муж, и она опускает глаза и что-то бормочет, вроде как «здравствуйте». Махмуд вырывается и идет прочь. «Не уходи, — уговаривает мужчина, — у тебя есть где остановиться? А у нас все равно кровать пустует». Он не понимал тогда, почему они так рьяно зазывали его к себе, ведь многие ему даже в глаза не смотрели. Ему понадобилось время, чтобы сообразить: для некоторых мужчин самое острое ощущение — смотреть, как их женщины делают это с кем-то другим, особенно с чернокожим. Это было все равно что узнать, что он окружен каннибалами, уму непостижимо, как может мужчина так поступать со своей женой? С детьми? С самим собой? У него возникло чувство, что он заехал слишком далеко от дома, чтобы хоть что-нибудь понимать.

— Мужчине надо крутиться, зарабатывать, пока он может, и нечего тут стыдиться.

В ответ Махмуд дышит ровно и глубоко, притворяясь спящим, но Ллойд продолжает бубнить до тех пор, пока не усыпляет его по-настоящему.

Берлин, должно быть, запугал *бадмарин*, матросов, чтобы заставить их раскошелиться, потому что утром является адвокат, просит свидания с Махмудом и объявляет, что его прислали представлять его в суде. Молодой парень с заметным «вдовьим мыском» и изогнутыми черными бровями, которые остаются поднятыми все время, пока он говорит. В глаза Махмуду он старается не смотреть, только указывает ребристым ногтем большого пальца то на одну, то на другую строчку, где надо поставить подпись. Его старательное «М. Х. Маттан» все еще выглядит неуклюже и криво, совсем по-детски. Адвокат — кажется, Морган, Махмуд не уловил — сует бумаги в большой желтый конверт, на котором слово «Рекс» вычеркнуто и свежими черными чернилами надписано «Регина», и уходит, коротко кивнув через плечо на прощание.

Тюрьма гудит, как вокзал, каждый шум в ней кажется гулким и металлическим из-за голого

кирпича и перекрещенных металлических решеток. Смех, звон ложек в эмалированных мисках, свистки тюремщиков, а за одним столом обладатель баритона поет скорбный валлийский гимн пустой стене. Заключенные-мальтийцы сбились в кучку, благодаря загару и аккуратным темным усам они выглядят здоровее и почему-то опаснее толпы бледных и неопрятных белых. Махмуд видит еще несколько цветных: пару из Западной Африки, с мелкими шрамиками на щеках, худосочного араба с темными полукружиями под глазами, китайца с толстой шеей и татуировками на тыльной стороне ладоней, самодовольного красавца индуса. Овсянку разложили по мискам всего несколько минут назад, а из кухни уже несет капустой и вареным мясом. Дни в тюрьме пролетают так быстро, будто тюремщикам не терпится загнать заключенных спать, чтобы самим на свободе побегать по коридорам и дворам, покататься на перилах, повисеть на решетках, как на трапеции.

— Ты идешь? — Ллойд толкает его и первым направляется во двор для прогулок.

Двор не столько для прогулок и занятий спортом, сколько для того, чтобы постоять, подышать свежим воздухом, посмотреть на небо не сквозь

закопченное и заляпанное птичьим пометом стекло. Заключенные ходят по кругу, самые старшие — в середине, задевая друг друга плечами, основная тема разговоров шепотом — курево, о преступлениях не говорят, о прошлом не распространяются.

— Вы только гляньте на него! — говорит кто-то, заставляя встрепенуться всех, кто есть во дворе.

— На кого?

— О чем ты?

— Ну и на кого глядеть?

— На Сингха! — шипит тот, кто начал первым, и его плоская лысина становится заметной: запрокинув голову, он указывает на наружную лестницу, ведущую в дальнее крыло.

Махмуд тянет шею, положив руку на плечо Ллойда, чтобы приподняться повыше.

Индиец в бледно-голубом тюрбане появляется между черными копьями, которыми ощетинился верх кирпичной ограды двора. Широкий в спине и длиннобородый, как пророк, он двигается с неуклюжей грацией танцующего медведя, его руки закованы в наручники, он спешит, чуть ли не подскакивая на каждом шагу, следом за тюремщиком, оба проходят под аркой и скрываются из вида.

— Вот жирдяй, а? — кричит кто-то, и после секундной паузы заключенные во дворе разражаются дружным хохотом.

— С ним веревкой не обойдешься! Скорее уж цепь понадобится жадному ублюдку.

— Чего ж капиталы-то не наращивать, если кормят от пуза.

— Слышь, ваша честь, ты смертный приговор сколько хочешь выноси, главное, чтобы стейк мне прожаривали как следует.

— Да какой ему стейк, пацан, он же индуист! Они рисом со специями пробавляются.

— Мусульманин он, болван!

— Дебилы вы все, этот человек сикх! Даже по имени видно! Никто не сидел с ним, что ли?

— Я сидел. Кто хочет знать, как зовут индийца, который везде поспел? Биндар Дундат…[10] Это бесплатно, парни, пользуйтесь.

Одни слушатели стонут, другие фыркают, но общее настроение и странный холодок, который ощущает Махмуд, глядя, как уводят приговоренного к казни Аджита Сингха, улетучивается, когда заключенные отказываются проникаться им.

— Как это говорится у англичан? — толкает его

---

[10] Примечания: 10

Предположительно по созвучию со словами «любопытство» и «поиск». (*Прим. пер.*)

в бок Ллойд.

— Что? — спрашивает Махмуд, наморщив брови.

— Тот человек… похоже, его гусь уже зажарен[11].

— Подумать только, судьба привела его сюда аж из самой Индии.

— Как думаешь, долго тебе здесь торчать?

— Слушай, да я выйду еще до конца недели.

— Вот и я тоже.

— Кто сказал?

— Богом клянусь, старина, достала меня эта дыра.

— Уверен, что больше у них на тебя ничего нет?

Махмуд перестает обрывать заусенец на большом пальце и ложится на свою койку. Вспоминая последние несколько недель, он убеждается, что за ним ничего не числится, разве что на скачках в Ньюпорте он обчистил карманы одного старикана.

— Ничего.

— А ты слышал про ту еврейку, которую ограбили и убили прямо у нее в лавке на Бьют-стрит?

---

[11] Примечания: 11
Его песенка спета. (*Прим. пер.*)

— Кто же об этом не слышал?

— Хороший был у нее там сейф, большой. Завидная добыча.

— Думаешь? А по мне, так она мелочовкой торговала.

— Ты у нее хоть раз бывал?

— И не один. Рубашки покупал, платья жене.

— Я слышал, злая она была, настоящая еврейка, из тех, кто слышит звон монет в твоих карманах, даже когда переходишь улицу.

— Однажды она пыталась всучить мне упаковку рубашек, а там двух не хватало.

— Ну а я о чем говорю? Должно быть, не на того нарвалась. Сцепились, она умерла, а он такой думает: а с чего мне уходить отсюда с пустыми руками? Непреднамеренное убийство — так это называется.

— Кому в голову придет сцепиться с женщиной и схватиться за нож?

— А это был нож? Я не знал.

— Или бритва, неважно, все равно оправданий нет.

— Если этот человек убедительно все растолкует полиции, ручаюсь, к нему проявят снисхождение.

— Где ты видел, чтобы они проявляли снисхож-

дение к человеку? Разве что у него есть деньги или знакомства. Я сам видел, как они будили белых нищих пинком в голову.

— Не, старина, надо уметь умасливать их, они же простые парни, только в форме, а полицейские и бандиты нужны друг другу: они придают смысл нашей жизни, мы — их.

Махмуд не верит: что это еще за *габай*, басни?

— Никакие они не простые парни, и в моей жизни они точно *не* нужны.

— Да я что хочу сказать… все, что человек делает в жизни, — это способ выглядеть как можно лучше.

— А ничего не говорить им, ничего, кроме вранья, — единственный способ говорить с полицией. Держи рот на замке или уводи их как можно дальше оттуда, куда тебя хотят привести. А если не понимаешь этого, возвращайся к себе в страну.

Ллойд смеется:

— Не торопи меня, старина, я сам знаю, когда вернусь. Первого января 1960 года. Вот дата, которую я себе пообещал, тогда и уеду, и ни минутой раньше, разве что у Всевышнего на этот счет свое мнение.

— А почему шестидесятого?

— Потому что тогда проживу ровно десять лет в старушке Бриташе, десяточку, и смогу сказать, что видел ее, жил в ней и уехал из нее. А ты собираешься обратно к себе в пустыню?

— Я об этом не думаю, пока мальчишки не подрастут, мне нет места там, где их нет.

— Ручаюсь, ты какой-нибудь принц, или сын вождя, или двоюродный брат самого Селассие.

— Кто — я? — Махмуд издает смешок, который словно застревает у него в горле. — Шутишь? У нас лавчонка в Харгейсе, ну, и голов десять верблюдов пасутся в пустыне с остальным стадом нашего клана. Ничего такого, чтобы спешить на родину… мой отец был коротышкой, как Селассие, только это у них и есть общего.

— Значит, сюда ты прибыл, чтобы попытать удачу, как все мы? Мои школьные товарищи говорили, что старушка Бриташа уже стоит на коленях, так что надо мне приехать и взять ее сзади. — Он гогочет.

— Я азартная натура. Даже в детстве, стоило кому сказать мне: «Сделать то или это ты не сумеешь, я точно знаю», я смотрел им в глаза и делал. Я беру все, что дает мне жизнь, и бросаю судьбе в лицо. Мать отправила меня на грузовике с торговцами в Дыре-Дауа, на холмах я выпал из

кузова и повредил руку. Вот такая рука стала, видишь? — Он выворачивает руку в локте под неестественным углом и вытягивает так, чтобы Ллойду было видно с нижней койки. — Мне говорят: «Давай домой, сходи к костоправу, тебе сейчас с нами нельзя», но я сам выправил руку, забрался в грузовик и ехал в кузове всю дорогу до Дыре-Дауа. Никто мне не может сказать «нет». Я просто скажу им «да».

— Ну и набит же у тебя рот громкими словами, парень, излагаешь свою философию?

— Это какое слово?

— Какое? «Философия»?

— Нет, другое.

— «Излагать». Оно из словаря. Значит «докладывать» или «объяснять», только по-умному.

— Да, я излагаю. Слушай, давай я тебе расскажу, как меня арестовали в первый раз. Родезия, сорок пятый год. Я направлялся в Южную Африку, чтобы поступить на торговый флот. Уже прошел… дай-ка вспомню… Кению, потом Танганьику… и только перешел границу Северной Родезии, как эти собаки в мундирах схватили меня, едва я ступил на тамошнюю красную почву. Арестовали меня за нелегальный въезд, бросили в тюрьму — впервые за всю мою жизнь, а я был еще маль-

чишкой, кожа да кости и вообще без понятия. Воды нет, прилечь негде, пятьдесят черных мужчин в камере спят стоя и срут в пустую жестянку из-под сухого молока. Люди кашляют, и ты прямо чувствуешь туберкулез у себя на шее, на лице, даже думать об этом и то противно. Как-то так вышло, не знаю как, мясник-сомалиец из моего клана, зовут его Хаджи Али, услышал, что я в тюрьме в Лусаке, заплатил двадцать пять фунтов залога, хоть вообще был со мной незнаком, и меня депортировали на юг, а я и так туда направлялся. Как только мне первый раз дали жалованье на первом же судне, я послал ему тридцать фунтов. Ничего нельзя забывать. Хорошее или плохое. Это тоже моя философия.

— Да, клянусь Яхве! Вот это правильно. Какие грехи мы ни совершаем, мы уравновешиваем их праведными делами.

— Стараемся, да, слушаем ангела на нашем правом плече и дьявола на левом.

— Так вот как у вас, магометан, считается? Ну ладно, аминь, с этим можно жить.

Махмуд на самом деле не посылал денег Хаджи Али, но собирался послать и до сих пор собирается, и ему нравится мысль о том, что он человек, способный на такие поступки. Честный изгой.

В душевой, где вода настолько свирепо холодная, что у Махмуда сердце колотится в груди и зеленое медицинское мыло то и дело выскакивает из трясущихся рук и ударяется о потрескавшийся белый кафель, происходит нечто странное. Поначалу этот звук сливается с шипением и журчанием воды в старых сварливых трубах, плеском луж под ногами, шлепками ладоней по мокрой коже, но постепенно обособляется от них, становится отчетливым. Голые заключенные со склоненными головами в одинаковых форменных шапках мыльной пены шипят «с-с-с» — сначала тихонько, затем все громче, язвительным крещендо. В чем смысл, совершенно ясно: среди них осведомитель, стукач, и Махмуд вертит головой, ловит взгляд Ллойда, который тоже начинает шипеть. Только Махмуд молчит, понятия не имея, кого срамят все вокруг.

Наступает среда. Магистрат. Опять переодевание в гражданское. Темно-серые брюки, зеленая рубашка, зеленый жилет, ни галстука, ни воротничка ему не дают, и Махмуд чувствует себя Чарли Чаплином в замшевых ботинках не по размеру. Мельком увидев, что его волосы буйно закурчавились вокруг лица, он пытается пригладить их ладонью, поплевав на нее, как делала

мать, когда он был маленьким, чем раздражала его. В полицейском фургоне он ненадолго задерживается мыслями на «более серьезных причинах», которые пытался выискать инспектор, — то ли это мальтийцы с их скупкой краденого, то ли лавочник в расчете обмануть страховую компанию заявил, что он украл не только плащ. В любом случае на него у них ничего нет.

Кожа у него на лице и руках туго натянута и стала пепельно-серой от едкого тюремного мыла. Дома, то есть не дома, а в съемном жилье, он растер бы кокосовое масло по всему телу, чтобы оно стало мягким, массажем размягчил бы мышцы, скованные со времен работы в каменоломне. Сегодня он так и сделает, как только найдет новое жилье, думает он.

Они прибывают в суд, он дает двум заключенным постарше первыми выйти из фургона. Двое полицейских ведут их по высоким каменным ступеням в арку входа, а затем в боковую дверь, ждать своей очереди.

Стоя перед двумя судьями, Махмуд то и дело поглядывает на галерею для слушателей. Лора. Лора там, сидит рядом со своей матерью, и обе такие нарядные в темно-синих костюмах. И Берлин, и коммунист Дуаллех, и Исмаил, и еще

много незнакомых людей. Все места на галерее заняты. Обычно там сидит только старая сплетница, коротая время и пощелкивая вязальными спицами. Она и теперь здесь, само собой, но с краю, вытесненная вновь прибывшими.

— Будьте добры, повернитесь сюда, мистер Маттан, — говорит тот судья, что справа.

Махмуд бросает последний взгляд на Лору, лицо которой кажется строгим в тени шляпы, и отворачивается.

— Вы обвиняетесь в убийстве мисс Вайолет Волацки, совершенном в ее лавке в Бьюттауне, Кардифф, шестого марта. Вы понимаете, мистер Маттан? — спрашивает секретарь суда.

— Он прекрасно понимает, сэр, — говорит инспектор Пауэлл, вставая со своего места.

Но Махмуд не понимает. Он чувствует, как холодный пот струйкой стекает у него по спине.

— Ввиду финансового положения подсудимого, думаю, на этом этапе следует рассмотреть вопрос о бесплатной юридической помощи. Вы хотите, чтобы вас защищал адвокат?

— Защищал меня — зачем? — выпаливает Махмуд, оборачиваясь к Лоре, чтобы подтвердить весь идиотизм их слов. Но Лора не смотрит на него, она закрыла лицо ладонями.

— Защищал вас по двум обвинениям, в связи с которыми вы предстали перед этим судом, — отвечает секретарь, удивленный не только тоном, но и вопросом.

— Я ничего не хочу, и мне все равно. Вы все говорите ерунду. Вы меня не напугаете.

— Мы хотим вам помочь, но просить юридической помощи или нет, решать вам.

— Это *вам* решать, что *вы* делаете. А я ничего не прошу. К убийству я не имею никакого отношения.

Двое унылых судей недовольно переглядываются, и один из них прерывает процесс, чтобы сказать:

— Мы хотим помочь вам всем, чем можем. — И он по-доброму и выжидательно смотрит на Махмуда.

— Мне не нужна помощь ни от кого.

— Вы же говорите, это нам решать. Мы *намерены* предоставить вам бесплатную юридическую помощь и оставить вас под стражей до 25 марта.

Махмуд слышит, как над ним, на галерее, горько плачет Лора, и под ее всхлипывания его выводят из зала суда.

Вся картина складывается на обратном пути в тюрьму: странные разговоры об убитой женщине,

шипение, как он говорит о полиции, словно о давних друзьях, как тюремщики ухмыляются, видя его. Ллойд стукач. Он как змея: сначала заговаривает зубы, потом травит ядом. Он хуже любого черного, хуже любого человека. Махмуду надо добраться до него, пока его не перевели в другое крыло или вообще не отпустили из тюрьмы. Камера пуста. Махмуд качается взад-вперед на жестком матрасе. Ждет звонка. Обводит взглядом лица во дворе. Высматривает его. Двигается медленно. Потом бросается. С ботинком в руке.

Бац! Раз. Другой.

— Ниггер!

Это чужое слово вылетает у него само собой, выстреливает с его губ, как яд.

6. Лих

Комната серая от хмурого утреннего света и поблекшего ситца. Дайана, опираясь на две подушки в оборочках, тянется к выключателю лампы, и абажур из витражного стекла вспыхивает красным. Волосы падают ей на глаза, но она не удосуживается поправить их, только пристраивает блюдце на розовом покрывале и закуривает «Плейер». Она наслаждается этими минутами первым делом, прежде чем проступят прошлое, настоящее и будущее, — наслаждается, пока время кажется бесконечным и пронзительные крики чаек благополучно уводят ее от сновидений с беззвучным плачем. Она курит, положив руки на постель, делает вдохи и выдохи одной стороной рта, стряхивая пепел точно в блюдце. Волна предстоящих дел уже нарастает у нее в голове, но она оттесняет ее — прочь, прочь, прочь, стараясь выиграть еще пять минут нереальности. Теперь ни одна мысль не является одна, ничем не отягощенная, — все они опутаны обязательствами, опасениями и печалями, и она жадно затягивается сигаретой, удерживается в

состоянии покоя и слушает шум крыльев и крики ни в чем не повинных птиц.

Умывшись и почистив зубы над тазом, она снимает ночную рубашку и на минуту застывает перед зеркалом, проводит инвентаризацию: белые нити в ее черных волосах, черные родинки на белой коже, черные глаза в окружении синеватых теней, серебристые растяжки на животе и бедрах, однообразную гамму разбавляет только бледно-розовый цвет ее губ и сосков. Это тридцатишестилетнее тело еще крепкое, еще стройное, но она законсервировала его в нафталине ради дочери, ради здравого рассудка. Ей вспоминаются строки «К его стыдливой возлюбленной», которые она однажды читала на уроке английского у миссис Бенсон:

Твоей красы уж не сыскать,
Моим руладам не звучать
В гробу, где червь пожрет невинность,
Что долго, бережно хранилась.
Честь, что нелепа, прахом станет,

И вожделение увянет…[12]

«И впрямь моя честь нелепа», — думает Дайана, удивляясь, как мог Марвелл воспринимать умершую женщину всего лишь как упущенную возможность достичь своей цели. Но здесь есть и доля истины: когда к ней в последний раз прикасался мужчина? Если не считать рукопожатий и кратких объятий в знак утешения? Когда-то она была страстной и свободной. А какая теперь — пугливая? Фригидная? Оставившая все в прошлом? Все эти определения кажутся неточными. Ее душа все еще жаждет человеческих прикосновений, тепла и объятий, но теперь на это нет ни времени, ни даже места. «Будь целый век у нас с тобой», — вспоминает она начало того же стиха: тогда она не была бы женщиной, которая смотрит на нее из зеркала, женщиной, считавшей, что ей под силу переделать мир и изменить свое место в нем, но теперь ее глаза темны и смиренны.

---

[12] Примечания: 12
В переводе Г. Кружкова:

Поверьте, красота не возродится,
И стих мой стихнет в каменной гробнице;
И девственность, столь дорогая вам,
Достанется бесчувственным червям.
Там сделается ваша плоть землею,
Как и желанье, что владеет мною. (Прим. пер.)

Мир конечен и неуступчив, как и время, говорят эти глаза.

Домовладелица миссис Притчард в столовой, возится со своей посудой сплошь в кроликах: расписными кружками и подставками под них, серебряными ложечками с кроличьими ушами, рюмками для яиц с кроликом Питером, а по салфеткам скачут вышитые зайцы и керамическая лань кормит свой выводок на крышке супницы. Этот не возбуждающий аппетита зверинец расставлен по всему столу.

— Доброе утро, дорогая.

— Доброе утро.

— Ко мне зайдет сын, вот я и подумала подать на стол побольше.

Стол и так ломится каждое утро; Дайана и еще одна квартирантка, секретарша, почти не притрагиваются к еде. Сегодня ей удается выпить чашку чая из чайника с зимним кроликом и съесть кусочек тоста.

— Поднимите вон ту крышку, милочка, и вы найдете славный кусочек копченой скумбрии. Выбирая скумбрию из Тенби, ошибиться невозможно.

Дайана кладет на свою тарелку жирную рыбешку, вовсе не собираясь есть ее.

Вчера ее сопровождал в суд инспектор Пауэлл. Он объяснил, что подсудимый с самого начала возглавлял список подозреваемых и что констебль, который раньше имел с ним дело, назвал его имя в ту же минуту, как услышал об убийстве. Теперь все пойдет быстро, отдел государственных обвинителей подошьет к делу многочисленные свидетельства против сомалийца, способный барристер представит их в суде. У Пауэлла дурная привычка говорить свысока и нависая над ней, так что его рослое внушительное тело и лицо симпатичной горгульи оказываются чересчур близко, но вместе с тем его, кажется, неподдельно тронула смерть Вайолет, и он твердит Дайане, что, если ей «хоть что-нибудь понадобится, обращайтесь в участок без стеснения», так что эти слова звучат почти убедительно.

В суд она отправилась вопреки всем доводам рассудка. Она боялась того, что с ней станет при новой встрече с этим человеком, — неизвестно, лишится ли она чувств или выкинет какую-нибудь нелепость. Сидя на галерее в дальнем ряду, она ждала, ждала и наконец набралась смелости, чтобы мельком взглянуть на него: худого, с виду безобидного молодого мужчину с зарождающейся лысиной на макушке, только и всего. Он то

и дело поднимал голову, вглядывался в лица, и Дайана, заметив, куда он смотрит, увидела бледную девушку в синем костюме, сидящую с прямой спиной в первом ряду галереи. Женщина постарше, видимо ее мать, время от времени что-то шептала ей на ухо и несколько раз похлопала ее по узкой спине. Никто из этих людей знакомым Дайане не кажется, она не в состоянии сказать, бывали ли они в лавке или хотя бы на Бьют-стрит, — просто ничем не примечательные лица в толпе несчастливцев с остановившимся взглядом, принесенных прибоем в Кардифф, ведущих тихую жизнь благодаря поденной плате и перехваченным пайкам. Хозяин молочного бара Берлин приподнимает шляпу, встретившись взглядом с Дайаной, но она краснеет и отводит глаза, не в состоянии узнать хоть кого-нибудь в этой обстановке. Когда подсудимому, Маттану, выпадает шанс обратиться к судье, его непреклонность удивляет Дайану, как и оскорбленное самолюбие в голосе; по-английски он говорит звучно и отчетливо, не то что другие матросы, которые мямлят и едва могут связать два слова. Ей не по душе преувеличенные возгласы, шум и суета, пока его уводят, и вместе с тем ее не покидает ощущение, что страницу уже начали

переворачивать и что конец этого этапа ее личных испытаний предсказуем заранее.

Вверх по лестнице в квартирку над лавкой, колени хрустят так же громко, как старое дерево, запах уже другой — запах брошенного жилья: сырости, мышей, лежалых специй из китайского ресторана. Дэниел распродал все платяные и кухонные шкафы, столики и комоды, а их содержимое переложил в картонные коробки и чемоданы, чтобы она перебрала. Имущество Вайолет еле умещается в шесть больших коробок, поставленных в ее комнату, зато Дайана ухитрилась держать их с Грейс вещи под таким жестким контролем, что теперь их воспоминания можно унести в двух больших охапках. Она садится на ковер и начинает с одежды Вайолет: темных платьев с воротничками, корсетов, вязаных кардиганов, поясков для чулок, «шикарных» трикотажных двоек, вискозных комбинаций, вроде бы дорогой твидовой юбки-карандаша, которую Дайана на сестре никогда не видела, знакомых по религиозным праздникам шерстяных костюмов и шелковых блузок. И обувь: две пары черных туфель на шнурках для лавки, лакированные лодочки, пара шлепанцев с вязаным верхом и смятыми задниками.

Все это можно отдать.

Затем она переходит к туалетным принадлежностям: бигуди с застрявшими в них тонкими каштановыми волосами, массажным щеткам, нетронутой баночке компактной пудры, тальку, мылу «Ярдли» с печатью поставщика королевского двора, большому флакону духов «Ревлон», неяркой красной помаде, которой Вайолет пользовалась раз пять в год.

Ее книги и журналы: бесчисленные стопки «Пикче пост», «Гуд хаускипинг» и «Джуиш кроникл», собрания сочинений Диккенса и Шекспира, «Джен Эйр», «Ребекка», «Гордость и предубеждение», дешевые томики с кричащими мягкими обложками и заголовками, самоучитель игры в бридж, коллекция русских поэтов их отца и словари.

Дайана откладывает в сторону одну трубочку бигуди, компактную пудру и красную помаду, а все остальное убирает в коробки и заклеивает их липкой лентой. Крупными буквами она надписывает мелом: «Армия спасения», а затем берется за архивы: свидетельства о рождении, браке, разводе и смерти неряшливой стопкой лежат одно на другом, здесь же бумаги о натурализации их отца, свидетельства о владении недвижимостью,

страховки и инвестиционные сертификаты, школьные награды еще двадцатых годов, каждой из трех дочерей, письма, которые Дайана писала Вайолет, пока служила в Лондоне, в женской вспомогательной службе BBC. Она разворачивает одно письмо, написанное на голубом листе, вырванном из тетради военного образца, и читает.

21 октября 1940 г.

Дорогая, милая Вайолет,

Бип-бип-бип — звонок из Лондона, а вот и новости: я так расстроена, что опять пропустила твой день рождения, но в этом году могу пообещать загладить вину перед тобой чудесными вестями. Я не дам дурацкой бомбардировке фрицев помешать мне вернуться в следующем месяце в Кардифф. Я уже подала заявление об увольнении и жду, что ответ будет положительный, а почему — пока не скажу. Не волнуйся за меня, Вай, заградительные аэростаты и пилоты истребителей работают безупречно у нас над головами. А я сплю в бункере глубоко под землей и ни за что не променяла бы его даже на пентхаус в «Савое».

Целую,
Дайана

На какой неделе беременности она тогда была — на восьмой? Десятой? Все еще ранней, но близко к тому, когда пойдут разговоры и придется принимать решения. Бен еще не знал, письмо застряло где-то между Лондоном и Египтом. Она не сомневалась, что он, получив его, сразу же ответит восторженной телеграммой. Вот было время! Четверть века для нее уже позади, а впереди, казалось, еще целые столетия, Грейс — крохотный головастик у нее внутри, история семей Волацки и Танай соединилась и устремилась в будущее. А Бен — пулеметчик и сержант Королевских ВВС, загорелый и красивый в летном комбинезоне и кожаной куртке, и больших трудов стоило не хвастаться, когда девчонки спрашивали, чем занимается ее муж.

Дайана открывает еще одну коробку и находит пластинки, которые хотела забрать с собой в пансион. Сестры Эндрюс, Кэб Кэллоуэй, Эдди Кантор, Арти Шоу, «Чернильные пятна», Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Билли Холидей. Она достает пластинку «Чернильных пятен» из конверта и ставит на портативный проигрыватель, который купила Вайолет на сорокалетие. Сначала — прекрасный белый шум, запечатленное время, предвкушение и затаенное дыхание,

а затем — томительные гитарные аккорды «Все кончено, кроме слез». Первые строки настолько меланхоличны и сентиментальны, что глаза увлажняются, но тут песня меняется: ускоряется темп, ритм становится глубоким, насыщенным, гармонии вибрируют, те же печальные строки поются на жизнерадостную мелодию из рекламы зубной пасты. А потом — сдержанная скорбь «Мы трое». Она откидывается назад, распластав пальцы по пыльному полу, и закрывает глаза.

Бен. Лондон. Август 1940 года. В его волосах еще сохранился песок Сахары. За время ночных вылетов он привык полуночничать, и после их любви сидел и читал при свечке до рассвета. Они жили в Эрлс-Корте, в дешевой гостинице, стоящей в ряду некогда роскошных белых, а теперь облупившихся и закопченных вилл. Хозяйка-француженка драла втридорога за свой ужасный «*пти-дежёнэ*», поэтому они ходили в кафе на Кенсингтон-Хай-стрит, где съедали вкусный английский завтрак с яичницей и слушали единственную пластинку хозяина — «Чернильные пятна». Песню «Мы трое» крутили постоянно, так что ее звуки мерещились им, даже когда в комнате было тихо. Бен умел подражать их вокалисту Биллу Кенни, и подражал прекрасно, хлопал ресницами и

выпячивал губы, когда брал ноты преувеличенным фальцетом. А она осваивала разговорные части, изображала резкий южный акцент Хоппи Джонса: «Гуляю я с тенью, беседую с эхо, но *где же* любовь моя?» Такая детская, невосполнимая радость.

За пару лет до того, через несколько дней после костров и фейерверков Ночи Гая Фокса, их разбудили известия о том, что определило дальнейший ход их краткой супружеской жизни. *Кристальнахт*, Хрустальная ночь. Девяносто погибших, тысяча четыреста синагог, сожженных дотла, битое стекло и глумящиеся толпы. И так еще много дней подряд. Немецких евреев бросали в тюрьмы, запрещали работать, или посещать занятия в университетах, или владеть недвижимостью, но при этом вынуждали платить компенсацию за то самое насилие, которое уничтожило их дом и источник дохода. Бен и Дайана слушали и ждали, что британское правительство отреагирует на это варварство, но своего посла отозвали лишь американцы. А британцы вымучили витиеватые осуждения и небрежно погрозили пальчиком герру Гитлеру. Дайана уже не помнит, в какой момент возникла мысль о военной службе, кто первым подал ее и где. Оба предчувствовали,

что, несмотря на нерешительность Чемберлена, война неизбежна. С таким же успехом они могли бы сообщить родителям, что отправляются в полярную экспедицию, настолько их слова были лишены смысла. Только увидев форму — новехонькую, тщательно отутюженную, — они поверили в реальность происходящего. Однажды вечером к ним пришел ее отец, уверенный, что сумеет убедить ее остаться, даже если Бен готов все бросить ради чужих людей. Они расположились за кухонным столом с чашками чая, она дала ему высказаться: подробно расписать, какие благотворительные распродажи в пользу детей из «Киндертранспорта» она могла бы устроить, подписание каких петиций организовать и отправить их местным парламентариям, какими программами Совета представителей воспользоваться, чтобы убедить правительство принять больше беженцев. Она придвинула ему утренний выпуск «Дейли мейл» с визгливым заголовком «Чужаки-евреи наводняют страну!» и дала ему прочесть статью, в которой утверждалось, что еврейские беженцы занимают рабочие места в Британии, в то время как местное население вынуждено довольствоваться пособиями.

— Нам придется вступить в этот бой или сей-

час, или потом — что лучше, отец? — помнится, спросила она.

— Да они все время так говорят, пока я живу здесь, это ничего, — отозвался он, брезгливо отталкивая газету.

— Теперь все иначе, папа, — не знаю, чем доказать, но нутром это чувствую. Скоро для нас под запретом окажется не только Россия, но и вся Европа. Мы останемся на этом островке в окружении акул. Ты покинул Россию, чтобы спасти свою жизнь, но все равно пытался помогать тем, кто остался, а теперь хочу помочь и я.

В то время у него уже начинали слегка трястись руки, и он пытался скрыть это, барабаня по столу.

Она упорствовала, желая закончить этот разговор до возвращения Бена.

— Вспомни погромы девятнадцатого года, когда ты надел свою серебряную военную медаль, забаррикадировал дверь лавки и вышагивал с дубинкой, мы с девочками наверху забились под кровать, а мама стояла на страже у окна. Знаешь, мы ведь уснули в то же время, когда обычно ложились в постель. И неважно, что мы были совсем маленькими и слышали, как бьется стекло, разгораются пожары, как визжат жен-

щины, а мужчины жаждут крови, — ничто не имело значения, потому что у нас был свой герой, защитник. И теперь, когда девочки прячутся под кроватями в Германии, а таких мужчин, как ты, избивают или убивают ни за что, и девочек под кроватями озаряет пламя, что делать мне?

Тогда он кивнул, признавая поражение, и погладил ее по голове, словно благословляя.

— Поезжай, детка, я воспитал тебя слишком отважной и теперь могу винить в этом лишь самого себя.

В женской вспомогательной службе ВВС аэростаты называли «сардельками», но ей они напоминали скорее китов с их раздутыми шелковистыми телами и тремя блестящими серебристыми плавниками, плывущих по небу, в волнах несущихся мимо туч. Прикованные к сети стальных тросов, наполненные водородом аэростаты полагалось поднимать с помощью лебедок, чтобы не давать бомбардировщикам пикировать или сбрасывать боезапас точно по целям в Лондоне. Инструкторы предупреждали о возможных опасностях: молния могла поджечь газ или передаться по стальному тросу в лебедку, шквальный ветер — опрокинуть аэростат или унести его. Понадобилось одиннадцать недель

обучения, чтобы стать оператором аэростата. Дайана помнит, как стояла босиком и в одном комбинезоне, заделывая внутренние разрывы в нейлоновой оболочке аэростата токсичным клеем: внутри разрешали пробыть всего тридцать минут, а потом еще двадцать полагалось дышать свежим воздухом. Когда ее время истекло, ее понадобилось вытаскивать за руки, как современного Иону. В другой раз ей пришлось сражаться со сдувшимся аэростатом по колено в грязи, посреди Уэмбли-Коммон, распутывать скользкие стальные тросы изрезанными посиневшими пальцами. Дайана в классе, торопливо записывающая, как нагружать сращенные тросы или вычислить высоту подъема аэростата. Дайана пробует себя в роли «птички в золоченой клетке», орудует рычагами лебедки, одновременно смотрит, как разматываются тросы, и выкрикивает: «Линия подачи, тридцать футов», «Натяжение, четыре центнера», «Нет слабины на барабане», «Пуск лебедки» или «Изменить натяжение» — вспыльчивому инструктору. Она справилась и выдержала все.

Дайана снимает иглу с пластинки, укладывает ее обратно в конверт, мгновения задумчивости окончены. Встает, отряхивает пыль с юбки. Надо

спуститься и перебрать почту, посмотреть, не прислали ли из Хауэллса результаты экзаменов Грейс. Даже если стипендия ей не достанется, надо подарить ей что-нибудь красивое по такому случаю. И отвлечься от своих мыслей хотя бы на то время, которое понадобится для покупки симпатичного ювелирного гарнитура или платья из тафты.

Ей пришлось сводить Грейс на процедуру опознания. Мать и дочь, в центральном полицейском участке. Обе считали, что мельком видели в дверях мужчину, но не могли сойтись во мнении, как он выглядел — в шляпе или с непокрытой головой? В пальто или без? Как сомалиец или как выходец из Западной Африки? Было бы даже забавно, не будь это так ужасно. Дайана думала, что перед ними поставят в ряд несколько мужчин, но вместо этого их попросили подождать в темном коридоре, по которому навстречу им повели главного подозреваемого. Под большой лампой, из-за которой он только слепо моргал, не видя их, худое лицо подозреваемого выглядело зловеще, озаренное безжалостным желтым светом. Грейс терлась щекой о руку Дайаны и смотрела во все глаза. Это не он, дружно решили они, не это лицо они видели в дверях.

Кажется, детектива Пауэлла они разочаровали: он проводил их на улицу с просьбой как следует подумать о том, что они на самом деле помнят.

Однажды ночью, примерно через неделю после случившегося ей вдруг пришло в голову, что, может, и вправду их семья проклята. Ее мать долгие годы время от времени твердила это, но Дайана раздраженно отметала ее предположение. В современном мире нет места проклятиям или везению — по крайней мере, так она считала. А теперь вдруг уловила странный оттенок утешения в мысли о том, что вся эта боль им неподвластна, она находится за пределами сферы молитв, интеллекта или справедливости. Ведь упоминаются же проклятия в Библии, верно? Бог проклинал, пророки проклинали, ангелы проклинали. Столько всяких бед: сиротское детство ее матери, два развода, больные легкие их отца, искривленная спина Вайолет, смерть Бена, не успевшего даже увидеть свое дитя, убийство Вайолет, пока ее родные ужинали. Проклятие с истоками и причиной настолько туманными, что его никогда не снять, и это объяснение выглядит правдоподобнее любого другого. Мужчины думали, что у них есть Бог, что они особенные — потому что могут слышать его, молить его, петь

для него, пользоваться властью его имени, — и к чему это их привело? Они силятся объяснить необъяснимое, а кинохроники ничего не скрывают, даже как падают и ломаются последние евреи Европы, пока бульдозеры зарывают их в братские могилы. Проклятие, поняли женщины. Незримая, но и неизгладимая метка, теперь и Дайана понимает это. Лицо знакомой, сообщающей о своей беременности, толпа на церковном крыльце, ждущая выхода новобрачных, юная романтичная парочка, милующаяся на скамейке в парке — она уже не делит с ними эту радость. Она ловит себя на мысли, что желает им всем зла — выкидыша, измены, ужасных открытий, а затем, застыдившись, отворачивается. Отбросить эти жестокие мысли она в состоянии, но не в силах представить себе, как весь свой век будет кивать и улыбаться, пока чужая жизнь проходит мимо нее и все хорошее падает к другим людям прямо в руки, где и остается.

Лавкой заинтересовался покупатель, торговец скобяным товаром из Ньюпорта, и теперь пытается сбить цену на четверть. Дайана, наверное, согласится, но не считает себя обязанной спешить с ответом. Он названивает Дэниелу, убеждает вразумить ее — и этим только затягивает дело.

По его мнению, раз в лавке было совершено убийство, он должен добиться скидки. И вообще этой покупкой он делает ей одолжение. Для него это просто недвижимость, но к ее кирпичам и цементному раствору привязана вся история жизни Дайаны. Ее отец купил это здание в 1909 году: сначала дом 203, позднее — 204 — и снес стену между ними, так что получилась одна большая лавка. И у него еще хватило денег в банке, чтобы нанять служанку и заказать большую картину маслом — изображение дочерей, одетых царицами, чтобы повесить над обеденным столом. В числе первых воспоминаний Дайаны — изучение лабиринта девяти верхних комнат и наблюдение в окна с подъемной рамой похожую на карнавал жизнь Бьют-стрит. Парад неповоротливых рослых викингов с русыми бородами, в порванных в драке и заляпанных кровью рубахах, отряды Армии спасения, высматривающие пьяниц, чтобы их спасти, закутанных йеменцев и сомалийцев, празднующих ид, вычурные похоронные процессии последнего из богатых капитанов Лаудон-сквер, детей-католиков в белом на Праздник Тела и Крови Христовых, под предводительством орудующего жезлом тамбурмажора, стихийно возникшие оркестры с

музыкой калипсо, рассчитывающие насобирать столько денег, чтобы хватило на гастроли по стране, уличных игроков в кости, игры которых заканчиваются то радостным смехом, то злобными угрозами, похожих на птиц проституток, прихорашивающихся, чтобы привлечь проходящего клиента. Как поучительно все это было для девочки. И безопасно — настолько безопасно, что Вайолет или их мать каждую неделю в одиночку ходили в банк с сотнями фунтов выручки в сумке. Старый охаянный Тайгер-Бэй, укрощенный, как цирковой лев. Но она решила оставить все это, покинуть Бэй и никогда не возвращаться.

Грейс выиграла стипендию в Хауэллсе. Тонкий конверт с эмблемой школы чуть не затерялся в кипе почты, которую Дайана сложила на прилавок несколько дней назад. Грейс сказала, что сделает это ради тети Вайолет, и сдержала обещание. *Лехаим*. Дайана надеется, что дочери не придется там слишком трудно, ведь она одна из немногих учениц, получающих стипендию, и к тому же еврейка, с другой стороны, ради этого ее отец и покинул Россию — ради шанса выбиться в люди упорным трудом и талантом. Как знать, может, жизнь будет к ней не так сурова. Три сестры Волацки ушли из школы в шестнадцать, чтобы

заняться торговлей, и рассчитывали посвятить этому делу всю жизнь до самой старости. Если бы Вайолет узнала, что в Хауэллсе приняли их птенчика, как она была бы горда! Может, Грейс первой в их семье поступит в университет, будет путешествовать, наслаждаться более легкой жизнью. Дайана ни разу не бывала за границей, хотя у нее есть кузины в Нью-Йорке и они сколько раз уже звали ее в гости. Она могла бы свозить Грейс. Можно даже уехать туда насовсем — а почему нет? Почва у них под ногами кажется жидкой, непрочной. Можно стать американками или канадками или даже переселиться в Австралию или Новую Зеландию. Вести жизнь Агасфера. По крайней мере, попытаться убежать от проклятия. Но сначала Грейс надо получить образование вместе с дочерьми элиты Кардиффа — барристеров, хирургов, судовладельцев.

Дайана поднимает взгляд от письма, думая, что слышит, как кто-то ходит в дальней комнате, и делает несколько шагов к ней. Оттуда не доносится ни звука, и она подступает ближе. Заглядывает в пустую нишу, где, по мнению полиции, на Вайолет напали, прежде чем она выползла в комнату, истекая кровью и преследуя своего убийцу. Дайана обходит лавку, заглядывает в каждый угол,

чтобы развеять страх. Внезапно присутствие Вайолет ощущается совершенно отчетливо, кажется, сейчас послышатся ее быстрые шаги и мелодия, которую она негромко напевает. Вернувшись к прилавку, Дайана поспешно надевает плащ, заталкивает письма в сумку, вешает ее через плечо, выходит из лавки с ее пугающей атмосферой и захлопывает дверь. Выходит на дневной свет с привычным уличным гулом, с искрами, которые рассыпает в воздухе трамвай, и, оглянувшись на темную и меланхоличную витрину лавки, надеется, что ноги ее больше здесь не будет.

Клиника общей практики. Скелет из желтого пластика усмехается Дайане из угла комнаты ожидания, чернокожий ребенок вопит на руках у матери. Здесь многое изменилось, прежний врач, Как-Там-Его-Льюис, прекратил практику, демонстративно выступая против снижения доходов из-за Национальной службы здравоохранения, и Дайана этому рада. Он был беспардонным снобом со странными представлениями о том, кого следует «поощрять» обзаводиться потомством, которые он с удовольствием излагал во время каждого ее визита. Обычно он ухитрялся втиснуть в свои разглагольствования быстрое и примирительное «не то чтобы у меня имелись ка-

кие-либо претензии к благородному еврейскому племени, конечно», и Дайана повторяла: «Конечно», а улыбка сомнения щекотала ей губы.

Заменившая его женщина-врач, доктор Вудрафф, — с виду чуть за тридцать, с короткой мальчишеской стрижкой. Большие зеленые глаза и пухлые румяные щеки придают колорит ее в остальном непримечательному, молочно-белому лицу. Пройти в кабинет она приглашает Дайану с мягким эдинбургским акцентом. Да, она гораздо лучше, думает Дайана, усаживаясь напротив. Всех этих разговоров она надеялась избежать, но случившееся уже сказывается на ее физическом состоянии; меньше пары часов ночного сна, головные боли, пропали месячные, сильные сердцебиения и постоянная нервозность, непреходящее чувство страха. Она перечисляет врачу все симптомы и ждет, когда она перестанет записывать.

— Как вы думаете, чем может быть вызвано все это, миссис Танай?

Неужели она не слышала? Все же знают.

— Это из-за моей сестры, доктор Вудрафф…

— Мм, а что с ней?

— Мою сестру убили.

Доктор Вудрафф откидывается на спинку ши-

рокого кожаного кресла, унаследованного от доктора Как-Его-Там-Льюиса.

— Я вам так сочувствую, миссис Танай. Я понятия не имела.

— Должно быть, только вы одна.

— Увы, чтение газет — это не для меня.

— Вероятно, это само по себе лекарство.

Доктор Вудрафф встречается с Дайаной взглядом, задерживает его с убедительной, материнской настойчивостью.

— Есть кто-то, кто оказывает вам поддержку дома? Насколько мне известно из вашей карты, вы военная вдова с маленьким ребенком.

«Военная вдова с маленьким ребенком» звучит немногим лучше «малютки Тима», с горечью думает Дайана, но отвечает:

— Да, есть — моя вторая сестра и мой зять.

— Что ж, приятно слышать. Для начала займемся бессонницей, хорошо? Найдем то, что «распутает клубок забот», как выразился Шекспир в «Макбете».

Дайана смотрит на свои руки, о «Макбете» она понятия не имеет.

— Я выпишу вам мединал, принимайте одну таблетку за час перед тем, как лечь в постель. По утрам у вас будут легкие головокружения и

сонливость, но их стоит потерпеть.

Дайана с благодарностью берет рецепт:

— А другие… проблемы?

— Со временем. Ваш организм испытал сильный шок, как и ваша психика, так что им потребуется время, чтобы вновь обрести равновесие.

— Надо просто ждать?

— Думаю, да, но вы зайдите ко мне снова примерно через месяц.

— Хорошо, доктор.

Сидя на кровати в съемной комнате, Дайана кладет таблетку снотворного на язык и запивает целым стаканом воды. Она разложила фотографии Бена, Вайолет и Грейс по всему полу и смотрит на них сверху, переводя взгляд с одной на другую. Отчетливые черно-белые изображения начинают мутнеть, размываться от ее слез, она поспешно промокает щеки носовым платком. Один из снимков ей особенно мучительно видеть вновь: маленькую карточку трех сестер в белых платьицах, с косичками, ждущих паром, который отвезет их к песчаным пляжам Илфракомба, и совочки звенят в ведерках у них в руках. Родители сестер смущенно стоят рядом, чуть в сторонке. Должно быть, на этом снимке Дайане уже больше десяти лет, и она, демонстрируя новенькие кри-

вороватые зубки, широко улыбается в блаженном неведении того, что приготовила ей жизнь. Ну и штука эта жизнь, думает она. Сплошной хаос. Ей хочется предостеречь девочку со снимка: «Делай что хочешь, только не взрослей».

Снотворное действует стремительнее, чем ожидалось, и Дайана сонно заползает под одеяло, уже закрыв глаза. Мир уносится прочь от нее, даже глубокая печаль, которую она ощущала, разглядывая снимки, уже тает, и она засыпает на счет один… два… три…

Единственное, чего теперь остается ждать, — это суд, но как суд воспринимается само ожидание. Дайана не может отделаться от мыслей о нем. Ей не хочется появляться на свидетельской трибуне, но она обязана. Не хочется объяснять, что она даже не услышала шум убийства, но придется. Не хочется, чтобы присяжным показывали снимки тела Вайолет, но они их увидят.

Это упражнение в бессилии чем-то сродни беременности, времени, когда ждешь, ждешь, ждешь и исход от тебя никак не зависит. Когда она уже донашивала Грейс, а люфтваффе совершали налеты на Кардифф, возникало то же ощущение, что все жизненные функции на время приостановлены; можно сколько угодно задирать голову,

глядя в небо, но смерть способна явиться в ту же минуту, когда ты отвернешься. Бен слал письмо за письмом, все они прибывали пачками, полные страха, тревоги, а потом и недоверия оттого, что ему не отвечают. Железные дороги разбомбили. Телеграфные провода перерезали. Улицы перегорожены обломками. До появления ребенка оставалось всего два месяца, и поход до работающей почты и отправление телеграммы превратились для нее в настоящую экспедицию. Все эти переживания сказывались на его нервах, она видела это по тому, что крестиков, означающих поцелуи, внизу его писем становилось все больше, а слова «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» он писал крупно, словно издавая прощальный крик.

Потом наступил апрель, и они поменялись ролями. ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ. Его милый почерк сменился печатными бюрократизмами Министерства авиации. «Веллингтон» Бена покинул базу Королевских ВВС в одиннадцать вечера 13 апреля с целью налета на аэродром противника, и с тех пор от него не было никаких вестей. Ни обломков крушения. Ни тела. Словно он улетел прямо в космос. Надейся. Надейся. Надейся хотя бы на милость Божью. Вот что говорили все. И она надеялась — со всей силой, способной воскресить

самого Лазаря. Он исчез на второй день Песаха, в благоприятное время, как уверяли ее. Прошло даже Светлое Воскресение, черт возьми, — когда еще просить о чуде, о воскрешении? Она читала о том, как летчики спасались, их выхаживали бедуины в Сомали, или они вдруг появлялись в отдаленных лагерях для военнопленных. Странные истории, но в военное время всякое случается. Ребенок готовился, разминал кулачки и коленки, ударяясь о живот Дайаны, до родов оставалось еще несколько недель. Из Красного Креста ей прислали письмо: они свяжутся с германцами и выяснят, есть ли у них информация о Бене и его экипаже.

«Сохраняй спокойствие, — твердила себе Дайана, — все, что от тебя требуется, — сосредоточиться и благополучно произвести на свет этого ребенка, чтобы, когда он вернется домой, раненым или невредимым, вы были все вместе». Роды совпали с еще одним кратким налетом на Кардифф. Любые попытки добраться до больницы были опасны, поэтому ребенок родился дома, с помощью одной только Вайолет, при свечах. Под завывания сирен, грохот пожарных машин на Бьют-стрит, свист падающих «Фау-2» и близкие взрывы, от которых содрогался дом и на голову

сыпалась пыль, Дайана закрывала лицо подушкой и во весь голос призывала дочь в этот мир.

С наступлением утра Дайана доплелась до окна с запеленутой Грейс на руках, чтобы оценить масштабы разрушений с привычного еще с детства наблюдательного пункта: дом 184 лишился наружной стены и стал похож на кукольный домик с выставленными напоказ разноцветными кроватями и стульями, серебристые заградительные аэростаты покачивались над обугленными и разбомбленными складами в доках, клубы белого дыма заслоняли низко висящее солнце. Воздух обжигал ей ноздри, приносил в комнату запахи горелого сахара, взрывчатки и испарившегося виски. Брошенная машина стояла в начале улицы, ее толстые шины расплавились и растеклись по мостовой, как патока. Кто-то написал мелом: «Тайгер-Бэй будет всегда!» — на тротуаре, усыпанном обломками шифера с крыш.

Услышав крик справа, Дайана повернулась и увидела женщину в противогазе, которая бросилась к дружиннику ПВО и зарыдала, уткнувшись ему в плечо, указывая коричневым пальцем себе за спину. Дружинник кинулся к груде обломков возле паба «Маркиз Бьют» и начал быстро разбирать обломки кирпичей и кладочной смеси.

Проходящие мимо докеры поспешили к нему на помощь, а потом Дайана увидела, как из-под обломков показалась рука в зеленом рукаве и черные брюки. И послышался смех. Изо всех сил прищурившись, Дайана разглядела обезглавленное тело. Смех продолжал звучать, пугающе похожий на истерику. Женщина нерешительно приближалась к спасателям, ее лицо по-прежнему было скрыто под внушающей страх маской. Докеры поставили тело на ноги в сапогах с пряжками, и бедная женщина в ужасе отшатнулась. Только теперь Дайана узнала жертву налета — четырехфутовую статую маркиза, ранее с помпезным видом венчавшую башню паба. Происходящее так рассмешило ее, что Грейс вздрогнула и расплакалась. ТАЙГЕР-БЭЙ БУДЕТ ВСЕГДА! «Чертовски верно, еще как будет», — подумала она.

В прошлом году в Лондоне она видела надписи «Англия будет всегда» повсюду: на развалинах разбомбленных домов в Виктории, на пьедестале колонны Нельсона на Трафальгарской площади, на серых камнях моста Ватерлоо. Они стали чем-то вроде талисмана, молитвы, и она действовала, Дайане даже в голову не приходило, что они могут проиграть войну. Во время «Блица» столица

приобрела оттенок инфернальной романтики; река мрачнела под мостами, черная и мускулистая, звезды сияли, отвоевывая ночное небо, на затемненных улицах слышался шепот влюбленных, прячущихся у подъездов и в переулках. Исполненная тоски по Бену, Дайана бродила, успевая перейти через Темзу с севера на юг и обратно, когда ее отпускали из аэростатной команды на несколько часов в увольнение. Местом их дислокации был Грин-парк неподалеку от Букингемского дворца, но она регулярно наведывалась на восток, в Уайтчепел, чтобы навестить большую и шумную семью Бена. Однажды на обратном пути она застукала двух грабителей, разбивающих окно высокого георгианского дома рядовой застройки. Не задумываясь, она закричала и погналась за ворами по улице, их фигуры мелькали между платанами, отбрасывающими тени на тротуар. Сильная и подтянутая от физического труда, Дайана быстро настигала их, крича: «Держи вора!» — пока дружинник и полицейский не метнулись наперерез тем двоим и не арестовали их. Бену об этом приключении она так и не рассказала, но гордилась тем, что ни на миг не испугалась: была взбудоражена — да, рассержена — да, нервничала — да, но не боялась.

Лето наступило и прошло, а вестей от Бена все не было. Дайана в письмах подробно рассказывала о мельчайших переменах в облике и поведении Грейс — как она поднимает головку, улыбается, переворачивается, лепечет, описывала все, что он пропустил, и складывала эти письма в ящик комода до его возвращения. Бен всегда писал о том, как проходят его дни в Египте, вплоть до мельчайших подробностей — от чашки чая, которую принес ему утром его подносчик Мохаммед, до разговоров в столовой и книг, которые он читал по ночам. Своими письмами она не давала угаснуть огоньку надежды, что он все еще где-то там и гадает, как дела в Кардиффе. Министерство авиации еще раз написало ей в ноябре, сообщая, что теперь Бен включен в списки погибших, но слишком уж много времени прошло, чтобы она поверила, что он просто еще один еврей, срезанный косой Гитлера. Всей душой она верила, что он где-то за пределами ее досягаемости, ведет нескончаемую ночную войну среди туч, его пулемет стучит, не переставая, и разлетаются жгучие осколки звезд.

На Куин-стрит, едва Дайана покидает один из модных пассажей, помахивая пакетом с шелковым платьем для Грейс и деликатесами из

кулинарии Уолли, кто-то легонько хлопает ее по плечу. Обернувшись, она видит пожилую женщину — голова повязана зеленым шарфом, под воротник уходит провод слухового аппарата.

— Миссис Танай, если не ошибаюсь? — спрашивает женщина, протягивая костлявую руку.

Дайана перекладывает пакеты, освобождая свою, и отвечает на рукопожатие.

— Верно. А мы имели удовольствие встречаться раньше?

— Раз или два, но на самом деле я была знакомой вашей сестры, помилуй, Господи, ее душу.

Дайана улыбается, кивает, ждет подходящего момента, чтобы уйти.

— И ваше имя?..

— Грей, миссис Грей. У меня маленькая лавочка подержанных вещей на Бридж-стрит, разумеется, не такая шикарная, как ваша.

— Я бы не назвала нашу лавку шикарной.

— Покупателя на нее уже нашли?

Удивленная бесцеремонным вопросом, Дайана отвечает уклончиво и невнятно.

— Такое солидное и большое заведение, наверняка выручите целое состояние.

— Я, пожалуй, пойду, миссис Грей, мне надо еще забрать дочь из школы.

— Ладно уж, не буду вас задерживать, дорогая, — только еще одно. Все кому не лень пристают ко мне с вопросами, не получил ли кто-нибудь уже то самое вознаграждение.

Дайана отвернулась и теперь ускоряет шаг, бросив старой сплетнице на прощание негромкое «хорошего дня, мадам».

— И вам хорошего дня, — кричит ей вслед миссис Грей.

7. Тоддоба

— Значит, говорите, ваш отец умер?

— Верно.

— А ваша мать?

— Когда в последний раз слышал о ней, была еще жива.

— Кем был по профессии ваш отец?

— Держал лавку, бакалейную, и еще грузовики для перевозки.

— Состоятельным был человеком, значит?

Махмуд неопределенно кивает:

— Не очень богатым, но и не бедным, умным он был, любил все новое, современное, да, современный человек.

Тюремный врач уже выяснил рост и вес Махмуда, его температуру, собрал кровь и мочу, и теперь ему понадобилась биография пациента.

— Сколько у вас братьев и сестер?

— Четыре брата, все старшие, сестер нет, две девочки умерли в младенчестве, еще одна заболела, когда ей было лет семь.

В камере Махмуда беспорядок, его тюремная пижама кучей свалена на незаправленную кой-

ку, несъеденный утренний хлеб он выбросил в ночной горшок и туда же вылил жидкое, безвкусное молоко. Может, он и прибрался бы, если бы знал, что сегодня придет врач, но в целом ему все равно. Это его негромкий протест — чтобы показать всем, что его здесь вообще быть не должно.

— Мои братья, они взяли на себя отцовское дело, все они важные люди, семейные. Почему меня посадили сюда, а не в обычную тюрьму?

— Вас обвиняют в преступлении, которое карается казнью.

— Глупые они, но скоро поймут, что я невиновен. За то, что человека неправильно посадили в тюрьму, полагается компенсация, так?

— Да, верно. Но я не имею к этому никакого отношения, я офицер медицинской службы.

— Понимаю, давайте дальше.

— Когда вы прибыли в Британию?

— В сорок седьмом. Служил помощником буфетчика на грузовом судне, но потом стал кочегаром.

— Вы умеете читать или писать по-английски?

— Нет, у себя в стране я хожу только в религиозную школу. Я могу читать Коран.

— Значит, вы читаете и пишете по-арабски?

— Нет, я только читаю Коран, это… другое. Не

то, как арабы пишут сейчас.

— На каких языках вы говорите?

— Я знаю сомали, арабский, английский, суахили и немного хинди.

— Воистину полиглот.

Махмуд не спрашивает, о чем это он, — думает, что о чем-то врачебном.

— У вас есть какие-либо травмы или физические недостатки?

— Никаких, только небольшая проблема здесь… — Его ресницы трепещут, когда он указывает на радужку правого глаза, поднося палец близко к нему. — Когда солнце слишком яркое, как будто мушка у меня в глазу. Это в море случилось, горящий уголь попал мне в лицо.

Почерк врача вызывает у Махмуда разочарование: сам он хоть и неграмотный, но считает, что способен отличить, кто хорошо пишет, а кто нет.

— Что вы пишете?

— «Незначительное нарушение зрения, вызванное попаданием искры из топки».

— Да, искра из топки попала и вызвала незначительное нарушение зрения, вот так хорошо. — С точки зрения Махмуда, врач лучше надзирателей. Обоих он считает глуповатыми и слишком уж изнеженными. Они плачутся из-за каждой

ерунды и доносят на него начальнику. А молодой врач, спокойный и симпатичный, носит красивый галстук и запонки с цепочками, терпеливо ждет, пока Махмуд отвечает на его вопросы, и, похоже, заинтересован его ответами.

— Вы когда-нибудь болели туберкулезом?

— Нет, но на судах такая теснота и грязь, что это можно считать чудом.

Слегка поколебавшись, врач спрашивает:

— У вас когда-нибудь обнаруживали сифилис, гонорею или какую-нибудь другую венерическую болезнь?

Махмуд отшатывается и почти кричит:

— Нет! За кого вы меня принимаете?

— У вас или у кого-нибудь в вашей семье случались припадки, галлюцинации, приступы психоза или душевные болезни?

— Мы в своем уме сейчас и были всегда, хвала богу.

— А какие-либо нервные проявления — ночное недержание мочи, привычка грызть ногти, боязнь темноты, беспричинные страхи?

Махмуд закатывает глаза так старательно, что врач улыбается.

— Хотите сказать, что в тюрьму попадают люди, которые боятся темноты и прудят в постель?

— Здесь кого только нет.

— Ах ты ж! Теперь буду думать про постель, на которой сижу. — Махмуд смеется и демонстративно щупает матрас под собой.

— Какие у вас чудесные зубы! — восклицает врач.

Махмуд плотно сжимает губы и смущается, ему не нравится, когда белые заводят разговоры о его зубах, потому что за них хвалят только цветных, как будто это такое чудо, что у них есть хоть что-то красивое.

— А теперь вы что пишете?

Врач дописывает предложение, потом поднимает голову, смотрит в упор теплыми карими глазами и отвечает:

— «Здоровый негроидный индивид, активный, в хорошем состоянии, с превосходными зубами!»

— Ну что, Муди, как теперь будешь выкручиваться? Ты ведь понимаешь, что за такие преступления отправляют на виселицу, да? — Лора принимается трясти на коленях Мервина, который закапризничал, но Махмуд протягивает руки над широким столом и забирает у нее своего младшего.

— Это если виновен, а я тут ни при чем. — Махмуд щекочет пухлые щечки малыша редкими

усиками и воркует ему на ухо: — *Виилкайга, мааней*, сыночек мой сладкий.

— Обычно в это время он спит.

Другие заключенные вокруг сутулятся над столами, тихо переговариваются с женами или матерями.

Тревожно уставившись огромными глазами на лицо отца, Мервин с любопытством хватает его за нос и губы.

Махмуд смеется довольно, будто его ласкают.

— Он меня не узнал! Смотри!

— Узнал, конечно, просто сердится. В общем, купила я эти твои сигареты… — Порывшись в сумочке, она придвигает ему пачку «Плейерс».

У Махмуда загораются глаза при виде синих волн и бородатого моряка.

Надзиратель подлетает еще до того, как Махмуд протягивает руку к пачке.

— Это не разрешается. Он получит табачный паек так же, как все остальные, в следующий вторник. — Надзиратель хватает сигареты волосатой лапищей, пронзает сердитым взглядом Лору и удаляется на свое место у стены, где сует пачку в карман.

Лора молчит, но обменивается с Махмудом взглядом, означающим «хамло». Махмуд улыба-

ется, крепче прижимает к себе Мервина, пытаясь скрыть, как ему стыдно, что из-за него жена и сын попали в такое место.

— Я говорила с Берлином, он сказал, что у них есть деньги на адвоката, по крайней мере на слушания у магистрата, но Общество дружбы Аллави в мечети пальцем не пошевелит, чтобы помочь. Шейх сказал, что у них в уставе говорится: если человек вляпался по своей вине, они к его делам непричастны.

— Йеменцы — сволочи. Берут наши деньги, когда это их устраивает, и ничего не хотят давать взамен. С чего вдруг это моя вина? Я не имею никакого отношения к этой женщине, к этой лавке и к этому убийству.

— Знаю, Муди, это я *знаю*. Просто недоразумение. Ты же никогда не поднимал на меня руку, так как ты мог однажды вдруг взять и перерезать горло незнакомой женщине? Но ты нажил слишком много врагов, а друзей у тебя почти нет. Шейх просто наказывает тебя за то, что случилось в прошлом году.

— И долго еще он собирается меня наказывать? Я же заплатил *штраф*, получил *условный срок*, вернул *деньги*. Может, он еще и в жертву меня принесет на ид? *Ибн шармута*.

— Хватит, Муди, ты ребенка нервируешь.

Махмуд трется щекой о мягкие и тонкие волосенки Мервина.

— Когда приведешь других мальчишек?

— Можно только по одному. Женщина из социальной службы здесь, в тюрьме, отговаривала меня, когда увидела, что я несу Мервина, говорила, что ему вредно бывать в такой обстановке.

— Забудь.

— Да я и не собиралась ее слушать, не волнуйся. Следующим я приведу Дэвида, а то он все спрашивает, где ты, — говорит, ты опять плохо вел себя, наверное.

– *Смышленый* мальчик, все замечает.

— Слишком уж смышленый: на днях пытался вечером не пустить папу домой, говорил, будто бы слышал по радио, что полиция разыскивает старика с усами.

Махмуд смеется, запрокинув голову:

— Нет! Это не мой сын, если он заодно с полицией.

— Твой, не сомневайся: он все еще показывает тот сомалийский танец, которому ты его учил. Как там он называется?

С ничем не запятнанным удовольствием Махмуд вспоминает, как до рождения Мервина они

вчетвером жили в уютном домике в Халле. В камине горел уголь, а он сам, набросив на плечи вместо *шааль* покрывало с постели и взяв круглую жестянку из-под печенья вместо барабана, показывал Омару и Дэвиду, как танцуют кочевые сомалийцы. Раз, два, три… потом пауза, и Махмуд в этот момент прыгает вперед с криком «*сообах*» — «выходи». Он привязывал подушки к талиям мальчишек, и они топтались вокруг него, вытаращив глаза, как полные луны, нелепо и неуклюже двигая руками и ногами и совершенно не в лад, коверкая, повторяли «*сообах*». А Лора задумчиво наблюдала за ними, сидя в обитом твидом кресле, которое они по дешевке купили у матроса-сомалийца.

— «*Даанто*», он называется «*да-ан-то*». — Он старается произнести и без того простое слово так, чтобы было легче повторить.

— «Данту», скажу негоднику, когда вернусь домой. — Лора встает, чтобы забрать Мервина, и торопливо целует кончики пальцев Махмуда, когда тот подает ей ребенка. — Не падай духом, ладно?

— Ладно.

Сначала рот, потом нос? Ступни перед ушами? Махмуд ошибается в последовательности *вуду*,

ритуального омовения, и повторяет многие этапы несколько раз, пока не убеждается, что достиг *тахарат* — чистоты. Другие заключенные странно поглядывают на него, едва поплескав водой в лицо и отходя от плюющихся кранов. В последний раз он молился как полагается в Бомбее в сорок девятом, в мечети Джама-масджид между рынком Кроуфорда и базаром Завери. Омовения совершались у старого бассейна, в ярко-зеленой воде которого сверкали золотые рыбки и то и дело на поверхность всплывали черепахи. Их судно, пароход «Эммелин», встало в городском порту и разгружало британскую сельскохозяйственную технику и двухэтажные автобусы, а Махмуд уговорил других сомалийских кочегаров, угольщиков и смазчиков сходить вместе с ним в широко раскинувшийся город. Довольно быстро они очутились в районе базаров; пробуя манго, папайю, вязкий тамаринд и сушеный сахарный тростник, они праздно блуждали среди прилавков. Под высокой сводчатой крышей было все, что только можно купить: фальшивое золото, квохчущие куры, узорчатые ковры, накладные волосы и хна, индуистские божки и кричаще-яркие изображения Иисуса и Марии, маслянистые духи и ароматические палочки, лишенные зубов

кобры и блеющие белые козлята. После всей этой мешанины *масджид* стал желанной находкой. Призыв на молитву *аср* исходил от этого здания с луковицей купола, голуби и черные коршуны взвивались в равнодушное безоблачное небо, плитка с затейливым узором покрывала каждую поверхность *масджида*. Между двумя величественными колоннами, вокруг широкого водоема, сидела на корточках горстка нищих калек, медленно и благовоспитанно поедая из общей тарелки рис и водянистый *дал*. Когда местный житель объяснил им на смеси хинди и арабского, что этот масджид известен как «корабль грядущего мира», потому что возведен на воде, Махмуд сохранил эту фразу в том углу памяти, где берег все, что считал красивым.

Но теперь молитва — дело серьезное. Он хочет привлечь Бога на свою сторону, склонить судьбу в свою пользу. В какой-то момент, думает он, его удача прокисла. С рождения до двадцатилетнего возраста все получалось так, как он хотел, почти без усилий с его стороны, но с тех пор, особенно последние четыре года, он окружен невезением, как туманом. Несколько мелких передышек на ипподроме или за покерным столом ничего не меняют в его жизни по большому счету и не воз-

вращают ему прежнюю удачу. Ему нужно, чтобы Бог услышал его, увидел его в этой грязной тюрьме, в окружении бессердечных незнакомцев, и вернул его в семью. Не будет больше азартных игр и нечестивости, таковы его обязательства в этой сделке. Вернувшись к себе в камеру, Махмуд бросает одеяло на пол и встает лицом к Мекке, как можно точнее определив, в какой стороне от него юго-восток. Приложив открытые ладони к ушам, он закрывает глаза и начинает:

– *Аллаху акбар, субхаанак Аллаахумма, ва бихамдик, ва табааракасмук, ва таʿааля джаддук, ва ля иляха гхайрук…*

Затем умолкает, чтобы припомнить, как дальше:

— *..аʿуозу билляхи мина-ш-шайтаани-р-раджим бисмилляхи-р-рахмаани-р-рахиим.*

А потом — первая *сура* Корана:

— *...аль-хамду ли-лляхи рабби-ль-ʿалямиин, ар-рахмаани-р-рахим, малики йауми д-дин, иййака наʿбуду ва-иййака настаʿиин, ихдинаа-с-сирата-ль-мустаким, сирата-ль-лязина анʿамта ʿаляйхим гхайри-ль-магхдуби ʿаляйхим ва-ля-д-даллиин, аминь…*

Молитва льется из него, как песня, как вода, журчит, пробиваясь на поверхность в пустыне.

Садясь на пятки в конце одной молитвы, он медлит и принимается за дополнительные. Из колодца памяти он черпает *суру* за *сурой*: одни вбили в него тростью *маалимы* его детства, другие он услышал от своей набожной, богобоязненной матери, остальные склеились из обрывков, узнанных на импровизированных похоронах матросов, умерших и похороненных в море. Он попросит у тюремщиков Коран, решает он, и извлечет из этого заключения пользу для своей души.

Махмуд лежит на спине, водя взглядом по трещинам в крашеном потолке от одного угла до другого, его затылок покоится на переплетенных пальцах. В камере солнечно, с прогулочного двора доносится смех; он не покидал камеру с тех пор, как его обвинили в убийстве и перевели в новое крыло, и не открывал Коран, который надзиратель сунул ему через окошко в двери. Он опасается сближаться с другими заключенными в тюремной больнице, подозревая, что у некоторых из них туберкулез в самом расцвете или, даже хуже, что выглядят они здоровыми, но носят в себе полный арсенал оспы, бактерий и вирусов, которые могут передаться его прекрасным сыновьям. Он спросит у врача, не заразны ли они, и

только тогда покинет эту провонявшую комнату.

Пожалуй, ему следовало бы назвать врачу свой настоящий возраст. Ему известно, что это мало что изменит, но, может, к нему будут снисходительнее, считая, что ему двадцать четыре, а не двадцать восемь. Надо было дать врачу понять, что его жизнь кое-что стоит, объяснить, что он родился в *Коркии* — год учета, год голода. Благополучно рожденный в глухой провинции между Арабсийо и Берберой матерью, которой было уже далеко за сорок, Махмуд явился в мир, мокрый и красный от крови зарезанного изнуренного скота, в мир, где чиновники-индийцы под тенистыми деревьями вносили кочевников в списки для получения социального пособия, в мир мешков риса от правительства и тушеных диких растений. К тому времени засуха продолжалась уже три года, за ней последовала вспышка чумы скота, завезенная из Европы. Из тридцати восьми отцовских верблюдов уцелело лишь десять, из семидесяти двух коров — всего пять, а что касается овец — ну, из костей вышло хорошее удобрение. Козьи шкуры увезли в Аден, продав за бесценок на заваленном товаром рынке, британским таможенникам досталась, как обычно, их дань налогов.

Обо всем этом Махмуд много раз слышал от своей матери Шанкароон — про *абаар* и *гааджо*, неурожай и голод, которые она пережила, о том, сколько раз она вытаскивала его из когтей смерти, о ее самопожертвовании, о находчивости, о растрепанной веревке, которую она туго завязывала на талии, чтобы приглушить муки голода. История его жизни являлась ему в ее мелодичной и меланхоличной традиционной поэзии *бураан-бур*. Он во всех подробностях знал, как она четыре дня шла пешком до лагеря социальной службы в Булахаре, неся его привязанным тканью к спине, только чтобы уже у побережья услышать от одного йеменского рыбака, что из пришедших в этот лагерь никто не вышел оттуда живым. Вспышка оспы выкосила тех, кто уже был слаб от голода, сказал он. Шатаясь, мать побрела в ту сторону, откуда пришла, к заволакивающей горизонт желтой дымке, и, очнувшись, обнаружила, что привязана к спине *гээль* — верблюда. Махмуд в руках рослой, черной как вороново крыло женщины, идущей рядом с верблюдом, сосал ее грудь. Эта женщина накормила их обоих, доставила мать с ребенком в ближайшее поселение, а затем устремилась дальше в выветренную, усеянную скелетами *мийи* пустыню. Даже если мать знала

имя их спасительницы или ее клан, она никогда их не называла, но многозначительными взглядами давала понять, что им повстречался не просто человек. *Джинн*? Ангел? Перевоплотившийся предок? Не в ее духе было притворяться, будто она знает.

В детстве он так мучился чувством вины оттого, что она столько выстрадала из-за него и что любила его настолько крепко, что порой, когда он глядел, как она спит рядом с ним на подстилке — с лицом обветренным, рябым от оспы, позвякивающая серебряными браслетами и священными талисманами, — она внушала ему страх. Он был тщедушным мальчонкой, чахлым из-за голода, и она мучила его всевозможными снадобьями: свечами с ладаном, полосканиями с миррой, чаем из акации, соком *мальмаль*, амулетами от сглаза, привязанными к его рукам и ногам, рвотными порошками от индийских торговцев, уколами и таблетками от врачей-британцев, словами Корана, смытыми с грифельной доски и влитыми ему в рот, его звездами, с которыми советовался длинноволосый *фааллоу*, колдун, прижиганиями запястий и щиколоток для излечения хронической малярии. Напоследок его мать сделала мелкие надрезы у него на животе и

втерла в них крупную соль. Он никогда не забудет вопль, который вырвался у него при этом, ее ласковые слова и железную хватку, пока он отбивался, а его живот горел, будто его жгли огнем. Это последнее средство поставило его на ноги и сделало странником, *дальмар*, который рад уйти от матери как можно дальше.

Когда его престарелый отец Хуссейн вернулся после четырех лет работы торговцем в Адене, под белыми обмотками у него на ногах было припрятано достаточно купюр достоинством десять рупий, чтобы снять помещение, купить лицензию и обзавестись лавкой в Харгейсе, где уже поселились многие члены его клана. Махмуд вместе с четырьмя братьями и родителями переселился в хижину с единственным помещением, сложенную из глинобитного кирпича, а их верблюдов, помеченных заметным клеймом в виде звезды, отослали пастись к дяде. Вместе со скотом ушли и беды, которые навлекло на семью то время засухи, чумы, сибирской язвы и саранчи, и, хотя Махмуд лишился дикой и грубой пустыни, он обрел новизну и возможности городской жизни. Некогда Харгейса была просто самым широким местом длинной реки, где слоны собирались во время дождей в сезон *гу*, весны,

и кочевники поили свои стада, а потом пришли шейхи. *Джамаа* возникла здесь в конце прошлого века — убежище для правоверных, обездоленных или плененных, вдали от смятения Войны дервишей[13] и нечестивой и суровой кочевой жизни. В долине сеяли сорго, вдоль берега реки выращивали бананы, манго и гранаты, возвели нескладную и угловатую, беленную известью мечеть и проводили вечера в молитве. Махмуд прибыл уже после того, как город заматерел. Одна мощеная улица, пятнадцать закусочных, тридцать две лавки с разнообразным товаром, одна наскоро построенная тюрьма, примитивная больница и окружной комиссар-ирландец — вот и все, что понадобилось, чтобы сделать Харгейсу третьим по величине городом протектората.

В лавке, принадлежащей отцу Махмуда, продавались чай, просо, мясо, белая хлопковая ткань, серая бязь, рис, сахар, соль, фураж и все, чем торговали с ним кочевники. Выручки хватало, чтобы нанять молодую симпатичную *джарияд*, выполнявшую домашнюю работу вместо их матери, которая от комфортной жизни растолстела, стала медлительной и набожной. Махмуд жался

---

[13] Примечания: 13
Англо-сомалийские военные конфликты 1899–1920 гг. (*Прим. пер.*)

к ногам длиннокосой служанки из народа оромо, Эбаду, и не засыпал, пока она не убаюкивала его песней или не растирала его усталые ступни маслом. В ответ он массировал ей тонкие плечи, потом маленькие коричневые руки, переплетал распустившиеся концы ее бесчисленных тугих косичек, воровал горстями сахар и дарил ей. Его мать, ревнивая и мстительная, отправила его в *дугси*, где заправлял пуританский орден *салихийя* и где *маалим* раскачивался вперед-назад, отбивая ритм стихов *китаба*, а учеников-тугодумов наказывал сильными щипками, от которых на коже оставались кровавые следы. От *маалима* Махмуд узнал, что возмужание подобно превращению дерева в древесный уголь: это процесс разрушения, продолжающегося до тех пор, пока не появится нечто чистое и яростно раскаленное. Слезы размягчают душу, в то время как боль закаляет ее. Этот урок Махмуд усвоил быстро и без усилий; все в его жизни уже указывало на это.

Когда губернатор выбрал его отца *акилом*, чтобы разрешать религиозные споры, Махмуд был удивлен, что замкнутому старому торговцу с его аккуратными столбцами и вписанными в них рупиями, аннами и пайсами когда-то хватило интереса к религии — настолько, чтобы отпра-

виться в Харэр и Джидду изучать священные тексты. А его самодовольная мать перебирала *тасбих* и сияла от удовольствия. Она присутствовала на всех судах, которые он вел — о запретных браках, скандальных разводах, спорах за детей и наследство, требованиях возместить ущерб, — и вполголоса высказывала свое беспощадное мнение о них. Незнакомые женщины приходили к ним в дом, их слезливые голоса мешали Махмуду спать, они умоляли его мать похлопотать за них, потому что мужья бросили их, или отняли у них детей, или оскорбили так, что стерпеть это невозможно. Заваривая раз за разом чай с пряностями, его мать пыталась все уладить сама, деятельно вмешивалась в чужие дела и брала с Махмуда обещание молчать. К счастью для его матери, в последние годы перед смертью у его отца были заботы поважнее.

Впервые Махмуд увидел хаджи, когда был восьмилетним, во время ида и шествия всего ордена *салихийя* через город. Неся желтый флажок с красной звездой и полумесяцем, Махмуд прошагал в колонне шириной в три человека от скотного рынка на севере до могилы шейха Мадара на юге — мимо бойни, полицейского участка и тюрьмы, недлинного ряда дымных пекарен-*мухбазаров*

и просторного бунгало окружного комиссара. У могилы шейха Мадара они сначала молились, потом слушали проповедь элегантно одетого белобородого человека в чалме. Стоя в дальних рядах толпы, Махмуд услышал лишь несколько фраз и стихотворных строк военной поэзии дервишей, которую не спутаешь ни с чем. Однако сиплый и просительный голос хаджи, должно быть, врезался Махмуду в память, потому что когда он услышал его несколько недель спустя в отцовской лавке, пока шло обсуждение таможенных пошлин, то сразу же вспомнил. «Хаджи — один из нас, брат по клану, — сказал его отец, извиняясь за настороженное выражение лица сына, — иди и поцелуй великому человеку руку». Вкрадчивая белозубая улыбка, которой хаджи одарил Махмуда, не предупреждала о бедах, которые он принес к ним на порог.

С этого дня и до самой смерти *ааббо* Махмуд не мог припомнить случая, когда отец не распространялся о чем-нибудь, что сказал или сделал хаджи. От хаджи Махмуд узнал, что заключенных-сомалийцев в тюрьме иногда бьют девятихвостыми плетьми и что уличных мальчишек, существующих благодаря правительственным пайкам, наказывают палками за отказ убирать

улицы. Однажды он забрался на манговое дерево, якобы хотел достать манго, но на самом деле — заглянуть во двор тюрьмы и своими глазами увидеть то, о чем рассказывал хаджи. Зрелище, которое предстало его глазам, потрясло его больше, чем сумел бы загон, полный закованных в кандалы, окровавленных людей. Взрослые мужчины в длинных рубашках и коротких брюках бродили по бурому песку, некоторые поливали пестрые цветы и листовые овощи, другие чинили толстые, свитые из множества прядей веревки; под гибискусом какой-то человек работал на ножном ткацком станке, а рассевшиеся вокруг него заключенные плели корзины или вырезали узоры из кожи. Все они делали женскую работу в полном молчании, и Махмуд поскорее скатился с дерева, пока его не заметили. Хуже это, чем порка, или нет? Он не смог определить. Британцы поступали так с мужчинами, которые попадали к ним в руки, он сам видел, — делали из них своих кухарок, нянек и прачек. Били их, как непослушных жен, старались, чтобы их больше никогда не уважали как настоящих мужчин. Оборванные сироты, которые селились в Харгейсе, надеясь, что какие-нибудь родственники отыщут их, и были готовы на грязную работу на бойне, или

происходили из самых слабых и беднейших кланов, становились легкой добычей, но в том дворе Махмуд заметил местных, которых видел раньше еще воинственными и гордыми. Вернувшись в лавку, Махмуд спросил хаджи, откуда тот столько знает о британцах.

Хаджи потер черную мозоль на лбу, на том месте, которым его голова ударялась об землю во время *салята*, и поправил складку чалмы за ухом. Переглянувшись с отцом Махмуда, он уперся локтем в деревянный прилавок и устремил в потолок взгляд светло-карих глаз.

— В молодости я жил в Бербере, работал конторщиком у неверных и покупал еду на *харамные* деньги, которые они отнимали у наших кочевников и торговцев. Я хорошо говорю на их языке, очень хорошо, и я слышал, как они отзывались о нас как о неразумных детях, но думал, что со временем мы станем новым Аденом, чтобы корабли приходили со всего мира, и у нас будут поезда, как в Индии, а абиссинцев оттеснят обратно к их нагорьям. Ничего — мы не получили *ничего*. — Он отряхнул ладони от пыли. — А потом я услышал стихи, такие сильные, что от них замирало сердце. Я последовал за ними в пустыню, на поле боя, в мир смерти и благочестия. За это меня

депортировали, выслали силой с моей родины люди из страны, которую мы никогда не увидим. Меня отправили на Маврикий, островок идолопоклонников, и я блуждал там повсюду, никого не зная. — Он заморгал, словно удерживаясь от слез, потом взял себя в руки. — Когда наш вожак, наш поэт, ушел в *ахира*, к праотцам, мне дали разрешение — раз-ре-ше-ние, ха-а — вернуться домой, думая, что у меня не осталось ядовитых клыков, но теперь я для них чистый яд.

Когда Махмуд лет в одиннадцать перестал ходить в *дугси*, он начал работать вместе с братьями в лавке. Его научили читать одну треть Корана, но эти знания быстро оказались погребены под песнями, шутками, загадками, поговорками *маахмаах*, ценами товаров, налоговыми сборами, расписанием *дау* и иностранными словами, которые он выучивал, курсируя между Аденом и Харгейсой вместе с братом Хаши. Теперь, когда все пятеро сыновей занимались закупками и продажами вместо отца, он решил купить грузовики, чтобы распространить сферу своей деятельности и на удаленные районы страны. Помалкивая о своих планах, чтобы не создавать конкуренции и не вызывать зависти, отец Махмуда обратился за лицензией на транспортные перевозки и послал

верблюда в дар окружному комиссару. Возможно, если бы сначала он поговорил с астрологом, то повременил бы со своими планами, поскольку в тот год часть клана, к которой он принадлежал, едва не вступила в войну с британцами. Все началось со спора из-за женщины, игривой и молоденькой, с тонкими щиколотками и жемчужными зубками. Драка, начавшаяся на кулаках, завершилась ударом ножа в ребра молодому поэту из клана Эйдегалле. Нападавший сбежал в *мийи*, под защиту своего клана. Обычно разрешение таких споров было вопросом времени, необходимого, чтобы остыла кровь, а затем переговоров о должной *дия* — уплате ущерба, но теперь британцы хотели, чтобы дела об убийствах судили только они. И заявляли, что желают научить сомалийцев святости жизни, даже если усваивать этот урок им придется в петле на виселице. Недели шли, а клан виновного отказывался выдавать его, и хаджи осознал важность момента. Это был его клан, его кровь, и он был готов бросить клич «*толаай*!» так громко, чтобы услышали в самом Вестминстере.

Пока отец Махмуда нервно жевал губу, хаджи убеждал то один, то другой *шир*, собрание старейшин клана, сопротивляться требованиям британцев. Махмуд наблюдал, как хаджи, при-

жав ладонь к своему прикрытому шелком сердцу, при свете огня, озаряющего его волевой профиль, разъяснял, почему было бы *харам* отправить виновного на казнь. Разве клан Эйдегалле не принял условия *дия*? Разве британцы не заплатили за ущерб, когда пьяный механик-англичанин застрелил мальчишку-кочевника? Разве не назвали они это «преступной небрежностью» и не отдали лишь часть причитающейся компенсации? Неужели не противоречит самому духу ислама хладнокровное убийство человека, пока еще остаются шансы на мир и возмещение ущерба? Он готов публично объявить неверным *любого* мусульманина, хоть *как-нибудь* причастного к этой несправедливости. Бритоголовые старейшины с крашенными хной бородами попивали чай и бормотали «*наʿам*» и «*ваа сидаа*» — «да, так и есть», но Махмуд замечал, как переглядываются некоторые из них украдкой.

Один старик, вокруг жилистого тела которого было обмотано ярдов двадцать белой хлопковой ткани, поднялся и покачал головой:

— Нельзя называть «*куффар*» того, кто сердцем верит в Бога и его слово. Иначе совершишь грех.

Хаджи нахмурился, раздраженный тем, что ему возразили и сбили с мысли.

— Все просто, Халане: нельзя пригреть на груди человека, который объявил о своей вере в чужестранного короля и поклялся в верности ему. Может ли человек идти в две стороны одновременно? Может ли он ехать сразу на двух лошадях? Может ли он быть и рабом Аллаха, и *гааль*, немусульманином? — Хаджи брезгливо покачал головой, отвечая на собственный вопрос. — Нет, *астагфируллах*, только Аллах достоин, чтобы поклоняться и подчиняться ему. Британцы — простые, угодливые люди. Они крестьяне, которые довольствуются обработкой земли своих хозяев, и не в состоянии понять *хорриядда*, нашу любовь к свободе. Я их знаю, для них нет больше радости, чем встретить человека важнее их, тогда они кланяются и уверяют: «Сэр, сэр, я ваш покорный слуга». Сомалийцев они считают дикими, потому что у нас каждый человек сам себе хозяин, но они забывают, что у всех нас есть один могущественный хозяин — *ар-Рабб, ар-Рахим*. Нам нужна только наша земля, а Аллах обеспечит нас всем остальным.

Клан вместе с хаджи, как его фактическим *султааном*, сохранял выдержку до тех пор, пока на его пастбища всего в десятке миль от Харгейсы не прибыл верблюжий корпус. Известие достигло

лавки тем же днем. Молодого кочевника в грязи и с черным страусовым пером в волосах сразу же отрядили поднять шум в городе. Прежде чем единым духом выложить вести собравшимся, он умылся и выпил полный козий бурдюк воды. Капитан-британец, сопровождаемый почти пятьюдесятью верховыми и вооруженными сомалийцами-аскари, прибыл к водохранилищу Бийо-Кулуле и потребовал выдачи виновного и трех человек, подозреваемых в его укрывательстве. Общаясь с британцем через армейского переводчика, старейшина посоветовал поискать их в аду. Убедившись, что выполнять его распоряжения никто не собирается, капитан приказал подчиненным согнать скот как конфискованный товар. Двух мужчин, которые бросились разгонять верблюдов, убили выстрелами в спину, дерзкого старейшину связали и взяли под стражу. Солдаты корпуса на рослых, откормленных зерном верблюдах продемонстрировали искусство погонщиков, *гээльджире*, собрали скот и погнали прочь, оставив лишь несколько старых никчемных быков и телят, которые без материнского молока не переживут сухой сезон, *джилааль*.

Отец Махмуда посоветовал сразу же сдать тех, кого требовал британец, но хаджи снова выиграл

вспыхнувший спор. «Кровь на земле, кровь на земле», — повторял он, словно был от этого в восторге. Очередной набег на еще одно место водопоя привел к смерти пятерых, вдобавок человек по прозвищу Фарах С Сотней лишился всех ста своих верблюдов. К третьему набегу кочевники уже готовились — почистили и смазали винтовки, которые хранили со времен Войны дервишей. С обеих сторон прозвучали выстрелы, на пути показалась развилка: либо обстрелы и резня, как во времена шейха, либо и те, и другие откладывают оружие. После собрания *сулдаанов, бокоров, гараадов, акилов* и *кади* всего клана Хабр Авал юношу, с которого начались беды, наконец вызвали из его убежища и отправили бороться с судьбой в одиночку. Но даже после суда, в котором губернатор взял на себя роли судьи, обвинителя и присяжных, у хаджи осталась еще одна припрятанная карта. Он ухитрился перетянуть на свою сторону неизвестное количество полицейских-сомалийцев, и они один за другим отказывались участвовать в подготовке места казни. После того как девять мятежных констеблей были приговорены к каторжному труду, неизбежное повешение провели по-тихому, и этой *шээко*, истории, пришел конец.

Этот длинный эпизод привел к появлению трещины в отношениях между хаджи и отцом Махмуда. Если раньше они воспринимали свое место в мире одинаково, то теперь различия в этом восприятии были жирно написаны красным. Хуссейна не объявляли *куффаром* открыто, однако ему казалось, что на спине у него появилось клеймо и что за отрывистым «*салаам*», которое хаджи бросал, проходя мимо лавки, неизменно следует приглушенная брань. Окружной комиссар наконец выдал ему лицензию на грузоперевозки, и Хуссейн с облегчением оставил пост судьи. Он умер от сердечного приступа два сухих сезона спустя, успев насладиться более чем солидной долей прожитых лет и достатка, а также воспитав пятерых сыновей, чтобы приумножить род и укрепить его имя. Эти сыновья прилежно омыли его тело, завернули в единственный белый саван и отнесли его на плечах к последнему жилищу под акацией, уложив левой щекой на иссушенную, поблескивающую чешуйками слюды почву, прежде чем взялись за заступы. Место Хуссейна в обществе было подтверждено многолюдностью его похорон, а похоронной молитвой, *салят аль-джаназа*, руководил сам хаджи.

Хаджи обхаживал братьев Махмуда одного за

другим, от старшего до младшего, превратившись для них в медоточивый *аф-миншаар* — рот-пилу. Он засыпал их непрошеными советами обо всем — от закупки нового товара в Бербере до поиска способных механиков для грузовиков, от пользующихся спросом тканей и до девушек, достойных того, чтобы на них жениться. Он снова научился улыбаться после своего поражения в деле со смертной казнью, но Махмуду его усмешка казалась ядовитой, ряд золотых зубов выявлял, что остальные сгнили. Будто сделавшись другим человеком, он включился в кампанию пропаганды тихого сопротивления британцам. В вооруженных столкновениях не было необходимости; кочевники ничем не дорожили так, как своими верблюдами, и все, что требовалось от хаджи, — сеять сомнения в безопасности приманок для саранчи и ветеринарных инъекций. Чиновник из отдела общественных работ разбросает приманку, а какой-нибудь ребенок или женщина разнесет ее далеко от колодца. Если хаджи считал, что способен выиграть эту войну на истощение, в этой мысли его укрепляли периодически случающиеся самоубийства колониальных чиновников, компанию которым в миссиях, рассеянных по пустынным внутренним

районам страны, составляли лишь спиртное, неимущие женщины и слуги.

Если британцам и вправду была настолько ненавистна их жизнь в Сомалиленде, как порой казалось, в некоторой степени это объясняло быстроту, с какой они покинули протекторат в сорок первом, когда итальянцы вторглись в их колонию на юге. Британцы будто сбежали из тюрьмы, прихватив с собой индийцев. Королевский флот блокировал порты, и жить стало гораздо труднее, семейная лавка существовала лишь благодаря вздутым ценам на фрукты и овощи, которые возили грузовиками из Габилеи и Арабсийо, чтобы не растерять покупателей. У итальянцев имелись свои плантации возле рек Шабелле и Джубба, их войска снабжали провизией крупные торговцы из Могадишо, поэтому в конце концов братья перешли к нелегальным закупкам у «Ла Форца» вместо того, чтобы продавать им что-нибудь. Они первыми в Харгейсе начали продавать спагетти и макароны, но постоянные покупатели, не зная, как правильно готовить сухую жесткую пасту, в отвращении скармливали ее козам и за покупками больше уже не приходили.

Хаджи, расстроенный тем, что его желание,

чтобы британцы покинули страну, исполнилось так неожиданно и настолько сильно озадачило его, каждый день ходил с братьями на молитву *зухр* в *масджид* шейха Мадара. Разросшаяся, притихшая в ожидании паства ждала указаний, как быть с новыми неверными, но у хаджи не имелось ни ответа, ни плана. Судьба устроила ему засаду.

На Махмуда абсолютные тишина и неподвижность города, а следовательно, и всего мира наводили ужас, ему казалось, что лишь он один в нем движется и растет. Он уже перерос свою мать и приближался к подростковым годам, когда в подмышках и на подбородке начали проклевываться первые колкие волоски. Его, еще не мужчину и уже не ребенка, злило пренебрежительное отношение к нему старших братьев. Никогда ему не случалось принимать решения. Никогда он не мог сказать что-нибудь вроде «давайте продавать то, а не это» или «наймем вот этого вместо вон того». Он оставался «*соо каадо таас*» — «пойди-подай», мальчиком на побегушках. Ничем не лучше несчастной Эбаду, уже перевалившей за двадцать и безнадежно влюбленной в Хаши. После сравнительно бурной утренней деятельности город впадал в опаленный солнцем

и беззвучный ступор с пережевыванием жвачки: ухабистые улицы пусты, если не считать черных и белых коз, воздух настолько неподвижен, что на дереве не дрожит ни единый лист или цветок, и Махмуд мог проследить весь его медленный, колышущийся спуск до земли. У него возникало ощущение, что, даже если он завизжит во всю мощь легких, его никто не услышит.

Он бродил повсюду, лишая братьев своих услуг. От Нааса Хаблоод до скотного рынка, от полицейского участка до конторы общественных работ, от района белых обратно в кварталы местных, от обозначенной камнем отцовской могилы до могилы шейха Мадара. Он шел упорно и быстро. Нестерпимая жара того сухого сезона загоняла под крышу даже самых выносливых уличных мальчишек. Городские женщины и девчонки уже давно попрятались из страха перед итальянскими солдатами, а немногие мужчины, мимо которых проходил Махмуд, казались озабоченными или погруженными в раздумья. И когда однажды он услышал смех, сопровождаемый странно-хулиганской, улюлюкающей музыкой, бьющей по ушам, он направился к этим звукам. Они привели его к порогу глинобитной закусочной-*махааяд* за складом одного парса, торговца

сахаром из Бомбея. Хрустя ступнями по просыпанному сахару, Махмуд крадучись попятился прочь от двери и гогочущих мужчин, развалившихся на обшарпанных диванах вдоль четырех стен. Его отступление было медленным — слишком заинтересовала его рогатая машина, похоже, изрыгавшая все те шумы и свист, которые он услышал.

— Кто это сует свой мелкий нос в наши дела? — спросил, заметив Махмуда, развалившийся на диване мужчина с яркой от хны бородой. — *Каалай*! А ну иди сюда! — велел он, протягивая руку, словно чтобы отщипнуть его с лозы. — У тебя вести для нас, парень?

В полутьме комнаты с земляным полом табачный дым клубился и поднимался из булькающих трубок *шиши*, не давая разглядеть, какая нога принадлежит какому торсу и какое лицо венчает какое тело. Прямо склад мужчин, кое-как сваленных в кучу.

— Я его видел. Ты один из мальчишек Хуссейна, *сах*? — спросил молодой, в шляпе под западную, надетой набекрень, и голубой мужской юбке *маавис* на тонкой талии.

— Да.

Грубый гогот.

Самолюбие Махмуда, уже тяжелое, взрослых размеров, было уязвлено.

— Что тут смешного?

— Ничего, парень, хороший был человек Хуссейн, *Аллах оо нахариисто*, да пощадит его Аллах. Просто мы глупые люди, которым все смешно. Уйди ты с этого адского солнца, посиди с нами. Держи. — Он протянул Махмуду металлическую насадку *шиши*, потом выпутался из скопления тел и занялся диском, который вращался на проигрывателе.

Нервно сжимая трубку *шиши* в руке и не видя в куче людей места для себя, Махмуд сел у двери и подогнул под себя длинные ноги.

Когда раздалась новая улюлюкающая песня, молодой мужчина забрал у Махмуда трубку и раскидал со своего пути чужие ноги, высвобождая себе место на диване.

— Как тебя зовут, ибн Хуссейн?

— Махмуд.

Широко улыбаясь и перейдя на беглый английский, его собеседник прижал ладонь к сердцу, выразительно опустил взгляд и объявил:

— Ваш покорный слуга Берлин.

Так они и познакомились, и так Махмуд влюбился в Берлина. Любовь была, безусловно, чистой

и платонической, но отягощенной пристальным наблюдением, которому мальчишка подверг старшего знакомого. Его манера держаться, его представления, его паузы, его ругательства, его желания, его антипатии — Махмуд записывал бы их все, если бы умел писать, но вместо этого запоминал накрепко и уносил с собой, как птиц, попавшихся в его силки. Он подкрадывался к дверям чайной, пытаясь чутким ухом уловить говор Берлина сквозь шум чужих голосов. Моряки. Матросы. Экипажи торговых судов. Котельные машинисты. Кочегары. Угольщики. *Бадмарин*. Они называли себя по-разному, но он быстро сообразил, что это люди моря, люди мира. Прячась по углам в *махааяд* и, чтобы сохранить свое место в их конфессии, передавая то и принося это, он улавливал обрывки их историй, их мифологии.

Айнаше, выздоравливающий матрос с замасленными, в пятнах, повязками на обеих руках, оправлялся после того, как его корабль потопили у побережья Малайи. Каждый час он с диким взглядом принимался подробно рассказывать об этом торпедном ударе. Как он пришелся в машинное отделение, как раз в смену его брата, в то время как он сам вышел подышать перед началом четырехчасовой вахты. Как поток бурлящей

воды ударил ему в лицо, как под ним взорвалась стальная палуба. Погружаясь в воду, он почувствовал, как что-то хватает его за шею, и начал отбиваться, боясь, что акула примеривается, чтобы половчее откусить ему голову. «Черт, да я же помочь пытаюсь! — завопил первый помощник, пока кочегар бранился на сомалийском и молил Бога об иной смерти. — Давай сюда! Держись вот здесь, приятель». Шотландец, старый хрыч, передал ему сломанный ящик и помог получше ухватиться за него, а потом поплыл искать других выживших. Подскакивая на волнах, с трудом удерживая на сломанных руках тяжесть тела, он чувствовал трепетные касания всплывающих трупов еще до того, как видел их. Они появлялись один за другим, как танцоры выходили в круг, гладкие и лишенные конечностей, как ламантины. У всех тел, на которых сохранились головы, глаз, носов, ртов и ушей едва набиралось на одно полноценное лицо. Окруженный этим косяком чудовищ, Айнаше распинывал их, пока не узнал шрам на одной груди — длинный, как желтая река, шрам, который его брат заработал в Нью-Йорке, подравшись в баре. Содрогаясь, Айнаше притянул к себе голый торс брата и забормотал утешительные, ребяческие слова в то простран-

ство, где должна была находиться его красивая голова. Все исчезло. Все исчезло. Слушатели в *махааяд* сочувственно цокали языками, вздыхали «*сабар йо имаан*» — «терпение и вера», а затем жестокосердно возвращались к прерванной им шутке или байке.

От бремени горя и помешательства Айнаше они избавлялись с легкостью, которая поначалу шокировала Махмуда, а потом стала казаться правильной и достойной мужчин. Благодаря их бурному хохоту, их нарочитому отвращению, поэтичным оскорблениям и безбрежной житейской мудрости он узнал больше, чем за все предыдущее время. Основной принцип философской школы *махааяд* заключался в том, что всему *этому* вовсе не обязательно быть итогом его жизни: этой панораме, этому горизонту, этому языку, этим правилам, этим запретам, этой пище, этим женщинам, этим законам, этим соседям, этим врагам. Идеи были еретические, от них сердце учащенно билось, но мало-помалу они делали из него ученика. Так, к примеру, у Берлина сформировалось сердце из гладкого мрамора, его кровь была холоднее, чем у мертвеца. Он собирался жениться в Бораме, чтобы угодить матери. На девушке, выбранной его матерью, девушке,

которую в глаза не видел и вряд ли когда-либо встретит вновь. И говорил, что ему достаточно только хорошенько обтереть свое сердце, чтобы выбросить ее из головы.

Вернувшись с подкреплением через полгода после эвакуации из колонии, британцы загнали итальянцев обратно в пределы их империи и принялись по привычке суетиться и метаться между сомалийскими кланами. Ввиду необходимости снабжать южноафриканские, индийские и восточноафриканские войска британская армия стала тем самым расточительным покупателем, какого всегда хотели видеть в семейной лавке. К концу сорок первого года семья хозяев выручила достаточно, чтобы купить подержанный трехтонный грузовик «Бедфорд» в дополнение к своему небольшому автопарку, и мать начала поговаривать намеками, что пора бы придать немного престижа семейному имени и отправить Махмуда в закрытую школу. Махмуд сопротивлялся изо всех сил, возражая, что там из него сделают христианина, заставят есть свинину и смотреть свысока на неграмотных братьев. Если уж хочется отослать его куда-нибудь, то лучше не в Амуд или другую школу-тюрьму, а в Кению или Танганьику, где он мог бы купить скот и отослать в

Харгейсу. О Кении и Танганьике он лишь слышал от моряков, но его увлекли рассказы о девчонках суахили с темными губами и почти немигающим взглядом, изысканно высоких и удивительно мягких постелях и древних, космополитичных портах. К его изумлению, самый старший из братьев согласился — то ли для того, чтобы оградить его от вредного влияния моряков, то ли для того, чтобы закалить, Махмуд не вникал, — и тринадцатилетний мальчишка решил попытать судьбу как мужчина. Махмуд отправился в Гариссу, на населенный сомалийцами север Кении, чтобы пожить у одного из членов клана, а затем братья должны были прислать грузовик, чтобы заодно забрать сделанный заранее заказ для лавки.

Из Гариссы Махмуд сбежал, не прошло и месяца, полный презрения к ее приземистым пыльным строениям и докучливо привычной атмосфере. На главпочтамте в громогласном Найроби он продиктовал телеграмму домой, а потом устремился к обещанным развлечениям Момбасы. Он работал носильщиком, разгружал в порту *дау* и пассажирские катера, а затем нашел место у образованного сомалийского торговца, обосновавшегося на Занзибаре. Стоя за прилавком в ювелирной лавке и лавке тканей в Каменном

городе, он успевал приударить за девушками, приходившими в сумрак базара, возведенного из кораллового известняка. За девушками из Омана, лица которых скрывали черные *буйбуйи*, длиннокосыми девушками из народа баньяли, сикхскими невестами, кокетками васуахили с кожей оттенка винограда и проколотыми перегородками в носу. Он ласкал покупательницам пальцы, надевая кольца через упрямые суставы, его трясло от нервного возбуждения, пока он помогал им застегивать тяжелые ожерелья на шеях, подернутых испариной. Мир казался немыслимо далеким от серпантина переулков Каменного города, и он провел там целый год, не сообщая родным, где находится. Его утешало сознание, что до него они не доберутся. В страшных снах он видел, как его мать, с ее обременительной любовью и близким знакомством со сверхъестественными силами, следует, прихрамывая, за ним, описывает широкую дугу по его следам и возникает на базаре. Взгляд ее печальных глаз, обведенных черными кругами, был невыносимо мучительным.

Словно убегая от этих сновидений, однажды он удрал на материк, в Дар-эс-Салам. Благодаря удаче, осыпающей его, словно золото, он быстро

нашел место — опять у сомалийки, Биби Захры, вдовы уроженца Барвани из Могадишо. Махмуд рассказал ей, что его братьям принадлежат четыре грузовика, и этого основания ей хватило, чтобы доверить ему ключи от ее белого «Морриса майнор». Наскоро помолившись, Махмуд сел за широкий и тонкий руль машины и понял, что слишком мал ростом, поэтому видит не дальше капота. Вдова отдала ему чемодан, чтобы сесть повыше, но когда он завел двигатель, то испугался его хриплого кашля и выдернул ключ, с ужасом думая, что сломал что-то. Под одобрительное покрикивание вдовы с заднего сиденья, указывающей на рычаги и переключатели, которыми, как она видела, пользовался ее прежний шофер, они медленно, но неуклонно двинулись в сторону ее белого, увитого жасмином бунгало. От Биби Захры он научился искусству праздности; ее дни проходили в тягучей рутине наведения красоты, трапез и прогулок. Она была болтливее птиц в просторном, затененном пальмами саду и втягивала слуг и привратников в водоворот собственного томного времяпрепровождения. Махмуд мог спать допоздна, сколько хотел, зная, что вдова, вероятно, забылась сном лишь с восходом солнца. Он ни разу не видел *сахиба*,

принимать которого она готовилась целыми днями, но слышал его и видел широкую тень в зашторенных окнах. Бездетная вдова наполняла дом слугами в попытке воспроизвести атмосферу ее детства, проведенного в тесном и шумном доме в узких переулках Хамар-Уэйне. Раздираемый надвое легкостью жизни в доме вдовы и ощущением, что он вернулся в детство, когда был постоянно чем-нибудь да недоволен, Махмуд начал переедать, помогал повару резать и мыть, а тот, в свою очередь, разрешал ему привередливо ковыряться в гренках и остром рагу, которые научила его готовить вдова.

В доме была одна девчонка из суахили, с тугими косичками, по имени Камара, которая приходила дважды в неделю стирать одежду и постельное белье вдовы, и ее появления стали метрономом, по которому Махмуд отмерял дни. Он обнаружил четыре поста, с которых мог наблюдать за ней все три часа, проводимые ею в бунгало: утром, когда она только являлась, он мыл машину, пока наполняла один таз за другим из колонки в саду, сидел в дверях летней кухни, пока она мяла белье маленькими ножками в мыльной воде, следил за ней с расстояния нескольких дюймов из-за закопченного окна и, наконец, устраивался

под жакарандой, пока она развешивала широкие белые простыни и дорогую одежду. Он не перемолвился с ней ни словом, но, заметив его мрачные и полные безнадежной любви взгляды, седеющий повар напевал «*нашиндва на мали сина, ве нингекуоа малайка*» — «горе мне, я беден, а то женился бы на тебе, ангел» — и хлопал его по пустым карманам, когда она приближалась к кухне. Да, денег у Махмуда не было, ведь он жил в таком комфорте, что вдова считала, нет необходимости бросаться ее драгоценным наследством, раздавая бумажки или металл. Какой выкуп полагается за девушку-*дхоби*? Он понятия не имел. И предложить мог только тайные поездки на машине и жирные закуски из кухни.

Обдумывая свое затруднительное положение, он молча наблюдал за молчаливой девушкой, пока много месяцев спустя не заметил под ее просторным платьем удлиненный холмик и дерзко выпяченный, растянутый пупок. Вытаращив глаза, он неуклюже поднялся со своего места под жакарандой и в слезах отошел к машине. Самому себе он казался нищим, жадно глазеющим на объедки в тарелке. Он проклинал ее, а в глубине души упрекал себя за то, что думал, будто имеет на нее хоть какое-то право. Чем он лучше расфу-

фыренных жирных евнухов, приходивших на базар в Каменном городе, кичливо швыряющихся деньгами хозяев, как собственными, рассуждающих о свадьбах и женщинах, будто у них когда-нибудь была хоть одна. Ему не хотелось удовлетворять себя самому, уподобляясь безумцу или обезьяне, но положение и впрямь было безрадостным. Он дулся и молчал, возил вдову по магазинам и каждую ночь ложился в постель с благими, но несостоявшимися замыслами.

Однажды, когда он стоял, припарковавшись возле почтамта, где Биби Захра звонила своей сестре в Могадишо, какой-то незнакомец застучал в окно машины, разбудив Махмуда.

— Ты! — заулыбался незнакомец, лицо которого было веселым и потным, а рубашка — белой, на пуговицах.

Махмуд нахмурился и опустил стекло, чтобы прогнать неизвестного.

— Это что, твоя машина? Сколько платишь мне за нее? — рявкнул он.

— Не хами мне. Я знаю тебя, Маттан. Твои люди ищут тебя повсюду, бродяга.

Махмуд заморгал, покрепче сжал руки на руле и нащупал педаль акселератора.

— Ты это о чем? — невнятно отозвался он.

— Сам знаешь, о чем, — фыркнул незнакомец. — Твоя мать расспрашивает каждого торговца, моряка и солдата в Африке и Адене, не встречал ли кто тебя или хотя бы не видал твой зловонный гниющий труп. За тобой что, гонится полиция? Почему ты сбежал от родных? Аллах тебя за это накажет. Тебе никто не объяснил, что рай лежит под ногами твоей матери, *йаа*?

— Я работаю и буду посылать им деньги, — солгал Махмуд пронзительным, детским голосом.

Резкий запах духов Биби Захры он учуял еще до того, как увидел ее.

— В чем дело, Махмуд?

— Он попался.

— Кому? Тебе? А что он натворил? — закричала она, переводя взгляд с одного на другого.

— Ничего, меня разыскивает мать, — ответил Махмуд, обращаясь к рулю.

— Они не знают даже, жив он еще или мертв.

– *Харами*! — воскликнула Биби Захра, сунула руку в машину и наотмашь ударила Махмуда по лицу. — Хочешь, чтобы все считали, будто я тебя похитила? Что я какая-нибудь *дадкалаато*, людоедка? Я же думала, что ты сирота.

— Я этого никогда и не говорил, никогда не желал матери смерти. Я сказал, что мой отец умер.

Биби Захра покачала головой, ее обведенные сурьмой глаза драматично налились слезами.

– *Вейло о вей*, если я не носила ребенка, это еще не значит, что я не понимаю, каково твоей матери. — Она схватила себя за живот, потом за грудь. — Ты сегодня же вернешься. Я сама дам тебе деньги.

— Нет! — отрезал Махмуд и завел двигатель, готовый угнать машину, если понадобится.

— Идем-ка со мной, — велела она, поманив Махмуда наружу длинным указательным пальцем. — Ты дашь своей матери жизнь и поговоришь с ней.

– *Хоойо* — мама?..

— Кто это? — крикнула в трубку его мать.

– *Ваа анига*, это я, Махмуд.

– *Машаллах, машаллах*, — расплакалась она. — Мои глаза, мой последыш, моя печень, мой свет. Я уж думала, что потеряла тебя.

Махмуд низко опустил голову, пряча слезы, ручьем текущие по щекам. Ее голос прозвучал так испуганно, так старо.

– *Хоойо*, — хрипло выговорил он, не зная, что еще сказать; она любила его больше, чем он заслуживал.

— Ты здоров, сынок? С тобой ничего не слу-

чилось?

— Нет, я толстый и здоровый.

— Твой брат женился, у него сын, я назвала его Махмудом.

— Я в городе, который называется Дар-эс-Салам, это рядом с большим морем. Теперь я шофер и умею говорить на суахили… Махмудом, говоришь? Это честь, *хоойо*.

Они говорили наперебой, в трубке трещало, разговор складывался нелепо, ни он, ни она еще ни разу прежде не говорили по телефону. За ней пришлось отправлять посыльного и вести ее на почту. Ему представилась ее мучительная, кривобокая походка, ее рука, прижатая к бедру.

Она почти выкрикнула в трубку длинное благословение, призывая его отозваться: «*Аминь, аминь*».

– *Аминь*.

— Да позволит нам Аллах свидеться вновь.

— Да, *хоойо*. — Он отдернул трубку от уха и с виноватым видом передал ее телефонисту.

— А теперь — на вокзал. — Ласково взяв за плечо, Биби Захра повела его на белый солнечный свет.

Сидя на деревянной скамье первой платформы центрального вокзала в ожидании поезда,

уезжать на котором он не хотел, Махмуд вяло ковырялся в пакете с *чаатом*, только что купленным у индийца. Его красная тележка скрипела, катаясь туда-сюда по платформе, и составляла Махмуду компанию больше часа, а теперь остановилась.

Торговец потянулся и, жалуясь на хинди, принялся давить большими пальцами на позвоночник.

— Бедняки до смерти не ведают отдыха, *на*? — сказал он Махмуду на суахили, грустно качая головой.

Махмуд пожал плечами; наотдыхался он достаточно.

— Опаздывает поезд на Арушу? — продолжал индиец, явно желая дать языку отдых от бесконечных повторов мантры «один пакет *чаата* — пять центов, три пакета *чаата* — десять центов».

— Не знаю, наверное. Должен был прийти полчаса назад. — Махмуд раскинул руки по спинке скамьи, воплощение истомы.

— Куда едешь?

— В Харгейсу.

Торговец высоко поднял брови.

— В Британский Сомалиленд? Далеко. — Он

ссыпал *чаат* с совочка на ладонь и отправил смесь риса со специями, орехами и чечевицей в рот. — Надо было тебе плыть на *дау*.

— Я и поплыву, из Момбасы.

— Деньги некуда девать?

— Не мне, женщине, которая купила мне билет.

— Такая *тааджира*, богачка?

— Мужья богачи, уже умерли.

— Повезло женщине.

— А куда идут другие поезда?

— В Мванзу, Табору, Кигому, Китаду, Тангу, Додому, Мпанду. Я вместе с другими прокладывал рельсы от Таборы до Мванзы давным-давно. Об этой железной дороге если я чего-то и не знаю, то совсем немного. Ты мог бы доехать до Танги, а там сесть на *дау*.

— А билет для всех мест годится?

— Дай-ка посмотрю.

Махмуд достал из кармана рубашки хлипкий желтый прямоугольник и развернул его.

Поднеся билет поближе к глазам, торговец изучил его до мелочей.

— Второй класс, да, по этому билету ты доедешь куда угодно в Танганьике.

Махмуд снова свернул билет и положил обрат-

но в карман, к десяти шиллингам, полученным от Амиры на дорогу.

— Тогда, наверное, поеду в Тангу.

— В любом случае — *сафар салама.*

– *Асанте.*

Отошедший со своей скрипучей тележкой индиец заронил идею в голову Махмуда. Нет никакой необходимости делать то, что ему велели; ему незачем ехать ни домой, ни вообще на север. Что его ждет в Харгейсе? Слезное воссоединение с матерью, за которым вскоре последует наказание, обыденная работа в семейной лавке, долгое ожидание, когда один за другим женятся его братья, прежде чем придет его очередь. Ему хотелось увидеть больше красоты, больше незнакомых мест, животных и женщин. Хотелось увидеть дворцы, огромные корабли, горы, огнепоклонников и девчонок с огненными волосами. При мысли о Харгейсе ему вспоминались пыльные бури, царапающие глаза и рвущие одежду, щелкающие четками-*тасбих* старейшины, которые называли все новое делом *шайдаана*, нескончаемые переговоры между кланами из-за земли, женщин и колодцев. Это было место для стариков, а не для тех, кто лишь начинал жить.

Услышав гулкий свисток поезда, готовящегося

отойти от другой платформы, Махмуд схватил свой узелок с одеждой и бросился по мосту к сияющему черному паровозу.

— Куда решил, парень? — крикнул довольный торговец.

Густые клубы дыма из приземистой трубы скрыли все знаки, указывающие, куда может направляться этот поезд.

Махмуд обернулся и вскинул руки вверх, прежде чем взобраться по крутым деревянным ступенькам в вагон.

— Только Аллах знает!

Разъяренным быком взревел паровоз, застучали колеса, и, пока поезд увозил вагоны прочь от вокзала Дар-эс-Салама, Махмуда не покидало ощущение, что он отправляется на войну.

8. Сиддээд

— Ну, что говорят люди?

— Ты же знаешь, что они говорят.

— Что я сам виноват?

Берлин вскидывает голову, отворачивается, словно и спрашивать об этом не стоит.

— Неважно, что они думают. Что они *делают* — вот что считается.

— Не хочу, чтобы меня жалели. Если не хотят помочь — это их свободный выбор.

— Хватит, давай не будем об этом. Мы можем заплатить адвокатам — солиситору и барристеру. Мы потолковали с тремя барристерами и, кажется, нашли подходящего. Он представлял в суде того ублюдка, который в прошлом году убил Шея.

— Того ублюдка признали виновным.

— Он и *был* виновен! Важнее другое: повесили ли его? — резким тоном спрашивает Берлин, теряя терпение.

— Оставляю это тебе, я ведь мало что могу сказать отсюда, так?

— Да. Во всяком случае, твое дело может не

зайти дальше первых слушаний.

– *Иншаллах*, скоро все мы избавимся от этой обузы. Передай людям, что я ценю их помощь, честно.

От таких сантиментов Берлин отмахивается обеими руками.

— А как там вообще дела? — Махмуд улыбается, вглядываясь в лицо Берлина в поисках хоть каких-то намеков на то, что думают о его положении другие моряки.

— Ко мне в кафе приходила петь девчонка-метиска, одетая как мальчишка, в картузе, плоская и сверху, и снизу, тоже как парень, но поет так, что того и гляди стены снесет.

— Как зовут?

— Бэсси, Ширли Бэсси. Хорошие деньги за вечер заработала, картуз ей наполнили до краев. Ее отец — тот самый нигериец, который вляпался в неприятности с малолеткой, но его дочери и без него вроде неплохо. Коммунист Дуаллех в Лондоне, встречается со своей единомышленницей Сильвией Панкхёрст. Хайле Селассие пригласил ее пожить в Аддис-Абебу.

– *Йа салам*, Дуаллех хочет уговорить ее остаться?

— Вроде бы да. Чокнутый Тахир исчез, говорят,

видели, как он подписывал бумаги, устраивался на судно в конторе по найму.

— Должно быть, перестал слышать те голоса в голове.

— Или удирает от чего-то или от кого-то. С ним ведь не разберешь.

— Ну, удачи ему.

— Он мне говорил, что был в той лавке вечером, когда убили женщину.

— А полиции он сказал? — спрашивает Махмуд, опуская закинутые за голову руки.

— Наверное. Он боялся, но я объяснил, что он должен обязательно сказать им.

— Он видел там что-нибудь?

— Мне было интереснее спросить, что он там делал.

Махмуд приближает лицо к лицу Берлина:

— И что он ответил?

— Купил два куска мыла и ушел встречаться с одной девчонкой в арабское кафе. Позвонил в дверь, сделал покупки и провел там не больше минуты, как он говорит. Может, в него и вселился *джинн*, но я никогда не слышал, чтобы он хоть кого-нибудь обидел, особенно из-за денег. Видел ведь, как он живет?

— В таком случае он наверняка и есть тот сома-

лиец, которого они видели, как говорят.

— Не знаю, а он сказал, что после него зашел другой сомалиец. Высокий, темный и молодой, ему незнакомый. Я вот тоже уже со счета сбился с этими новыми сомалийцами.

— Когда он вернется?

— А я почем знаю?

— Чтоб его! — Махмуд бьет кулаком об стол.

— Полиция не перестает расспрашивать про тебя — носил ли ты бритву, угрожал ли кому-нибудь. Имя Тахира даже не мелькает.

Махмуд недоверчиво смеется и качает головой.

— Как бы мне отвязаться от этих чертей?

— Дело плохо, Махмуд. Твое фото показывают людям в доках и спрашивают: «Вы не видели этого человека поблизости от лавки Волацки в ночь убийства?»

— Да они при дневном свете нас не различают! Откуда им знать, кого они видели в такой тайфун?

— Не забывай про вознаграждение, от которого зрение обостряется у каждого.

— Иногда я просыпаюсь и не могу понять, где я, в какой постели, комнате, в какой стране. Мне кажется, что я плыву далеко в море, в промежут-

ке между вахтами. Странное, очень странное чувство. Слышу, как тюремщики по ночам ходят мимо моей камеры, смотрят, как я лежу на койке, а мне кажется, что это моя мать заглядывает проведать меня и надо лежать с закрытыми глазами. Вот я и задумался про Тахира, понимаешь? Как иногда он так потрясенно смотрел на собственные руки, словно не мог поверить, что они принадлежат ему. Теперь-то я понимаю, как сходят с ума. Открываешь дверь у себя в уме и просто шагаешь в нее. Легко.

— Ты в своем уме. Иногда я видел тебя на взводе, но ты всегда держался. Вот и сейчас не дай себе сорваться. На нас постоянно нападают, но ты не расставайся с *варан* и *гаашаан*, с копьем и щитом, держи их вот так… — Берлин делает вид, будто крепко сжимает копье и щит в руках. — Будь начеку, *сахиб*, будь начеку.

Врач занудным голосом зачитывает инструкции с черно-белых бланков. Махмуд вяло заканчивает первые два раздела теста на интеллект. Это простая полоса препятствий, ряд цифр, фигур и игр со словами, но его мысли витают далеко. Обводя кружочками ответы, которые он считает заведомо верными, он дивится, как незаметно пролетел в тюрьме месяц. «Тебя повесят, неваж-

но, ты это сделал или нет». Ему отчетливо и ясно слышатся слова Пауэлла, и если раньше он воспринимал их как проявление высокомерия и досады человека, привыкшего давить авторитетом, то теперь понимает их как искреннюю угрозу.

Врач заглядывает ему через плечо, смотрит на ответы и вскидывает брови. Махмуд подумывал наделать ошибок и провалить тест, чтобы они поверили, будто им попался недоумок, но в конце концов самолюбие победило.

До этого разговор между ними зашел о сумасшествии; врач ходил вокруг да около, пока наконец не спросил Махмуда, не мог бы он дать определение безумию. Конечно, мог бы. Человек безумен, когда он не знает, что делает, или не в состоянии отличить правильное от неправильного. Так считали в судах, и он соглашался с этим простым определением. И ни словом не упомянул ни о вселяющемся *джинне*, ни о проклятиях, ни о безумии, которое словно просачивается в людей, когда те находятся в море или в пустыне. Врач хотел узнать, годится он для суда или нет, для того и вел эти разговоры, но, если у него и был шанс обманом убедить парня в белом халате, будто он не годится, этим шансом Махмуд так и не вос-

пользовался. Он мог притвориться глупым, мог притвориться сумасшедшим, но зачем доходить до такого, если ему известно, что он невиновен? Все, что он может, — довериться Всезнающему, Всесильному. С тех пор как его навестил Берлин, он не пропускал ни одной из пяти ежедневных молитв. Старался поярче зажечь аварийный маяк, чтобы тот светил Богу сквозь низкий бетонный потолок. «*Ибад баади, спаси меня, анкадхани, мудже бачао, униокоэ*», — нараспев повторяет он после поклонов, умоляя на всех известных ему языках.

Комната отдыха напоминает Махмуду биржу труда: люди бродят по застланному обесцвеченным линолеумом полу, шаркая ногами, ищут место, где присесть, или стоят без дела. Врач заверил, что его пребывание среди заключенных не представляет никакого риска для его детей, поэтому он выбрался из своей затхлой и унылой камеры. Его колени потрескивают и ноют, пока он вышагивает по ярко освещенной комнате. С неловкой улыбкой он видит, как его меряют взглядами, как тестостерон заряжает глаза окружающих электричеством. Во всем помещении цветной только один, если не считать самого Махмуда, — склонил голову над сложной голово-

ломкой, и Махмуд инстинктивно направляется к нему. Это старый выходец из Западной Африки, с двумя короткими шрамами на лбу и высокими острыми скулами. Он не поднимает головы, пока Махмуд ставит рядом свободный металлический стул, только что-то бормочет, медленно передвигая по столу детали головоломки.

— Помочь тебе? — спрашивает Махмуд, замечая седые завитки в волосах незнакомца и его дрожащие руки.

Молчание.

— Вот возьми эту, она сюда встанет… — Махмуд пытается пристроить деревянную деталь в промежуток между деревом и небом.

— Отвали, парень! Просто отвали! — Незнакомец колотит ладонью по столу, пока от собранной части картинки не остается кучка деталей, похожих на гальку.

— Что, нарвался? — хмыкает белобрысый коротышка, сидящий за ними. — Лучше не лезь к дяде Самсону с его головоломкой, это же труд всей его жизни.

Махмуд встает, смущенный тем, что подошел прямиком к безумцу.

— Двигай стул сюда, приятель. Он не прочь побыть один.

Приняв приглашение, Махмуд перемещается за стол англичанина. На нем разложены доска и шашки.

— Арчи Лоусон, эсквайр. — Англичанин протягивает тонкую бледную руку.

— Маттан, Махмуд, — отвечает он и обменивается с новым знакомым крепким рукопожатием.

— Ты, значит, местный?

— Нет. Да. Живу в Адамсдауне.

— Совсем рядом, рукой подать. А я так из дальних, очень дальних краев. О моем рождении возвестили колокола Сент-Мэри-ле-Боу.

— Лондонец?

— Сразу угадал. Кокни по рождению и натуре.

— Я жил в Лондоне в прошлом году, в Ист-Энде. Трафальгарская площадь, Пикадилли — слишком суматошно для меня.

— Старина, мне тоже осточертел Большой Дым, и хотя Сэмюэл Джонсон говорил: «Если устал от Лондона, значит, устал от жизни», но я им сыт вот покуда. — Он чиркает ребром ладони по своей шее, продолжая расставлять шашки аккуратными рядами по обе стороны доски. — А сейчас у меня королевское турне по тюрьмам ее величества, я мог бы путеводитель по ним написать, только попроси. Харчи в Пентонвилле

оставляют желать много лучшего, полы лизать — и то будет вкуснее, а уж спортивные снаряды! Полное безобразие, да, *безобразие*.

Махмуд усмехается, но его собеседник говорит так быстро и на разные голоса, так что он с трудом улавливает смысл.

— Тюремная еда не еда, — наконец соглашается он.

— А тебя за что?

— Ни за что. Закрыли меня здесь ни за что.

— Зря жалуешься, тебе днем хотя бы чай с кексом дают.

Под рукавом белой рубашки Арчи Махмуд видит у него на руке грубую повязку.

— Играть умеешь? — спрашивает Арчи, указывая подбородком на доску.

— Само собой, в море все играют в шашки.

— Ну, тогда не будем тянуть резину.

— Сколько всего у меня в руках?

— Два и шесть.

— Правильно, а сейчас? — Врач поворачивает сжатые кулаки, быстро разжимает и снова сжимает пальцы, так что на ладони успевает сверкнуть горстка золотых, серебряных и медных монеток.

— Один флорин, трехпенсовик и два фартинга.

— Ваша память в самом деле поразительна, мистер Маттан.

— У всех в моем народе такая, я же говорил, мы у себя в стране держим лавку, так вот считать деньги я учусь раньше, чем еще что-нибудь.

В игры на запоминание они играют последние десять минут; проводить время таким образом забавно, но от этого возникшее у него чувство, что он регрессирует, только усиливается. От головоломок, книжек с картинками, настольных игр и тестов врача ему кажется, что он вернулся в детство, и самым ярким моментом за весь день становятся четыре часа дня, когда кухонные работники привозят тележку с совершенно одинаковыми ломтями кекса. Бисквитного с джемом, фруктового, с орехами и пряностями, овсяного — ему все равно, что привезли, он жаждет только ощутить, как тает на языке сахар, отчасти избавляя его от сального и мясного послевкусия тюремных обедов.

— Как вы оцениваете рассмотрение вашего дела? — спрашивает врач, составляя монеты в столбики на койке.

— Со своим барристером я все еще не вижусь, — Махмуд садится глубже на койку, прислоняется спиной к холодной кирпичной стене, — а слуша-

ния все ближе. Ему платят мои соотечественники, мне-то никакой паршивый законный представитель не нужен. Начинаются слушания, и вся эта история идет к концу, я выхожу на улицу свободным человеком.

— Вы настроены оптимистично.

— Оптимистично? В смысле весело? Да, я веселый, я уповаю на Бога, а он не допускает, чтобы пострадал невиновный. Знаете, однажды я смотрю кино, ковбойское. Я смотрю все вестерны, какие крутят в местном клоповнике. Мне нравится, как в этих фильмах каждый человек сам себе хозяин, а пустыни и горы напоминают мою родину. Так вот, в этом кино, забыл название, одного человека, который недавно в городе, обвиняют в убийстве старушки, и маршал, настоящий мерзавец, ненавидит его и желает ему смерти. Человек из салуна говорит, что все видел, мальчишка из конюшни говорит, что видел чужака всего в крови, шлюхи говорят, что он приходил к ним с деньгами, но постепенно они убивают друг друга, а чужак доказывает, что они врут, и его выпускают на свободу, а потом маршала забирают, чтобы наказать.

— Вы видите какое-то сходство своего положения с этим диким и невнятным сюжетом?

— Вижу, вижу, — кивает Махмуд. — Он показывает, как правда убивает ложь.

— Как добро побеждает зло?

— Верно, вы меня понимаете.

— Ну, об этом говорит нам Библия.

— Ваша книга и моя книга — они вот такие. — Махмуд складывает вместе свои указательные пальцы. — У нас один Бог, и пророки — Муса, Ибрахим, Иса, и дьявол.

— Можно сказать, что все авраамические религии выкроены из одной и той же ткани, но принципиальное различие в том, что наш Господь — воплощение любви и всепрощения. Он умер за грехи всего человечества, и ваши, и мои. А Бог евреев, и поправьте меня, если я ошибаюсь, но и Бог магометан мстителен, как рабовладелец, а не отец.

— Нет, кто вам сказал такое? Ваш Бог умирает. Для Бога это невозможно — умереть. Хотите сказать, что на одну минуту, на пять, на час вашего Бога нельзя было увидеть, услышать или что-нибудь понять? Должно быть, на самом деле у вас два Бога, один — чтобы умереть, другой — чтобы вернуть его к жизни. А мой Бог один. Он всесильный, но вместе с тем всепрощающий. Можно позвать Аллаха по имени в ту же минуту,

когда поймешь, что тебе конец, и он отмоет тебя дочиста, как человеческого первенца, если ты в самом деле чист душой, в *ниядаада*, тогда он все тебе простит.

— Это обнадеживает. — Врач улыбается, пытаясь закруглить этот разговор.

Махмуд смеется:

— Смешные эти христиане. Если ваш Господь умирает за все наши грехи, почему тогда у вас есть тюрьмы?

— Это вопрос для человека, более склонного к философствованию, чем я.

От жесткой дощатой койки спине Махмуда один вред, иногда ему приходится вставать среди ночи и вышагивать туда-сюда, так что ночные надзиратели рывком распахивают окошко в двери и рявкают: «Ты в порядке, приятель?» А он не в порядке. Боль гуляет вверх-вниз по позвоночнику, гнездится между лопатками и уже в следующую минуту толкается в копчике. Порой он часами не может встать. Этим утром офицер медицинской службы дал ему две таблетки парацетамола, принять вместе с завтраком, но совершать земные поклоны во время молитвы *фаджр* все равно трудно. Кланяясь во время второго *ракаата*, он услышал гулкий металлический

звук, такой громкий, что от неожиданности аж вздрогнул, и даже бетонный пол слегка содрогнулся. А после молитвы вдруг понял, что колокол в церкви этим утром не звонил, как обычно, нарушив заведенный порядок.

Теперь он переодевается из тонкой пижамы в тюремную форму и старательно приглаживает волосы. Когда он выходит размяться с утра, другие заключенные из тюремной больницы уже сбились в кучку, все два десятка в белых рубашках, парусящихся на ветру. Приятное утро, солнце согревает Махмуду лицо, приукрашивает внешность остальных — смягчает, делает моложе. Особенно Арчи сегодня выглядит как подросток, редкая рыжеватая щетина у него на подбородке отливает медью, большие глаза стреляют взглядом по сторонам.

— Его тело пришлось везти на кремацию, ведь он же сикх и все такое, и они должны были поступить с ним как полагается.

— Ага, так и надо, — соглашается старый шотландец Фрэнк, с узловатыми артритными пальцами. — Черт знает сколько шуму было, да? Я уж думал, потолок не выдержит.

— Врата ада — а что, нет, что ли?

— Вы про Сингха говорите? — спрашивает

Махмуд, мысленно возвращаясь к нарушенной молитве.

— А как же, покойный мастер Сингх из Бриджента покинул наше тюремное братство.

— Все-таки сделали, — говорит Махмуд почти самому себе. Он оглядывается по сторонам — на плющ с восковыми листьями, взбирающийся по трещинам кирпичной стены, на высокие трубы и тонкие струйки дыма над ними, на заключенных с тяпками и тачками, работающих в саду тюремного начальства: всюду такое благолепие. Здесь час назад убили человека, думает он, такого же, как я, который тоже носил такую форму, и, наверное, у него в желудке, когда ему накинули на шею петлю, еще оставалась после завтрака та же пересоленная овсянка.

— А кому выпала честь, Арчи? — спрашивает парень с повязкой на глазу. — Капеллан говорил, что меня могут перевести в другое крыло, если я хочу, но мне вообще без разницы. Он хладнокровно убил ту девчонку, сказал я, мои аплодисменты.

Самсон мнется на периферии небольшой толпы, повернувшись к Арчи одним ухом, чтобы лучше слышать.

— Пирпойнт это был, всегда эта сволочь Пир-

пойнт, игру в виселицу он оставляет себе. Думаю, помогал ему Аллен, но за это не поручусь.

Махмуд толкает Арчи локтем, привлекая его внимание:

— Что с ним сделают дальше?

— Привезут пепел обратно и похоронят вместе с остальными. Рассказывать об этом не полагается, — он жестом манит остальных обступить его плотнее, — но все они под овощными грядками. Так что, ребята, мы едим картошку и зелень, которые выросли на компосте из заключенных. — И он взрывается хохотом.

— Врешь, — хмурится Махмуд.

— Черта с два! Ночные надзиратели все наперечет мои дружбаны, я развлекаю их болтовней, чтобы не клевали носом на рабочем месте. О чем они мне только не рассказывают… вроде Призрака Лестера.

С дружным стоном тесный кружок начинает распадаться.

— Да вы дослушайте меня, дослушайте — знаете ведь, что я никогда не сплю, да? Так вот, можете мне поверить: пока вы все храпите, как бесчувственные твари, я слышу его — он был старым кочегаром, чернокожим, — он кивает Махмуду, — и я слышу, как он орудует лопатой,

как стучит в трубах, будто они прогреваются, но если потрогать их, они холодные, как ведьмина сиська.

— Ох уж эти мне твои байки кокни, — кряхтит Фрэнк, вокруг глаз которого разбегаются веселые морщины.

— Найди мне Библию, и я поклянусь на ней, спроси любого старожила или старшего надзирателя Ричардсона — его отец как раз был на дежурстве у камеры смертников, когда за ним пришли. В двадцать каком-то году. К петле его несли на стуле, потому что левую сторону у дурня парализовало, когда он сначала снес башку своей девчонке, а потом сам хотел застрелиться, да оказалось, что он косорукий. Матрос с Ямайки, вот кто он был, старик Лестер, только умер он еще молодым и в маразм впал уже как призрак, ходит сквозь стены, будто они из паутины. Вы прислушайтесь ночью и услышите его, точно вам говорю.

Парень с повязкой на глазу уже побледнел. Остальные с удовольствием наблюдают за его испугом, насмешливо переглядываются, сворачивая самокрутки и передавая один другому коробок спичек.

— Что-то ты позеленел, Дикки, — конъюнкти-

вит замучил?

— Да нет, я в порядке, только надо спросить одну вещь кое у кого. — Он поспешно улепетывает в здание, опустив голову.

— Ага, беги к няньке, — зубоскалит Арчи.

— Кочегаром? — повторяет Махмуд.

— Так мне говорили. — Арчи сводит глаза к переносице, выпуская дымные кольца толстыми влажными губами.

— И его принесли на стуле?

— Усердие охраны достойно восхищения, никакой работы не чураются, даже самой грязной. Надеюсь, он им хотя бы поясницу потянул или ноги обмочил — хочется же как-нибудь отомстить, верно?

9. Сагаал

— Гнусная старая кошелка!

— Она что, правда гналась за твоей матерью? — Махмуд резко выпускает струю дыма поверх головы Омара. Ладонь он держит на круглом животике сына, пока тот вертит руки дешевого деревянного робота, сидя на отцовских коленях.

— Уж можешь мне поверить, бросилась за нами, когда мы выходили от магистрата. Мы и десяти шагов не прошли, как вдруг она схватила маму за руку и оттащила в сторону.

— Скажи еще раз, что она говорила.

— Она сказала: «Если вы скажете суду, что видели у него пачку наличных, мы можем поделить вознаграждение поровну». Вот бесстыжая.

— А что твоя мама?

— А ты как думаешь? Послала ее подальше! Тогда мерзавка совсем разошлась: «Что же это за мать такая, если позволила дочери выйти за черного?» — а потом и говорит, что мы с тобой вдвоем будто бы приходили к ней в лавку еще давно — угрожать ей! Ну, это мама даже слушать не стала, мы же в то время были в чертовом Халле.

Она и оттолкнула ее, и на слова не поскупилась.

Махмуд невольно улыбается:

— Подрались?

— Почти, их судебные приставы растащили, но мама заявила на нее в полицию за всю эту клевету. Не знаю, что будет, если они снова встретятся или, если уж на то пошло, если я ее увижу.

— Только руки не распускай, Уильямс, еще не хватало нам обоим угодить за решетку.

— Ничего не могу обещать, клянусь, у меня от нее кровь закипает. — Лора багровеет даже сейчас, рассказывая о случившемся, на шее проявляются пятна и полосы там, где она, забывшись, водила ногтями по коже.

— Я видел ее на слушаниях — таких только на Дэвис-стрит и встретишь, по виду у нее из костей будто высосали мозг.

— Вампирша, настоящая вампирша.

Махмуд переводит взгляд на Омара, стряхивает с его лица крошки печенья, дотягивается до руки Лоры, лежащей на столе, и мягко пожимает ее.

— Перед тем как ты пришла, я говорил с солиситором.

— И что он сказал?

Встреча оставила у Махмуда чувство неудовлетворенности; сначала ему пришлось несколько

недель ждать, когда они наконец выработают стратегию, чтобы ему выкрутиться, а солиситор, похоже, сдался заранее. Он зачитал список свидетелей обвинения — больше тридцати. Махмуд узнал только четыре имени. Док и Манди, конечно, подпевали полиции, как и Билла Хан и человек с ипподрома. Остальные — или случайные люди, вроде того предубежденного старика-лавочника, или осведомители, или, должно быть, на них надавили, чтобы они сказали хоть что-нибудь, потому что полиции есть чем их шантажировать. Солиситор также сообщил, что полицейские эксперты нашли следы крови на его обуви — настолько мелкие, что искать их понадобилось с помощью микроскопа. Говорят, кровь человеческая. Эти ботинки он купил в качестве одолжения у матери Лоры. Ее брат нашел их на свалке, и, поскольку ее мужу или сыновьям они не подошли, она спешила сбыть их с рук и получить за них хоть какие-то деньги. Бог знает, где эти ботинки побывали и сколько народу носило их до него, *маалеш*, неважно, сейчас с этим уже ничего не поделаешь.

Сколько ни твердил Махмуд, что хочет дать показания на слушаниях, солиситор не согласился, сказав, что этим он выдаст линию их защиты об-

винению. Лучше держать карты поближе к себе, как в покере? Так Махмуд и спросил, как следует все обдумав. «Правильно», — сказал солиситор, но *правильным* это решение не выглядело. Если бы они слышали его, слышали правдивость в его голосе, его бы отпустили. О полиции он невысокого мнения, но в судах к нему всегда относились справедливо. В тот раз, когда его ошибочно обвинили в краже одежды и денег с одного корабля в доках Бэя, суд отверг все обвинения. И в тот раз в Лондоне, когда он поспорил с человеком из клана Варсангели из-за денег и его обвинили в вымогательстве с угрозами и отправили в Олд-Бейли, там поверили ему, а не вору и отпустили. Вот это и есть знаменитое британское правосудие. Надо иметь законные доказательства, или игра окончена: никаких там «мне кажется», «я слышал», «полагаю» и прочей чепухи.

— Что он сказал? — повторяет Лора, сжимая его указательный палец.

— Сказал, что у них нет веских доказательств против меня, но мне лучше дождаться суда, там все и рассказать.

Ее плечи никнут.

— Дождаться суда? Но ведь может пройти целая вечность. Мне надоело здесь, Муди, я… — ее

голос срывается, она не может выговорить то, что собиралась.

Махмуд подносит к губам ее руку и целует.

— Знаю, моя женщина, знаю. Мне тоже надоело. Я заперт в клетке, а хочу быть дома с тобой. Когда я выйду, мы будем жить вместе, да?

Она с силой проводит хлопковым платком по векам и кивает, не глядя на него.

— Из моей камеры я вижу задние дворы с твоей стороны улицы. Как насчет того, чтобы в пятницу вы с мальчишками стоите во дворе, а я смотрю на вас?

— Вот еще выдумал. — Она смеется, а слезы еще не высохли.

— Ну и пусть, я хочу вас видеть.

— В какое время?

— Ровно в полдень.

— Я буду на месте. Смотри не обмани.

— Ни за что. — Махмуд смеется, берет ее за обе руки и гладит, поднимаясь вверх к локтям, насколько позволяют рукава.

В первый же день слушаний Махмуда спросили, что он может сказать по поводу обвинений в убийстве. Вскинув руки ладонями вперед, он спокойно отвечает:

— Могу сказать только одно: я невиновен.

Тем не менее свидетели продолжают прибывать, будто их вытаскивают драгой со дна канала Гламорганшир и плюхают на пол в зале суда: толстые, худые, черные, белые, коричневые, богатеи и бродяги, чужаки и знакомые. Каждое появление будто вонзает нож ему в спину.

«Видел я у него бритву, а как же», — говорит один нигериец. «Он угрожал моему соседу ножом», — заявляет какая-то домохозяйка. Полиция так и не нашла ни орудия убийства, ни денег, поэтому с помощью подставных свидетелей старается разрушить его репутацию, выставить его человеком, способным на все. «Матерый преступник» — так называют его в новостях. Входящим в ту лавку вечером шестого марта его видело столько народу, что он уже почти верит, будто входил туда. Среди них есть вестиндиец, валлиец, араб, мальтиец, индиец, еврей — его обвиняет чуть ли не вся Лига Наций. А ему остается лишь торчать на скамье подсудимых и сжимать губы, пока его имя смешивают с грязью и битым стеклом. В чью постель он нагадил, если они так поступают с ним? Однако никто из сомалийцев еще не выступал в качестве свидетелей — ни со стороны обвинения, ни от защиты, и он этому рад, иначе весь этот долбаный цирк выглядел бы

чертовски реальным.

Его барристер, рослый и краснолицый титан, наблюдает за происходящим непроницаемыми серыми глазами. Они еще ни словом не перебросились, но этот человек держит в руках жизнь Махмуда, и теперь Махмуд начинает это понимать. С каждым новым свидетелем, поднимающимся на трибуну, он все ниже оценивает собственные силы. Его барристер Рис-Робертс похож на валун от той же самой бледной скалы, что и магистрат, и обвинитель; этот гранит обтесали в чуждых Махмуду дортуарах частных школ или, возможно, армейских казарм. Все эти люди — джентльмены с печатками и перешедшими к ним по наследству часами, они говорят на языке, далеком от его английского машинных отделений, заводов, каменоломен, уличных драк и постельной болтовни. Они мямлят и спешат покончить со слушаниями, порядок которых хорошо знаком им, в отличие от него. Вопросы о нем, подзащитном, задают и тут же отвечают на них, прежде чем он успевает их осмыслить.

Когда Махмуд был переводчиком в суде два года назад, для одного из братьев Абди, который отомстил Шею за то, то тот украл их сбережения, это дело показалось ему простым. Знай

себе переделывай замысловатый английский в прямой и понятный сомали, а потом втискивай ответ в рамки простого английского. Тогда он мог позволить себе выбирать суть, а остальное отбрасывать, но не теперь. Теперь, когда он рискует собственной свободой, ему необходимо учитывать каждое различие. Когда патологоанатом сказал «контузионная травма», он имел в виду ушиб? А когда «геморрагия» — какое-то особенное кровотечение или самое обычное? Женщину убили, напав на нее сзади, это он понял, как и то, что она умерла от глубокой раны на шее, а еще три раны, поменьше, окружали ее. Стоит ему хоть что-то сообразить, как они уже переходят на другую частоту, как ненастроенный приемник, пускаются в университетские разговоры, из которых ему понятны лишь некоторые слова. Они считают человека глупым только потому, что он говорит с акцентом, а ему хочется закричать: «Я сам выучил пять языков, я знаю, как сказать «отвали» на хинди и «люби меня» на суахили, так дайте же мне шанс и говорите по-простому».

Иногда он ловит себя на том, что невольно улыбается, дивясь и не веря своим ушам: чего только о нем не рассказывают, во что только его не одевают свидетели. Кому придет в голову

надеть белые поварские брюки с темно-синим кителем, как у пилота? На лицо ему лепят усы, которых он не носит, и золотые зубы. Прибавляют к его росту дюймы, которых ему не хватает. Они создают человека — нет, чудовище Франкенштейна — и клеймят это чудовище его, Махмуда, именем, прежде чем отпустить на волю. Стоя с поникшими плечами в зале суда, в Кардиффе, в Биляд аль-Уэльс, он ощущает их ложь, будто в него летят стрелы. Они слепы и не видят Махмуда Хуссейна Маттана во всех его истинных проявлениях: неутомимого кочегара, виртуоза игры в покер, элегантного странника, изголодавшегося по любви мужа и нежного отца.

Дело передается в суд. Дело передается в суд. Дело. Передается. В. Суд. Все кончено, слушания прошли, ложь никуда не делась. Полиция хорошо постаралась, чтобы упечь его. Теперь ему понадобится беречь силы для судебных разбирательств, когда он даст показания, что бы там ни говорил чертов юрист. Суть в том, что он невиновен. «Истина сделает вас свободными». Он так часто слышал, как местные твердят эти слова, будто научились им в церкви.

Встав на койку, вытянувшись на цыпочках с краю на матрасе, отчего свободные шерстяные

носки съезжают с его ступней, Махмуд поворачивает голову над пыльным подоконником так, чтобы лучше видеть дворы за домами на Дэвис-стрит. Он отсчитывает дома по нечетной стороне, пока не замечает знакомый хлам, выброшенный семьей Уильямс на заросший бурьяном двор. Ржавый трехколесный велосипед валяется перевернутым, а рядом — старомодная коляска с большими серебристыми колесами и выцинявшим на солнце складным верхом, разбитая раковина — хлам из дома, где с трудом расстаются даже с вещами, имеющими весьма условную ценность. «Да починю я их, починю», — обещал отец Лоры Эван, пожевывая свою пластмассовую трубку. «Я куплю тебе новый», — уверял Махмуд, но все так и осталось нечиненым и не обретшим замены. Деньги приходили к ним и так же уходили, как приливная волна. Он цепляется за подоконник, стараясь встать поустойчивее, в шее нарастает боль, изогнутое тело повисает в воздухе, как вопросительный знак, а сам вопрос — «неужели она забыла?».

Махмуд ждет, проходит минута, другая, он ерзает, переставляет ноги, радуясь, что не видит злополучную камеру и что там, снаружи, все еще существует мир. Четыре металлических прута

на окна помогают сфокусироваться на простых подробностях жизни и придают им красоту. Автомобили, фургоны и грузовики сигналят и раздраженно лавируют между молочными тележками и запряженными лошадьми повозок на Адам-стрит. Черные и белые песчинки, вороны и чайки, кружат в небе, высматривают оброненный ломтик картошки или хлебные крошки. Рыжий кот мягко ступает вдоль садовой стены, все его внимание приковано к невидимой цели. Женщина с крепкими руками и волосами, убранными под сетку, резко хлопает мокрой простыней, встряхивая ее, затем прихватывает к бельевой веревке деревянными прищепками, которые достает из широкого кармана передника.

Она там, ну конечно, там — держит Мервина на бедре, ветер развевает из стороны в сторону ее коротко стриженные волосы. Двое старших мальчишек выходят из кухонной двери следом за матерью — Дэвид в коротких штанишках шагает вперед, Омар жмется к ногам Лоры и капризно тянет ее за юбку из шотландки. Она указывает на тюрьму, Махмуд выхватывает из кармана носовой платок и изо всех сил машет им в окно. Лицо Лоры слишком далеко, не разглядеть как следует, но он умудряется увидеть тот момент, когда она

замечает платок и наклоняется, чтобы повернуть голову Дэвида в нужную сторону. Омар замечает отца без ее помощи и начинает скакать на месте, хватается за живот, отступает в ликовании. Они машут, он машет, они машут пуще прежнего, он машет так, что аж руке больно. Ему хочется что-нибудь крикнуть им, но это бесполезно, отсюда его голос не долетит. Мелькание белого платка — вот и все, что ему остается. Ему вспоминаются моменты, когда пассажирское судно вот-вот покинет порт и все пассажиры на палубах первого, второго и третьего классов машут провожающим, которые остались на причале. Пока штурман выводит корабль в море, с обеих сторон мелькают платки, словно падающий снег, и исчезают они лишь спустя долгое время после того, как судно перестает давать гудок и удаляется в море настолько, что кажется совсем крошечным корабликом, который можно поместить в бутылку.

Лора целует свою ладонь и сдувает в его сторону воображаемый поцелуй, он ловит его в кулак и крепко припечатывает к своим обветренным губам. Однажды она сказала ему, что он самое лучшее, что с ней случилось в жизни. Самое лучшее. С ним она чувствовала себя королевой, так она говорила. Она и была королевой, его вал-

лийской *бокорад*, без шуток. Ее тело, ее сердце, ее мысли было нелегко отделить от его собственных, а Дэвида, Омара и Мервина — еще меньше. Их коротенькие пухлые ручонки опускаются все ниже, но они продолжают махать сразу же, как только испытывают новые приливы энергии. Как все это выглядит для них? Приземистая, грязная, серо-бурая скорлупа тюрьмы, усеянная десятками зарешеченных окон размерами с дверцу кроличьей клетки; их отца не видно, если не считать черной руки, машущей белым флажком. Лора слышала, как Дэвид объяснял Омару и Мервину, что папу держат как узника в замке и что гадкий шериф не выпустит его оттуда, пока он не заплатит налоги. С помощью комиксов, детских стишков и фантазии он восполнил пробелы в рассказах взрослых, однако понял главное — что его отец попал в беду, оказался во власти влиятельных людей.

Махмуд перестает махать, хочет, чтобы они ушли в дом, пока не озябли. Лора и мальчики медленно опускают руки и идут в дом. Махмуд провожает их взглядом, пока она наконец не закрывает кухонную дверь, и даже после этого он не покидает свой пост у окна, где ветер сушит его налитые слезами глаза. Будь мужчиной, вы-

говаривает он себе, держись, ты же месяцами не видел их, пока был в плаваниях, воспринимай это легко, смотри, как они близко. Здесь не хуже, чем на корабле, — у тебя своя койка, тебя кормят, и тебе незачем даже поддерживать огонь в топке. Не теряй головы, молись и не лей слезы, как треклятая женщина.

10. Тобан

Дайана ждет нового хозяина дома 203 по Бьют-стрит, мистера Вольфовица, возле опустошенного и выметенного помещения. Всего лишь «помещения» — теперь это уже не лавка и не дом. Ключи в связке, которую она держит в руке, по возрасту варьируются от огромных и ржавых, изготовленных в десятых годах двадцатого века, до маленьких блестящих, купленных в этом году. Среди них есть те, которыми Дайана никогда прежде не пользовалась. Вайолет любила все запирающееся; ее успокаивал сам поворот ключа и проверка один раз, другой, что замок в самом деле заперт. Где-то она вычитала, что в георгианские времена хозяин дома не ложился спать, не проверив и не заперев все ставни, двери и окна в доме, вот Вайолет, как «хозяин дома», и взяла эту обязанность на себя. Вдобавок она приносила в дом деньги, которые обеспечивали им всем комфортную жизнь, и теперь с ее кончиной и распродажей всего их имущества появилось маленькое состояние, чтобы Дайана и Мэгги поделили его. Их отец прибыл в Кардифф из Рос-

сии с жалкими пятью шиллингами в кармане, а теперь у Дайаны столько денег, что она понятия не имеет, как ими распорядиться. Вайолет была настолько скрытной в финансовых вопросах и держала их под таким строгим контролем, что Дайана даже не подозревала, как много ее сестра выручает благодаря осмотрительности в имущественных сделках, акциям и облигациям. Соседи уже вовсю сплетничают про их богатство, и Дайана гадает, как далеко могут зайти худшие из них, рассуждая о том, почему она не сумела спасти Вайолет от убийцы. Деньги и даже мысли о них, похоже, выявляют всю извращенность людской натуры.

— Извините, что заставил вас ждать, миссис Дайана, — подступает к ней мистер Вольфовиц, придерживая на голове черную *кипу*, чтобы не унес ветер.

— Ничего страшного, мистер Вольфовиц.

Он из пожилого поколения, его жидкая бородка цвета соли с перцем и поблескивающие блеклые глаза намекают на горести и злоключения, о каких она может лишь догадываться. Его акцент закрепился скорее в черте оседлости, чем в Вейл-оф-Гламорган.

— Мой сын уже идет, подождем две минутки,

пожалуйста. — Он улыбается, и отказать ему она не может, как не смогла бы своему отцу.

— Конечно.

С его сыном она вела переговоры по сделке, и он обращался с ней так, будто держал за дурочку.

Порывшись в кармане, мистер Вольфовиц достает жестяную коробочку твердых, похожих на драгоценности леденцов и с полупоклоном протягивает ей.

— Это очень любезно, но… — Она качает головой.

— Вы берите, берите! Станете еще слаще.

— А если я возьму для своей дочери? — предлагает она.

— Будьте так любезны.

Дайана робко берет леденец из жестянки, заворачивает в чистый платок и кладет в карман.

— А вот и он! — просияв, восклицает мистер Вольфовиц: его очкастый сын неторопливо вышагивает по Бьют-стрит с «Кодаком» новой модели на шее.

— Надеюсь, вы извините меня за ожидание, Дайана: у меня только что случились небольшие неполадки с машиной, — неубедительно оправдывается он.

— Ну, теперь вы здесь, — отзывается она, и

натянутая улыбка выявляет морщинки там, где когда-то на ее щеках были ямочки.

— Мы вас не задержим, просто мой отец хочет оставить память об этом дне — видите ли, это ведь самый большой магазин из всех, какие мы купили. Вы не могли бы?.. — спрашивает он и снимает фотоаппарат с шеи еще до того, как она успевает ответить. — Управляться с ним довольно просто, не обращайте внимания на все диски и кнопки, кроме верхней…

Дайана взглядом заставляет его замолчать, берет фотоаппарат и подносит к глазу.

Отец и сын встают перед черной входной дверью дома номер 203 и держат головы так, чтобы табличка с номером была отчетливо видна.

— Ключи! — спохватывается Вольфовиц-младший.

Дайана бросает ему связку, и он, не сумев поймать на лету, поднимает ее с тротуара.

Они снова принимают позу, оба продевают согнутые крючком указательные пальцы в большое кольцо связки, закладывают свободные руки за спину. Выглядят они как напыщенные эстрадные исполнители на афише в театре Лицеум: Бесподобные Вольфовицы, или Канторы из кантона.

Дайана делает один снимок, затем поворачива-

ет камеру, чтобы следующий снимок получился горизонтальным. Она нажимает кнопку, но сын выскакивает из кадра.

— Следите за пальцами, — он выхватывает у нее фотоаппарат, — добиться нужного фокуса трудно, это прямо убийство.

До него не сразу доходит, что он ляпнул и кому, вдобавок где и в какой момент, а когда доходит, он вспыхивает, его лицо становится густо-бордовым. И он раздраженно бормочет то, что Дайана решает счесть извинениями.

Его отец переводит взгляд с одного на другого, желая уладить ситуацию, но не находит слов.

Дайана не поднимает головы, не в силах поручиться сейчас за выражение своего лица. Что оно выражает — гнев? Боль? Стыд? Насмешку? Вообще ничего? Она испытывает все эти чувства разом, но разве это можно объяснить?

— Что ж, надеюсь, эта лавка принесет вам столько же радости, как и нам, — говорит она, поворачивается и идет в сторону полицейского участка. Только проходя мимо парикмахерской киприота, она вдруг понимает, что ее прощальные слова прозвучали как проклятие.

— Доедай, дорогая.

— В меня уже не лезет.

— Настолько, что даже для «никербокер глори»[14] места не найдется?

— Этого я не говорила. — Грейс улыбается.

— Ну-ну…

Грейс решительно накалывает на вилку молодую морковку. За соседними столиками парочки флиртуют, уплетая многослойные сэндвичи и ломти торта, а две пожилые женщины спорят из-за чести оплатить счет на два шиллинга.

Форма школы Хауэллс лежит в коробке под столом: голубой сарафан, темно-синий пиджак, белая блузка, чулки цвета хаки и старомодное нижнее белье. Обошлась она чересчур дорого, но, пока Грейс в примерочной поворачивалась так и сяк перед зеркалом, утонув узкими плечиками в пиджаке, у Дайаны немного отлегло от сердца. Она подыскала им небольшую квартирку неподалеку от школы, на цокольном этаже высокого викторианского дома рядовой застройки, с садом площадью в пол-акра. Хозяева недавно отремонтировали это жилье, и его стерильность привлекла Дайану: ни детских каракулей в потайных уголках, ни забытой обуви, ни волос в стоке, напоминающих, что это чей-то чужой дом,

---

[14] Примечания: 14

Десерт из мягкого мороженого, сливок, фруктов, безе и сиропов в высоком стакане с длинной ложкой. (*Прим. пер.*)

а ее — в трех милях отсюда, по другую сторону железнодорожного моста. Ранее в этот же день она показала квартиру Грейс, и девочка с напористым воодушевлением воспринимала все, что видела: окна с подъемными рамами — прелесть, маленькие черные камины — прелесть, новое красновато-коричневое ковровое покрытие — прелесть, а увитая глицинией беседка в саду — вообще чудо. Ребенок в ней исчез, упрямство и эгоизм выпали вместе с молочными зубами. Появлялся нежный бутон будущей женщины, темными глазами всматривающийся в лицо матери в поисках хоть какой-то подсказки о том, что надо говорить, делать, чувствовать. Бойко отбивающая чечетку Ширли Темпл превратилась в молчаливую инженю с киноэкрана, готовую отступить в тень. «Мы здесь все красиво устроим», — повторяла Дайана, но квартира казалась слишком чуждой и тихой, а улица снаружи — чересчур приличной и безжизненной. Никто не стучался в дверь, чтобы поздороваться, ночи проходили в жуткой тишине. Может, именно это им и нужно — импровизированный санаторий для исцеления.

О случившемся они никогда не говорили, однако его тяжкое присутствие всегда ощущалось

в их молчании и отрешенных взглядах. Грейс предстояло дать показания в суде. На этом настоял детектив Пауэлл, утверждая, что присяжным просто необходимо видеть ее на свидетельской трибуне. Спорить с ним было трудно, в конце концов у нее возникло желание угодить ему, вместо того чтобы потребовать то, за чем пришла, и у нее осталось чувство собственной приниженности и ценности одновременно. Пауэлл говорил, что их дело против того сомалийца подкреплено вескими доказательствами, многочисленными данными судебной экспертизы и множеством свидетелей со стороны обвинения, но им все равно нужно, чтобы Грейс сказала, что именно этого человека она видела в дверях. Он объяснил, что после сильного шока психика способна сыграть с людьми злые шутки, стирая одни воспоминания и делая другие кристально-ясными, и от них с Грейс требуется как следует постараться и вспомнить лицо преступника, потому что все улики указывают на этого сомалийца. Детектив снова показал ей фото подозреваемого и, пока Маттан скорбным взглядом смотрел на нее со стола, добавил, что у нее будет масса времени, чтобы припомнить увиденное, поскольку суд начнется не раньше, чем откроется выездная

сессия в Суонси.

Провожая ее из полицейского участка, он пожал ей руку:

— Если вам или вашей дочери что-нибудь понадобится от нас, дайте мне знать, капрал Танай. Я помню, как ваш отец приходил в полицию выправлять бумаги о натурализации, еще давно, в двадцатые годы. Ваша семья всегда была гордостью этого города. Очень надеюсь, что вам больше не придется обращаться к нам за помощью в связи с неприятностями, но, если понадобится какая-либо справка или что-то в этом роде, помните, что достаточно просто позвонить мне.

На долгий траур весне не хватает терпения: на усыпанных палой листвой бордюрах сада все уже бурно прорастает и расцветает. Колокольчики, кустик розовых лютиков, несколько поздних, обгрызенных белками тюльпанов и высокие ирисы с шафрановыми язычками оживляют статичную, серую и меланхоличную картину. Дайана небрежно сгребает граблями бурые прошлогодние листья платана на чахлую траву газона, чтобы цветам доставалось больше солнечного света; ее совершенно белые руки тоже согреваются на солнце. Температура поднялась почти до двадцати градусов по Цельсию, в этот

день Дайана впервые с тех пор, как случилась беда, наконец нашла время для себя. Жизнь возвращается к ней, скорбь как общественное дело отнимает все меньше и меньше времени: визиты, вопросы, утешения и подбадривания, деньги, юристы, полиция. После суда все закончится. Распрямив спину, она бросает грабли и вытягивает из кармана передника пачку сигарет. Полуденное солнце зависло за двумя старыми платанами, отгораживающими сад от железнодорожной ветки, их узловатые ветви переплелись и светятся, как вспыхнувшие спички. Глубоко затягиваясь сигаретой с ментолом, она чувствует, как вваливаются ее щеки, а легкие расправляются и приятная прохлада воздуха обрушивается в самую глубину желудка. Ясность. Покой. Несколько секунд она смакует и то, и другое. Так в детстве ей нравилось смотреть в окно и притворяться, будто она курит длинный сломанный мелок, зажатый между пальцами, устремляя взгляд на дымящие печные трубы. «Ты тратишь впустую слишком много времени», — часто упрекал ее отец, считавший праздность самым страшным из грехов, но такие моменты, когда ветер ласково перебирает ей волосы и уносит мысли, приносят умиротворение ее воинственной душе.

После свежести сада пластиковый запах нового линолеума кажется таким сильным, что от одного его у Дайаны разыгрывается головная боль. Она распахивает окно над стальной раковиной, затем принимается искать в мятно-зеленых кухонных шкафах муку, масло и сгущенное молоко, купленные ранее. Через два часа ей надо забрать Грейс из ее новой начальной школы и привести сюда, в квартиру, чтобы она просмотрела образцы ткани и сама выбрала для штор и постельного белья те, какие ей понравятся. А потом она удивит и побалует дочь карамельным пирогом, который они обе любят. Для него ей понадобятся простейшие ингредиенты и посуда, и это очень кстати, ведь кухня еще не обжита.

Карамельный пирог уводит ее мыслями в детство, в чайную «Лайонс Корнер Хаус» на лондонском Стрэнде. Само здание как изысканное кондитерское изделие, с позолоченными лозами и колоннами снаружи и пузатыми самоварами и кессонными потолками внутри. Крошечные шоколадные конфеты, огромные композиции из цветов, перевязанные лентами банки с печеньем, привозные лакомства; чистейшее изобилие. Прилавки в зале со столиками украшали пирожные, настолько изящные и нежные, что ей было

неловко даже думать о том, чтобы съесть такую красоту, и она каждый раз останавливала выбор на простом карамельном пироге и заварном креме. Официантка в белой кружевной шапочке принимала у них заказы за элегантно накрытым столиком. Отец говорил сухо и официально, крепко придерживал на коленях свой кожаный портфель и старательно указывал выбранные ими лакомства в меню, поскольку церемонный Верховный суд карал троих девочек немотой. Вайолет и Мэгги заказывали мильфей, торт «Черный лес», персики «Мельба», королевский пудинг или еще что-нибудь приглянувшееся им, а Дайане всегда доставляло удовольствие и по-домашнему утешало сочетание хрупкого теста с теплым заварным кремом.

Лондон обрушивался на восприятие: беспощадные толпы между Пикадилли и Оксфорд-стрит, явно готовые со злорадством спихнуть какую-нибудь девчушку в сточную канаву и затоптать; никогда не умолкающий шум транспорта; вопли газетчиков и цветочников; свистки полицейских. Дайана шагала рядом с отцом, в тревоге зажимая руками уши. Он возил их в Лондон два раза, на каждый из судов по делу о разводе. Теперь Дайане столько же лет, сколько было ее

матери, когда ее муж, отец девочек, впервые попытался развестись с ней. Это желание, казалось, захватило его, как безумие, вскоре после того, как его мать умерла в России, и его ярость не могло охладить ничто. Он обвинил жену в прелюбодеянии и подал на развод и опеку над дочерьми. Дайане отчетливо запомнились жаркие взгляды, которых удостаивалась ее мать, когда они ходили покупать мороженое с лотка Сальваторе на Стюарт-стрит. И пытку перешептываний и смешков, шумиху, поднятую из-за развода газетами, мужчин, спрашивающих ее отца, откуда у него деньги, и женщин, советующих ее матери на коленях умолять о прощении, неважно, виновата она или нет. Неуловимое ощущение, будто все соседи смеются над их отцом, мелким лавочником из Кардиффа, готовым пойти на все расходы и позор развода. Когда Верховный суд, этот белый замок, заменивший в представлениях Дайаны все книжные и сказочные, отклонил прошение их отца, он наконец позволил их матери вернуться домой. Никто и ничего не объяснил Дайане; ей было десять лет, и она искала в школьном словаре «прелюбодеяние», «нелегальный» и «непристойность».

Вайолет занималась домом и следила, чтобы

все они были сытыми и опрятными; если она и знала подробности «ситуации», то не распространялась о них. Раввины в долгополой одежде являлись к ним в дом и часами просиживали в столовой с их отцом, советуя ему проявить терпение и доверие, но с тех пор он не удостоил их мать ни единым добрым взглядом. Спустя меньше шести лет он вновь подал на нее в суд за прелюбодеяние и выиграл, выгнав ее из дома и спалив столько ее фотографий, сколько смог, прежде чем дочери спасли их. Они так и не сумели разглядеть в матери ту женщину, которую видел он: в прикосновениях ее рук они чувствовали любовь, а он считал их грязными; в ее смехе ему мерещилось предательство, а они различали радость; а когда ее взгляд становился отрешенным, он воспринимал это как коварство, а они видели печаль. Она была деревом, которое он стремился срубить и воспользовался законом, как топором. Дочери помогли ей собрать вещи и переехать в маленький дом, где она и умерла несколько лет спустя, так и не перестав лить слезы. Вся ее жизнь строилась вокруг материнства, а затем высший из судов этой страны признал ее недостойной быть матерью. Бедная женщина. Дайана до сих пор не знала, чему верить: то ли

судей ввела в заблуждение паранойя отца, то ли ее мать в самом деле любила человека по имени Перси. Они выросли в мире, где порой от правды надо защищаться.

— Мы не были созданы для легкой жизни, — вздыхает Дайана, шлепая тестом об кухонный стол. Она не такая, как мама, она точно знает: ей не нужен мужчина из-за его денег или как способ бегства, и она чертовски уверена, что и Грейс не понадобится.

Несколько дней спустя Мэгги, Дэниел и Дайана стоят вокруг обеденного стола, а лицо Грейс во главе этого стола озаряет отблеск одиннадцати свечей на торте в честь дня ее рождения. Большой бант на голове девочки похож на кроличьи уши в горошек.

— Сначала загадай желание! — напоминает Дэниел, едва Грейс наклоняется, чтобы задуть свечи. — Дуй, а не плюйся, не то заляпаешь слюнями мой кусок.

Грейс обмакивает палец в глазурь, в шутку грозится испачкать Дэниела, потом сует палец в рот.

– *Лехаим*! — Дайана поднимает свой бокал с хересом, восклицая громче, чем собиралась. — Долгих тебе лет и успехов, родная моя.

Взрослые становятся в очередь, чтобы поцеловать Грейс в щеку, и Дайана, последняя в ней, видит, что дочь чуть не плачет.

— Крепись, крепись, — шепчет она ей на ухо, вселяя в нее силы.

Коротко кивнув, Грейс снова улыбается и смеется.

Маленькая компания располагается на новом диване, чтобы открыть подарки; гости сидят, а Дайана и Грейс стоят возле кофейного столика, ахая над каждым пакетом в плотной оберточной бумаге. От Мэгги и Дэниела — целая сокровищница книг и пара красных домашних шлепанцев. Дайана ведет Грейс к окну, выходящему в сад, и показывает свой подарок: велосипед с голубой рамой и корзиной спереди, полной искусственных цветов.

— Боже мой! — восторгается Грейс.

— Вот избалованная девчонка! — Дэниел в притворной зависти качает головой. — А мне когда подарят велосипед?

— Можно прокатиться прямо сейчас? — спрашивает Грейс у матери.

— А почему нет?

Девочка бежит через кухню в сад.

Дайана подливает в бокалы херес, все рассажи-

ваются по местам, веселье приостанавливается. Сникшей больше остальных выглядит Мэгги, и, поскольку именно она всегда сворачивает разговор на беспроигрышные банальности, вздохнув, она произносит:

— Прямо чувствую, как разойдется у меня в этом году сенная лихорадка. Уже сейчас так мучаюсь.

Дайана медлит, прежде чем сменить тему.

— Земля уже осела, пора ставить памятник.

— Хорошо, хорошо, — кивает Дэниел, не сводя глаз со своего еще полного бокала.

— Ты выбрала красивое надгробие.

Дайана приняла решение и насчет надписи — «Любимая дочь, любимая сестра, любимая тетя, да упокоится ее душа в вечном мире», — но это же настолько долговечный след, он переживет их всех, так что она не перестает гадать, правильно ли подобрала слова.

— Надписью все довольны?

— Да, ведь все равно никакого места не хватит выразить все, что у нас в сердце, верно? — Мэгги нервно крутит в руках салфетку.

— Да.

— Ни чернил не хватит, ни бумаги, ни времени.

— Помочь тебе? — спрашивает Дэниел.

— Нет, все уже готово.

— Славный был праздник, хоть и скромный, правда?

Дайана прилегла в постель Грейс, они уютно устроились, почти соприкасаясь носами. Шипят свечи, тени дрожат на обоях с рисунком из папоротников и шторах в тон.

— Чудесный.

— Какой подарок тебе понравился больше всех?

— Велосипед.

— Подлиза.

Грейс улыбается, открывая неровные зубки, все разного размера и формы.

— А какое желание ты загадала?

— Не могу сказать.

— Нет, можешь.

— Нет, ну правда не могу.

— Потому что оно про тетю Вайолет?

Грейс кивает.

— Ты пожелала, чтобы она была с нами, как раньше?

— Понимаю, это глупо. — Она прикладывает ладонь ко рту.

— Нет, ты не поверишь, Грейси, сколько раз я желала того же самого.

— Это ведь неправильно, это несправедливо — да, мама? И столько было крови.

— Она была лучше всех. Не понимаю, почему ее постигла такая судьба. Правда не понимаю.

— И мы ничего не слышали, а вдруг кто-нибудь ворвался бы сюда, пока мы спали или пока я в школе, и напал на тебя? — Грейс дрожит, страх, который она так старательно скрывала, вырывается наружу. — Гораздо лучше, если бы у нас в доме был мужчина, правда? Чтобы защищал нас от плохих людей.

— Я смогу сама защитить тебя, Грейси, честное слово. Ни один мужчина не способен на то, что я могу сделать ради тебя.

— Но ты же просто те-о-отя, — всхлипывает девочка.

— Нет, я женщина, и ни один мужчина не будет сражаться за тебя отчаяннее, чем я.

— Не хочу идти в суд, где будут все и… и этот плохой человек будет смотреть на меня.

— Все пройдет очень быстро, Грейси, тебе просто надо сказать правду. Точно объясни, что ты видела, и мы уйдем домой и больше про это никогда не вспомним. Нет ответов правильных и неправильных, просто скажи правду.

— Его повесят, да?

— Если докажут, что это сделал он… возможно… не знаю… иногда люди получают помилование. Это не твоя забота, Грейси, ты просто должна быть честной.

— Буду, обязательно.

— Знаю, что будешь. — Дайана целует Грейс в черные волосы до тех пор, пока девочка не успокаивается.

11. Коу йо тобан

— Сволочь, чтоб тебя! — Махмуд изо всех сил вдавливает большой палец в кнопку рядом с дверью, отчего в коридоре раздается звон.

Надзиратель рывком распахивает люк и наклоняется, уставившись в лицо Махмуду, стоящему по другую сторону двери.

— На порку напрашиваешься, да?

— Я уже два раза прошу принести мне воды, ты хочешь человека с ума свести, скотина?

— Да ты сам не знаешь, чего хочешь. Я думал принести тебе чертовой воды, а теперь, даже если сдохнешь от жажды, мне плевать.

Махмуд снова жмет кнопку звонка, и надзиратель затыкает ухо пальцем:

— Все это я доложу начальнику тюрьмы, можешь не сомневаться, и он скажет, что сделать, чтобы вбить хоть немного ума в твою башку.

— Попробуй только тронь меня своими грязными лапами, и я вас всех поубиваю. Я что тебе, раб?

— Еще и угрозы? Отлично, приятель, об этом начальник тоже обязательно узнает.

Махмуд быстро жмет и отпускает кнопку — звонок, пауза, звонок, пауза, — пока надзиратель не перестает шевелить губами и не захлопывает окошко.

— Да пошел ты и твоя вера, — кричит Махмуд ему вслед.

«Ну ты и псих, вон как разошелся, — упрекает его внутренний голос. — И чего ты этим добиваешься?» Он безмолвно возражает: «Проявляю гордость, добиваюсь мести», а потом тяжело садится на койку и роняет голову в ладони. И тут же рывком встает, становится лицом к Мекке, ставит ступни вместе и кладет ладони на живот на уровне пупка. Перед началом молитвы ему требуется минута, чтобы очистить разум от всех сдерживаемых внутри мыслей и чувств, которые давят на него, а потом он делает глубокий вдох и начинает. *Аллаху Акбар*. Закрывая глаза, успокаивая дыхание и касаясь лбом холодного бетона, он медленно уносится мыслями прочь из тюрьмы.

После *салята* Махмуду становится немного легче, но от одного чувства ему никак не удается отделаться — необо-снованной, но острой злости на Лору. Он уже четыре дня не удосуживался махать в окно и ждет, когда приближается и

проходит обычное время их краткого общения, угрюмо желая, чтобы она чувствовала себя такой же несчастной, как он. Он понимает, что ведет себя неправильно, по-детски, но не может притворяться, будто все в порядке и она ничем его не обидела. Она уже потратила впустую два года его жизни, держа его при себе, как старую псину, и вот теперь он взаперти только потому, что эти белые *шайаадиин*, черти, ненавидят, что ему досталась одна из них. Ведь к этому все и сводится, разве не так? Он забрал у них одну из их женщин, и за это они наказывают его. «Черные отнимают у нас работу и женщин» — так пишут во всех газетах и говорят в лицо, если осмеливаются. Считают, что ты не имеешь никакого права зарабатывать или жениться на ком хочешь. Сомалийцы пытались предостеречь его, но он был слишком гордым и глупым, чтобы прислушаться. Эти девчонки тебя предадут. Они с любым готовы связаться, если приглянется им. Заставят твоих детей любого называть папой, а может, просто бросят их дома без присмотра. Теперь он не в силах смотреть Лоре в глаза, она сразу поймет, о чем он думает, она всегда видела его насквозь.

Он думал, что это просто игра, как кошка играет с мышами, заходил следом за девчонками

в бары и выходил, улыбался, когда они удирали и хихикали: «Мне не разрешают разговаривать с черными». Черные чулки, красные губы, глаза обведены темным, высокие каблуки — его голова каждый чертов раз сама поворачивалась вслед за ними. Их слова говорили «нет», но глаза-то соглашались «да», так что он прибавлял шагу и думал, что уж следующая-то наверняка, следующая точно. Цветные девчонки так на него не действовали, с ними было слишком легко. «Ты же в такую даль притащился не ради юбки, точь-в-точь как твоя мамаша, оставшаяся дома» — так говорили вестиндийцы. Черные женщины знали, что им отказывают, и злились.

Однажды какая-то женщина из Вест-Индии, с огромным красным зонтом, заметила их с Лорой на улице, смерила обоих взглядом, сморщила нос и ехидно усмехнулась, спросив: «Увидел, что вся такая белая, и думаешь, уже жена, да?»

Он покрепче обнял Лору за плечи и огрызнулся: «Не лезь не в свое дело, женщина, я не из ваших». Каким же болваном он был.

Пять лет. Ему понадобилось пять лет, чтобы лишиться всех иллюзий насчет этого места. В любом случае тюремная камера выявит все совершенные им ошибки до последней. Махмуд

встает и меряет шагами двенадцать квадратных футов пространства. Тот день в Дурбане, когда он впервые увидел корабль, разлегшийся в воде, как вулканический дымящий остров, его и погубил. Он подписал контракт, устроившись помощником буфетчика, потому что для «черной банды», команды кочегаров, был слишком слабосилен. Теперь у него вызывают улыбку воспоминания о том, как раздражала его работа в кухне, когда все его «братья» вкалывали внизу, в машинном отделении. Лишь через несколько недель он сообразил, что «черная банда» на самом деле разноцветная, а называют ее так потому, что все кочегары сменяются с вахты, почернев от угольной пыли. Его же работа была чистой, легкой и унизительной: «Почисти картошку, Али», «Ты оттер не весь жир с кастрюль, господи, да отчисти их уже как следует» или «Да насрать мне, кто там не ест свинину, чтоб сейчас же подал им окорок». Буфетчики были грубыми, но не чуждыми доброты. Один из них, лысый шотландец с выпуклыми венами, чуть не впился в глотку механику, когда тот швырнул тарелку со склизкой солониной Махмуду в лицо.

В часы отдыха он исходил до последнего уголка все палубы, его ногам было не привыкать к еже-

дневным пешим переходам на много миль, и он изумлялся, что этот *зверь*, этот стальной кит, рассекающий волны, несет на себе электричество, телефоны, лифты, бездымные плиты, туалеты со смывом и повсюду рычаги и диски, творящие чудеса. Магия белого человека. Как будто европейцы переделали мир и теперь им достаточно протянуть руки, чтобы все его волшебство явилось им. Именно корабль открыл ему пропасть между жизнью, которую он вел в Африке, и миром за ее пределами. Этот корабль, транспортное судно «Форт Эллис», с таким же успехом мог быть ракетой, несущей его на планету с зелеными, непонятно лопочущими инопланетянами и покрытыми льдом морями, и чем ближе было место их назначения, Кардифф, тем лучше Махмуд понимал, что Африка стала для него слишком тесной.

Только во время своего третьего плавания, когда мышцы вздулись на его тонких костях невысокими холмиками, он наконец пробился в чрево корабля, где трудились настоящие мужчины. Для топки он все еще не годился, поэтому его поставили на работу в угольный бункер подносчиком, перекидывать уголь к котлам, где кочегары, почти вялые от изнеможения, швыря-

ли его в огонь. В угольных бункерах стояла тьма кромешная, которую рассеивал единственный переносной фонарь. Пол колыхался и кренился вместе с волнами Атлантики, подносчики спотыкались, уголь осыпался у них под ногами. На том судне в бункере однажды случился пожар, но не обычный — не было ни видимого пламени, ни дыма, только нестерпимый жар из глубин черной кучи, от которого выгнулась бугром стальная переборка. Старый подносчик-йеменец Насир, умевший определять качество угля на зуб, сказал, что такое иногда случается, когда слишком много нового угля наваливают поверх старого или когда бункер слишком долго простоял без дела. Об угле он говорил, как о закадычном, но переменчивом товарище, его ноги колесом почернели до мешковатых шортов. «*Йалла! Йалла!* Нет способа потушить огонь, кроме как сжечь его!» — кричал он, отпихивая Махмуда с дороги и быстро толкая вперед свою тачку с острыми краями.

Некоторые вахты они стояли вместе с валлийцем, который пел так басовито, что его голос отдавался у Махмуда в ребрах; иногда рядом с ним работали лопатами совершенно одинаковые сомалийцы-близнецы из Берберы, Рааге и Робле. В те дни, когда здесь оказывались заточенными

трое сомалийцев, подчиняющихся одному и тому же гипнотическому ритму, бункер казался каким-то мистическим пространством. Их лопаты опускались и взлетали в такт, старые рабочие песни пустыни сплетали их хриплые голоса в низкие, однообразные звуки, пот, боль, жар изгоняли из разума все мысли до последней, как стихийно возникший *заар* на дне моря. На свою койку в кубрике на десятерых, провонявшем табачным дымом и застарелым потом, он забирался, как избитый молотками, щурясь от яркого света. Но засыпал он в возбуждении, с сердцем, бьющимся в такт двигателям. «*Йалла! Йалла!* Нет способа потушить огонь, кроме как сжечь его!» Слова, согласно которым стоило жить.

Эх, сгореть бы ему! Тогда он бы меньше нагрешил. Впервые он изведал вкус спиртного в маленьком баре у причала в порту Рио-де-Жанейро, крытом пальмовыми листьями кабачке, где цветные матросы со всего мира резались в азартные игры и танцевали с быстроногими, невозмутимыми девчонками из бара. Коричневая жидкость в маленьком стакане — это чай, сказал он себе, принимая его от бразильянки с кожей цвета карамели. В то время он еще предпочитал женщин, напоминавших ему о родине. На ней

была обтягивающая черная кофточка с бретелькой вокруг шеи и красный шарф, свои смоляные кудри она собрала в помпадур чуть ли не над самым лбом. Она проследила, как он делает первый в своей жизни глоток рома, и хихикнула, увидев, как он в тревоге вытаращил глаза. Поискав взглядом в баре других сомалийских матросов, он никого не заметил: некому было осуждать или останавливать его в этом месте с тусклым неоновым освещением. Незнакомая девчонка что-то ободряюще сказала на португальском и подлила ему в стакан из увесистой бутылки. Дождь срывался тяжелыми полотнищами с края пальмовой кровли, остужая жар слишком плотно спрессованных тел, бразильянка взяла его за руку и отвела от шумного музыкального автомата, изрыгающего исступленную самбу. Небо уже темнело, но дремотные окорока гор все еще просматривались над пароходными трубами и столбами портового дыма. Она показывала ему каждую гору, говорила медленно, как с ребенком, ее кошачье лицо вырисовывалось в желтом свете оголенной лампочки, язык выговаривал присвистывающие и пришепетывающие звуки. Расхрабрившись от рома, он придвинулся к ней и поцеловал ее напудренную щеку, но пощечины,

которой ожидал, не получил: вместо этого она повернулась и без смущения поцеловала его в губы. Он опасливо потянулся к ее талии, а тем временем его мысли метались между матерью, запахом духов бразильянки и воспоминанием о трости *маалима*. Инстинкт и воспитание вступили противоборство, которого хватило, чтобы его руки задрожали в миллиметре от ее округлых бедер. Что она за женщина, если способна на такое, вопрошал его разум. Да какая разница, отзывалось тело.

В ту ночь тело Махмуда выиграло спор — как и в следующую, и следующую за ней, пока запасы угля не пополнили, груз не спустили в трюмы, и в последнее утро в порту ему пришлось попрощаться с лихой бразильянкой. Потом пришла очередь азартных игр, когда благодаря удаче новичка он поставил десятку и выиграл сотню за покерным столом в Сингапуре. От этого он возбудился сильнее, чем даже от алкоголя и женщин, и понял: вот что станет для него отравой. Он остался посмотреть, как играют другие, пообещав себе, что сам не станет, но потом все-таки сел и выложил на узкий деревянный стол десять фунтов, затем двадцать и в конце концов все, что у него было. Повара-китайцы, за которыми

он увязался, так и просидели всю ночь, борясь со сном с помощью все новых и новых тарелок жаренной в масле еды и стопок виски. Желтые лампы дневного света зудели, в голове у него шумело от усталости, но он смотрел, не отрываясь, как старый повар — с томной от опиума *цзиню* на колене, которая подбадривала его, почесывая пятнистую лысую голову острыми черными коготками, — сгреб в неряшливую кучу наличные и украшения. Их хватило бы, чтобы сразу бросить работу, но старик даже не улыбнулся. Стряхнув с колена девчонку, он раздал по купюре каждому из сидящих за столом и на негнущихся ногах побрел обратно на корабль по широким, пустым, рассветным улицам, неся выигрыш в коричневом бумажном пакете. Задняя комната, где они провели ночь, быстро превратилась в ночлежку, тем временем снаружи первые лоточники уже расхваливали свой товар. Он был единственным чернокожим в этой компании, но никто не обращал на это никакого внимания и не прогонял его. Игроки сонно плюхались на пол или засыпали за столами, уткнувшись себе в грудь или в сгиб руки, как вороны суют голову под крыло. Махмуд поплелся следом за выигравшим и вернулся на свой корабль с красными глазами, пустыми кар-

манами и ощущением свершившегося чуда.

Внезапно оказалось, что необходимость зарабатывать себе на жизнь не относится к неизбежным. Можно зарабатывать — или не зарабатывать, а просто однажды ночью сгрести в карман столько денег, чтобы положить конец каторжному труду, сердитому начальству, четырехчасовым вахтам, забастовкам, потере сил, длительным периодам безработицы. Можно стать самому себе хозяином, каждый день отправляться куда захочется и заниматься чем вздумается. Он обрел новую мечту, но на этот раз ничего не мог сделать ради ее осуществления: фортуну нельзя подталкивать или встряхивать, чтобы разбудить, — ей приходится предоставить свободу действовать, когда и где она пожелает. Но, черт побери, слишком уж долго медлила эта сука и слишком жестокие разочарования ему приносила. Какой смысл ему торчать здесь по обвинению в убийстве, которое ни хрена к нему не относится? Что это вообще за участь? А какой-нибудь сволочи не только сойдет с рук убийство, но и, наверное, достанется большой куш на скачках. Ну и где он сейчас, этот дерьмовый убийца? Небось нежится в объятиях своей женщины, и плевать ему на весь мир. И никаких шансов, что он прибежит каяться и

признавать вину — нет, какое там. На это Махмуд даже не надеется. Ему нельзя полагаться ни на свидетелей, ни на адвокатов, ни на судей, ни на судьбу. Только на Аллаха. Он омыл свою душу и теперь с чистым, истинным сердцем может умолять Бога о справедливости. Всего лишь о справедливости. Он не ждет, что ему простят его грехи, — лишь бы не пришлось расплачиваться еще и за чужие.

Даже некоторые его грехи кажутся ему навязанными этой проклятой страной. Он в жизни не брал чужого, пока из-за этих ублюдков не почувствовал себя дерьмом в траве, в которое они ненароком вляпались. Из-за старых стерв, которые прижимали сумочки к груди, заметив его, или чуть ли не крестились, стоило на них упасть его тени. «Чего испугались? — сколько раз хотелось выкрикнуть ему. — Это же ваши с легкостью убивали нас ради забавы». Ты можешь быть хоть самим ангелом Джибрилем, но, если у тебя черное лицо, каким бы честным, добрым и мягкосердечным ты ни был, ты все равно сам Сатана. Он начал ходить со скрещенными руками, будто связанный, чтобы дать им понять: он не причинит им вреда. Его голова была полна *шаки*, сомнений, он то и дело задавался вопросом, поче-

му эта женщина посмотрела на свою сумку — то ли завидела, что я приближаюсь, то ли ей просто что-то понадобилось в ней? А этот человек следит за мной или просто бродит вокруг своей лавки? И так до тех пор, пока однажды он не решил: *довольно*. Какая-то женщина окинула его прямо-таки оскорбительным взглядом, буквально кричащим «убирайся обратно в дыру своей матери». Его, в костюме-тройке и шелковом шарфе, в то время как сама старая карга была в плаще, не стиранном со времен войны. Это уж слишком. Когда он догнал ее, она торговалась за дешевое филе с Томми-рыбником, а свою пластиковую сумочку пристроила на край его тележки. И он подцепил пальцем ремешок и унес ее. С его стороны это было озорство, мелкая месть. Не нуждался он в ее грошах, но возбуждение, эмоциональный подъем и удовольствие, что это сошло ему с рук, было таким же, как при выигрыше удачной внешней ставки. Так повторялось вновь и вновь, когда ему казалось, что его слишком легко лишают достоинства. Он был готов стать тем самым Сатаной, за которого его всегда принимали. Но потом он поумнел и начал приберегать свое искусство для тех случаев, когда ему требовались легкие деньги: лямзил часы там, плащ или бумажник тут.

Он наблюдал, как работают виртуозы в пабах, незаметно вклиниваясь в толпу или хлопая по спинам и щекоча выпивох. У каждого из них был свой стиль, но их действия неизменно напоминали танец, вплоть до ловкой работы ног и знания, как будет двигаться партнер, а танцевать Махмуд всегда любил.

— К тебе посетитель. Пойдешь или нет? — Старший надзиратель Мэтьюз стоит в распахнутых дверях камеры, застегнутый на медные пуговицы шерстяной китель натянулся на его круглом животе.

Махмуд одет в дневную форму, утром он принял душ, но отложил решение встречаться с Лорой на последнюю минуту. У него сильно колотится сердце, он тяжело поднимается с койки и кивает Мэтьюзу.

— Это пойдет тебе на пользу, а хандрой делу не поможешь, парень, — подбадривает надзиратель Махмуда, хлопая его по плечу. — Я повидал здесь много народу, и вот что я тебе скажу по доброте душевной: если в мозгах у тебя тюрьма, тогда неважно, где ты есть, а вот если ты просыпаешься и благодаришь Господа за воздух у тебя в легких, с желанием извлечь всю пользу из своего положения, тогда, считай, ты уже на полпути к

тюремным воротам.

Они шагают бок о бок по железному мостику вдоль камер, лязгающему под их ногами.

— Я хочу выйти за эти ворота, сэр.

— Нигде в мире нет строже правосудия, чем здесь, у нас. Я знаю, Маттан, ты утверждаешь, что невиновен, и хочу тебя заверить: суд выслушает тебя точно так же беспристрастно, как какого-нибудь герцога. Так уж заведено в Великобритании.

— Сколько раз уже слышал.

Мэтьюз вспыхивает:

— Честностью — вот чем мы славимся, и еще чаем, верно?

Лора сидит одна за маленьким столом, опустив повязанную платком голову и прикрывая лицо концами платка. Ярко-красный джемпер облегает ее маленькие острые груди и словно освещает блеклую больничную обстановку комнаты.

— Никого из мальчишек не привела? — ворчит Махмуд, со скрипом отодвигая железный стул, чтобы сесть.

— Нет, им нездоровится, — отвечает Лора и долго смотрит ему в грудь, прежде чем перевести взгляд на лицо.

Он сразу все замечает. Даже под прикрытием

начесанных на лоб волос. Протянув руку, он одним пальцем отводит в сторону пряди.

— Кто это сделал? — рявкает он.

Лора торопливо оглядывается через плечо и плотнее прижимает к лицу края платка в «турецких огурцах».

— Пустяки. Было бы из-за чего шум поднимать.

— Еще раз спрашиваю, Уильямс: кто это сделал?

Желтоватый синяк расплылся от ее левого уха до угла тонких розовых губ. Возле скулы он отливает пурпуром и зеленью.

— Да просто какой-то громила на Виндзор-роуд. Я шла из лавки с Дэвидом и Омаром и увидела, как он швыряет камнями по уличным фонарям, и едва рот открыла, чтобы отчитать его, как он накинулся на меня. Обозвал меня, как только мог, пригрозил вышибить мальчишкам мозги, напугал Дэвида до полусмерти, бедняжка аж обмочился, только не говори ему, что я тебе рассказала.

— И никого вокруг?

— Рядом была тьма народу, — с горечью отвечает она. — Одна женщина, которая мыла свое крыльцо, даже бросила свои дела, чтобы поглазеть, но никто и слова сказать ему не посмел.

А он разошелся — велел, чтобы я убиралась из Адамсдауна, мол, тут мне не место… и сказал, что мелких черномазых надо повесить вместе с их папашей.

Лора бросает боязливый взгляд на лицо Махмуда, но он выглядит бесстрастным и отрешенным.

— Это было уже слишком, и знаешь, Дэвид посмотрел на меня, состроил рожицу мудрого старичка и спросил, правда ли тебя повесят. А я ответила, что этот проходимец попадет прямо в ад, а я никуда отсюда не денусь, и ты тоже, и мальчишки. И тут же мне в лицо прилетел камень.

— Ты знаешь, кто он такой?

— Кажется, сын Карсонов, но не поручусь.

— Выясни это, Лора, и я разберусь с ним, как только выйду. Он у меня поплатится.

— Забудь, Муди, у нас есть беды и похуже. Просто подержу мальчишек дома, пока не пройдет суд. Омар обожает разрисовывать тротуар мелом и болтать со старушками, которые проходят мимо, так что он наверняка станет закатывать истерики. Они ведь совсем крохи, но есть люди, просто больные на всю голову, понимаешь? Не знаю, чем думает такая молодежь; как будто они и не живут, если никому не досаждают.

— Держи детей дома, это правильно. Твой отец

не из тех, кто может как следует припугнуть, так что, пока я не выйду, из дома их не выпускай, — соглашается Махмуд и качает головой. Желание расквасить Карсону физиономию становится острым, почти как вожделение.

— На этой неделе я говорила с детективом Пауэллом.

— О чем? — в отвращении Махмуд чуть не кричит.

— Да выслушай же меня, ради всего святого! Я заходила к сестре, и Брайан сказал, что работает на стройке вместе с этим плотником-ямайцем.

— И что? Что ты наболтала этой свинье?

— Ты слушай! Всю неделю не вспоминал обо мне, так теперь мог бы хоть выслушать, черт возьми.

— Говори.

— Этот ямаец говорит Брайану — он знает, что ты невиновен, и знает, кто на самом деле убийца.

— Ну и кто он? Откуда ему-то знать?

— Кавер, какой-то Кавер. Так вот, если я правильно поняла, он говорил, что был недалеко от Волацки и видел, что два сомалийца болтались возле лавки как раз перед тем, как произошло убийство. Я подумала, что полиция должна с ним

поговорить.

— Так убийца-то кто?

— Он не сказал.

— Этот Кавер — мне Берлин рассказывал о нем, он сомалийцев не переносит и пырнул Хэрси в прошлом году. Он просто пытается втянуть нас в историю. Может, кого-то из своих выгораживает. Только время у всех отнимает, ты этих людей не знаешь, любят они заливать, как будто им известно то, что больше никто не знает.

Лора вскидывает бровь:

— Очень похоже на одного моего знакомого.

Поморгав, Махмуд наконец понимает, что она имеет в виду его. И нехотя улыбается.

— Детектив Пауэлл вроде бы заинтересовался. Поблагодарил меня, сказал, что разберется. Будем надеяться, Муди, что это как раз тот свидетель, который тебе нужен. Который знает что-то *такое*, что вытащит тебя отсюда.

Он подает ей руку:

— Ты сильная женщина, ты сражаешься в моих войнах.

Она кладет руку на его ладонь:

— Это и моя война.

Долгое время они сидят молча, держатся за руки и поглядывают на большие тюремные часы,

металлические стрелки которых подрагивают, отмеряя час, а вокруг слышна беспечная и бездумная болтовня и приглушенные споры.

— На этой неделе не будешь прятаться от меня?

Махмуд мотает головой.

— Я понимаю, ты злишься, Муди, и я тоже — честно говоря, прямо бешусь, — но не надо равнять меня со всеми остальными.

— Да знаю, знаю, — пристыженно отмахивается Махмуд, отпускает ее руку и рисует холодным и потным указательным пальцем каракули на столе.

— Мы с тобой на одной стороне. А не на разных.

— Знаю, знаю.

Она сжимает обе его ладони в своих и заглядывает ему прямо в глаза, ее ореховые радужки вспыхивают ярко-зеленым огнем.

— Я не одна из *них*, ясно? Не одна из них. У тебя нет никаких причин ненавидеть меня.

— Разве я тебя когда-нибудь ненавидел? Не говори так.

— Словом, не давай себе свернуть на эту дорожку, вот и все, о чем я прошу.

Ладони Махмуда становятся вялыми в ее креп-

ко сжатых пальцах, он чувствует, что его загнали в угол, и он не в состоянии выразить свои мысли. Ему хотелось обидеть ее, он это понимает, но не может сделать такое признание, поэтому ищет убежища в молчании.

— Пора уходить. В следующий раз мальчишки придут со мной.

— Хорошо, хорошо, — наконец удается выговорить Махмуду, он в последний раз останавливает взгляд на проклятом, раздражающем его синяке, пока она поднимает с пола вместительную кожаную сумку.

— Завтра жду тебя у окна, ясно?

— Буду вовремя.

— Значит, вы не нашли ни одного свидетеля, чтобы был за меня? Никого, кто сказал бы, что я хороший человек и что меня даже близко там не было, когда убили ту женщину? Ни одного мужчины или женщины?

— Увы, нет, ваша защита полагается скорее на отсутствие инкриминирующих улик, чем на наличие оправдательных доказательств.

— Что это значит?

Солиситор негромко вздыхает и подпирает голову ладонью. Махмуд впервые замечает у него на пальце золотое обручальное кольцо; он не

может представить этого человека с женщиной — ему бы еще плащ и клыки, и был бы вылитый Дракула.

— Это значит, что у нас нет возможности доказать вашу невиновность, но аналогично и у обвинения нет явных доказательств вашей вины.

Махмуд трет ладонями щеки и размышляет. Они сидят в противоположных концах его койки в камере. Кончается июнь, стоит жара, он сильно потеет, и застоялая вонь в камере, смешиваясь с его собственным запахом, смущает его. Перед приходом солиситора он навел у себя порядок впервые за долгое время неряшливости, но в лучах света, заглядывающего в окно, все равно пыль стоит столбом.

— Неужели никто не сказал, что видел меня в кино?

— Да, билетер, но он не помнит, в какое именно время вы ушли.

— И эти мерзавцы на Дэвис-стрит говорят, что я вернулся позже, чем сказал сам.

— Правильно.

— И мать Лоры говорит, что видела меня в восемь вечера.

Солиситор не удосуживается ответить, только

кивает вытянутой головой.

— Так вы считаете, что у полиции на меня ничего нет?

— Этого я не *утверждал*, однако речь идет о косвенных, обстоятельственных доказательствах, то есть тех, которые можно истолковать по-разному в зависимости от того, какой смысл в них вкладывается.

— Вроде тех старых ботинок, на которых нашли кровь?

— Именно.

— И они не обнаружили ни отпечатков пальцев, ни оружия, ни денег — ничего, чтобы сказать, что это сделал я?

— Совершенно верно, мистер Маттан.

— Тогда почему же я до сих пор сижу здесь?

— Потому что им удалось найти свидетелей, указавших на ваше пребывание возле места преступления в то время, когда оно предположительно было совершено, а это не шутки.

— Но ведь они врут, как я могу находиться в двух местах одновременно? Разделиться надвое? Глупо.

— Ну что ж, вот это и будет выяснять суд.

— Нет никакого смысла в суде, если люди врут, — негромко говорит Махмуд, почесывая

жесткую щетину на подбородке.

— Это называется «лжесвидетельствование», и оно само по себе считается преступлением.

— Лора видела меня тем вечером.

— Да, но против вас использовали показания ее матери, потому что вы утверждали, что сразу из кино направились домой, в то время как миссис Уотсон — прошу прощения, миссис Уильямс, — заявила, что вы заходили и спрашивали, не нужны ли ей сигареты, поскольку вы как раз собирались в лавку. Вы тоже поместили себя сразу в два места, мистер Маттан.

— Я даже не помню, спрашиваю у нее или нет, такой был обычный вечер для меня. Вы что, помните все разговоры, которые ведете? Каждый раз смотрите время, когда приходите домой? Если вы об этом забываете, это еще не значит, что вы убийца.

— Не значит, но это создает осложнения для защиты на суде по делу об убийстве, мистер Маттан. Мы можем оперировать лишь теми доказательствами и показаниями, которыми располагаем. Вы больше ничего не хотите мне сказать? То, что вы упустили или… — он поднимает бровь, — …только что вспомнили?

Махмуд рывком поворачивается к нему:

— Вы думаете, это сделал я? Ха! Мой солиситор считает меня виновным! Очень смешно!

Дракула встает, раздраженный тем, что над ним смеются.

— Я ни в коем случае не считаю вас виновным, мистер Маттан, я считаю, что доводы против вас в самом деле неубедительны, однако они мало-помалу *обретают* вес и силу. Рассказав мне как можно более подробно о своих передвижениях, вы поможете мне найти доказательства, чтобы добиться оправдания. Но я не могу помочь вам, если вы решили наделать глупостей себе во вред.

Махмуд раздраженно разводит руками:

— Я говорю вам то, что вам надо знать. Я не какой-нибудь парень из Голливуда, я просто иду домой и сплю. Я никогда не учусь в школе, как вы, но, если я убиваю женщину и краду целую *сотню* фунтов, думаете, мне не хватит мозгов уплыть следующим кораблем и больше не возвращаться? — Он качает головой. — Ничего вы не понимаете.

— Ну, в таком случае не стану больше отнимать ваше драгоценное время, мистер Маттан. — Он берет портфель и широкополую шляпу и неподвижно застывает у двери спиной к Махмуду, ожидая, когда охранник выпустит его.

Они пытаются свести его с ума, Махмуд это понимает, так они и действуют, так они упекли убийцу Шея в психушку черт знает в какой глуши, хоть он и был в здравом уме, когда нажимал спусковой крючок. Как только ты спятишь, они празднуют победу. Порой ему кажется, что он уже наполовину безумен, что не может дышать, будто у него в легких густой черный дым, и он вот-вот упадет.

А он из тех людей, кому надо ходить, причем постоянно, он же ни минуты не сидел спокойно с тех пор, как выучился стоять на ногах. Черт возьми, да он всю Африку пешком прошел. Неподвижность — вот что его измотало. Всего несколько месяцев назад, в конце января, он сел на поезд до Лондона и пешком прошел от Паддингтона до набережной Вест-Индии и обратно просто так, ради удовольствия и перемены обстановки, только чтобы вспомнить, что это тело принадлежит ему и он может делать с ним что захочет, может настоять, и оно выполнит его приказы, подобно дорогой машине. А теперь его мышцы кажутся дряблыми, спина болит от постоянного лежания, кожа насыщенного темного оттенка выцвела, стала тускло-коричневой от недостатка солнечного света. Он не хочет, чтобы Лора, а тем более

дети видели его таким — с пыльными волосами, потрепанного, похожего на сломанный манекен из магазина.

Снаружи выглянуло солнце, камера озарилась грязновато-желтым светом от его жирных, широких лучей, вливающихся в окно. Махмуд стаскивает толстый серый пиджак и в одном жилете и брюках садится на койку, скрестив ноги. В этом положении он сидит так долго, что немеют ягодицы и ступни, но он думает, думает изо всех сил и не желает прерывать цепочку мыслей. Ему надо найти выход из этой ловушки. Не слишком ли поздно будет сообщить им еще что-нибудь? Вроде: «Ну, вообще-то я заходил к Лоре перед тем, как вернулся домой» и «Да, я ходил на Бьют-стрит в ту неделю, когда убили эту женщину». А поможет ли это теперь хоть чем-нибудь? Или они просто обрадуются: «Ха, теперь-то у нас есть доказательства, что ты лжец!» Он застрял на крошечном островке своей лжи и не может покинуть его, потому что вокруг море, кишащее акулами. Значит, так тому и быть, он просто пойдет напролом и будет уповать на Всевидящего и Всезнающего. Когда Берлин приходил в прошлый раз, он сказал, что со следующего новолуния начинается Рамадан, и теперь Махмуд стучит

себя по виску, чтобы не забыть поглядеть на луну, когда зайдет солнце. Он начнет поститься, в нынешнее мертвое время это будет правильно; за что он благодарен этим мерзавцам, так это за то, что отгородили его от всего этого *бельво*, к которому он так привык, — от спиртного, музыки, попоек, азартных игр, женщин, от пяти столпов его прежней жизни. Он сможет приступить к искуплению некоторых былых грехов прямо здесь, в стерильной утробе тюрьмы.

Ночь наступает слишком поздно, солнце дразнит его, окрашивая небо во всевозможные цвета, прежде чем устает и наконец крадучись скрывается за горизонтом. Махмуду приходится тянуть и выворачивать шею, прежде чем он замечает луну, прячущуюся за грядой медленно плывущих облаков. Когда они рассеиваются, он видит целиком серый диск, большой и рябой, устраивающийся на ночлег. Луна полная, значит, Рамадан начнется завтра. Хорошо, что ему будет чем занять разум, для этого сгодится даже голод.

Небо сегодня уродливое, в нем полно газов и дыма. Ночные небеса в Харгейсе наводят на мысли о Боге, а здесь они земные и суетные, загрязненные людьми, их бесчисленными дымовыми трубами и яркими огнями. Ему удается разглядеть одно

созвездие, сомалийское название которого кануло в глубины памяти, а английского он никогда и не знал. В Харгейсе, где закат означает истинное наступление темноты, можно следить за медленным движением звезд и планет, которые поблескивают и тянут в бездонное переменчивое море с береговыми линиями оттенков пурпура, индиго и черного. Ночными небесами Бог напоминает, как ты мал и ничтожен, и ясно говорит с тобой, его гнев и утешения осязаемы в дождях, которые он посылает или в которых отказывает, в рождениях и смертях, которыми распоряжается, в высокой податливой траве, которую он дарует или иссушает, в земле, которую рассекает трещинами. Миазмы над тюрьмой и Кардиффом душили веру Махмуда, отделяли его от Бога. Он наполнился самодовольством, начал хорохориться, теряя драгоценные дни и напрочь забыв, что его жизнь ничего не значит и что она так же хрупка, как ветка под ногой. Ему надо проявить смирение, кивает себе Махмуд, теперь-то он ясно видит мудрость Божию. Возвращаясь на койку, он выражает намерение поститься со следующего дня, пользуясь арабским выражением «*ва бисауми гхадинн навайту мин шахри Рамадан*», которому мать научила его в детстве, и подражая

ее напевным интонациям.

Махмуд ложится на бок, пристроив голову на вялый бицепс, и думает о том, как бы побрить голову целиком, начать с чистого листа, как делают паломники после *хаджа*, сбривая вместе с волосами грехи прежней жизни. Но как он при этом будет выглядеть со своим широким лицом и маленькими торчащими ушами? Со всеми шрамами и шишками, которые раньше скрывались под волосами? Что подумают присяжные, белые присяжные, уже заранее готовые ненавидеть его, если у него даже волос не будет, чтобы хоть немного сгладить впечатление? Они подумают не о *хадже* или очищении — нет, его сочтут безумцем или закоренелым преступником, буйным дикарем, которого обязательно надо наказать по закону. Так рисковать он не может; утром он подровняет свои пружинистые волосы сзади и по бокам и начнет собираться с силами.

Утром Махмуд первым же делом встает в очередь, но в ней, в одном из немногих мест, где заключенные могут собраться и поговорить свободно, полно людей с короткими стрижками, которые они подравнивают раз в неделю. Голод терпеть можно, жажду уже труднее, во рту все кажется липким и затхлым. Правда, другие

составляющие поста — не сквернословить, не курить, не терять самообладания, не допускать сексуальных мыслей о Лоре — выдержать ему будет еще тяжелее, чем физические лишения. Он вернется в камеру и начнет читать Коран с самой первой строчки: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!» Попробует полностью погрузиться в поэзию и ритм священной книги и отгородиться от прочих мыслей.

Проходит час с лишним, прежде чем молчаливый Махмуд, шаркая ногами, оказывается в голове очереди и занимает кресло парикмахера, рядом с которым валяется жалкая кучка волос; хорошо еще, кресло парикмахер обмахивает полотенцем. Они приветствуют друг друга короткими кивками, затем Махмуд окидывает парикмахера внимательным взглядом. Очень смуглый, с волнистыми волосами, вероятно, киприот или грек, чуть за сорок, с округлым животом под рубашкой в голубую полоску и кольцами чуть ли не на каждом волосатом пальце; от его одежды исходит тот же резкий растительный запах, что и от парикмахера, к которому Махмуд ходил раньше на Бьют-стрит. Махмуд закрывает глаза, а парикмахер без колебаний принимается водить металлическим гребнем по его сильно от-

росшим и спутанным волосам, укладывая их так и этак в поисках естественного положения и вида. Гребень царапает и тянет кожу, но в том, как парикмахер берет его за подбородок теплой, чуть влажной ладонью, есть что-то утешительное. Это доброжелательное, отцовское прикосновение помогает Махмуду представить себя в реальной жизни, сидящим в кожаном кресле парикмахера на Бьют-стрит под скрипучую и скорбную греческую песню о любви, льющуюся из проигрывателя. Махмуд слышит лязг ножниц, потом волосы начинают падать с его головы, задевая нос и щеки. Он не открывает глаз, предоставляя парикмахеру делать с его волосами все, что ему вздумается. Тот проводит машинкой вверх по его шее и вокруг ушей. Неужели он, Махмуд, всерьез считал, будто стрижка что-то изменит? Если эти люди собираются повесить невиновного, тут уже ничего не поделаешь. Мазок помады, и ритуал закончен, хлопок по плечу означает, что пора освобождать место новому заключенному.

Махмуд поднимает ладонь к голове, из тщеславия желая проверить, гладко ли парикмахер подстриг его, но тот перехватывает его руку и сипло рявкает: «Не трожь!» Пряча улыбку, Махмуд понимает его гордость и опускает руку, не

сопротивляясь. Да, он определенно чувствует себя лучше, чище, легче и ближе к прежнему себе. Поправив воротник формы, он направляется к двери.

— Твой приятель в больничке.

Махмуд оборачивается, проверяя, точно ли эти слова адресованы ему.

— Да, твоего приятеля Арчи забрали в изолятор.

Белобрысый мальчишка, который чуть в обморок не упал, когда казнили Сингха. Дикки. Стоит возле выхода, словно поджидает его.

— Это ты мне говоришь?

Дикки кивает.

— А почему мне? У меня с Арчи ничего нет.

— Потому что ты можешь стать следующим. — Он настороженно озирается.

— Не понимаю, о чем ты толкуешь, парень. — Махмуд почти смеется.

— Его порезали, потому что он маньяк, ну да, он насиловал девчонок по всей стране, а теперь прошел слух, вот ребята и порезали его, чтобы проучить. — Дикки проводит линию от левого уха до правого через рот, а не по шее.

— Я ни одной девчонки не обидел. — Махмуд строит кислую гримасу. — Меня-то зачем сюда

приплели?

— Затем, что услышали, будто ты убил старую калеку в ее лавке. Ведь было же, правда? Такого они не прощают.

— Что? Тебя послали проверить? — кричит Махмуд. — Так скажи им, что никакой женщины я не убивал, а попробуют только тронуть — тогда меня повесят за *них*.

Дикки вскидывает обе руки:

— Я только предупредил, просто предупредил по-дружески. Помочь тебе хотел.

— Передай им, что я *невиновен*. Я *невиновен*. *Невиновен*! — С каждым повтором он тычет пальцем себе в сердце.

Дикки пожимает плечами, торопясь закончить разговор:

— Ну, если ты так говоришь…

— Да, так я и говорю, слышишь? Так я говорю! — орет ему в лицо Махмуд.

— Позови моего солиситора сейчас же! Ты слышишь! Хочу говорить с ним прямо сейчас! — Махмуд кричит, колотит в дверь и с неутомимостью автомата жмет кнопку звонка.

Он старался держаться. Делал глубокие вдохи, ходил туда-сюда по камере, брался за Коран, хватался за голову, но это уж чересчур. Эти люди

слишком много отняли у него. Его свободу, его достоинство, его невиновность, и вот теперь с его добрым именем покончено, его ставят в один ряд с такими, как Арчи, низшим из низших. Он был излишне покладистым, его по ошибке приняли за человека, с которым можно обращаться как вздумается. Если бы в нем осталась хотя бы толика мужской силы, он разнес бы эту дверь, развалил бы камеру по кирпичу, рычал и метался.

— Гребаные вы ублюдки, пидорасы сраные, я вас поубиваю. — Махмуд стаскивает на пол тощий вонючий матрас, доставивший ему столько бессонных ночей, и топчет его ногами. Швыряет хлеб с молоком, которые оставил, чтобы поесть после завершения поста; они шлепаются об стену, молоко растекается по синей краске. Ударившись головой о прутья решетки, он снова бросается к двери, кидается на нее всем весом, не боясь переломать при этом кости.

— Вам со мной не покончить, понятно? *Мияад и фахантай хада?* Теперь понятно вам? Да хоть на каком языке скажу, если хотите!

Шатающийся от боли, но готовый к новой атаке Махмуд вдруг с изумлением видит, что дверь камеры распахивается и входит целая толпа надзирателей вместе с врачом, и один из вошедших

несет какой-то широкий ремень. Их дубинки наготове, Махмуд отступает, запрыгивает на железный каркас койки, его взгляд перескакивает с одного надзирателя на другого. Один делает выпад вперед, стаскивает его на пол, упирается коленом в грудь, а потом все бросаются на него толпой. Удерживая его за руки, за ноги и за голову, на него надевают ту самую штуку из толстой кожи. Только заметив, что одно из его запястий крепко прижато к талии, он понимает, что это нечто вроде смирительной рубашки, какие он видел в кино. Он отбивается свободной рукой, но ее заламывают так резко, что он визжит от боли, и они, улучив момент, пристегивают и вторую руку. Его ставят на ноги, надзиратель захватывает его рукой за шею, толкает, и Махмуд летит вперед, а потом его выволакивают из камеры в темный коридор и тащат за угол.

– *Хоойо! Ааббо!* — зовет он, как будто мать или отец могут помочь ему сейчас, голова быстро становится легкой, чужая рука сильнее сдавливает шею.

— Давайте его сюда, — распоряжается врач, отступив в сторону, и Махмуда бросают в другую камеру, ударив головой о дверной косяк. — Осторожнее, хорошо? Оставьте его теперь, ему,

пожалуй, понадобится провести здесь всю ночь, только тогда он придет в себя. — Махмуд слышит, как голос врача удаляется, потом хлопает дверь.

Его глаза закрыты, горло постепенно перестает болезненно пульсировать, но он жадно дышит, боясь, как бы за ним не вернулись и не начали снова душить. Хочется вытереть лоб, но руки не двигаются, он лежит на спине, а руки вытянуты прямо и неподвижно, и ремень перехватывает живот так туго, что к горлу подкатывает желчь.

Открыв глаза, первое, что он замечает, — стены камеры, обшитые чем-то вроде серых матрасов на высоту больше его роста. Он снова закрывает глаза, думая, что это, может, у него что-то со зрением от удара в голову, но когда открывает их в следующий раз, то видит, что матрасы никуда не делись. Кое-где на них видны бурые и красные пятна в бледных кругах, будто кто-то пытался оттереть их дочиста.

— Вот теперь тебя добили, — шепчет Махмуд. — Взяли тебя в рабство, связали и свели с ума. Маттан мертв.

— Он где-то там, — смеется надзиратель, отпирая дверь.

— А, ясно.

Прячась за дверью, Махмуд смотрит из сумрака

незнакомого угла знакомой камеры, как в поле его зрения возникают два начищенных до блеска ботинка.

— Мистер Маттан?..

Махмуд не отзывается. Ему больше нечего сказать им.

Солиситор делает еще шаг в камеру, ступая почти на цыпочках. Дверь наконец закрывается, и вошедший видит заключенного, который сидит на корточках там, где его не видит стражник.

— Вот вы где! — говорит солиситор, словно Махмуд — ребенок, затеявший игру.

Он ждет, когда Махмуд поднимется, отряхнется и пожмет ему руку, но тот не двигается с места и глядит в пол.

— Мне сообщили, что вчера с вами случился некий срыв. Очень надеюсь, что сейчас вы… немного оправились. Врач сказал мне, что наиболее вероятная причина — необычно продолжительное время, которое вам пришлось провести в ожидании суда. Вполне понятно, что ваши нервы на пределе, мистер Маттан, но я пришел наконец-то с хорошими вестями. Начало вашего процесса назначено на 21 июля, на выездной сессии в Суонси. День начала боевых действий наступает!

Махмуд молчит, не сводя глаз с округлых мыс-

ков выданных в тюрьме ботинок.

— Вижу, у вас на щеке ссадина. Следует ли мне задать вопрос по этому поводу начальнику тюрьмы? Или нет?

Солиситор водит большим пальцем по полю фетровой шляпы, которую держит в руках, и ждет хоть какого-нибудь ответа. Но напрасно. Поискав взглядом, куда бы сесть, устраиваться на незаправленной койке он не решается.

Он переступает с ноги на ногу, выпрямляется и продолжает более твердым тоном:

— Нападать на охранников в самом деле *не годится*, мистер Маттан. Человек в вашем положении — в сущности, не кто иной, как подопечный государства, и вы, оскорбляя действием и словами свою охрану, подвергаете оскорблениям само государство. Спокойным и достойным поведением вы добьетесь гораздо большего. Мы с мистером Рис-Робертсом подготовили для вас крепкую линию защиты, а обвинение сумело разве что кое-как собрать беспорядочные сплетни и предположения. Я был бы признателен, если бы вы тверже верили в наши способности. Вам также было бы полезно чаще дышать свежим воздухом, хорошо питаться, высыпаться и укреплять свой боевой дух перед процессом… — он взглядывает

на свои часы, — …до которого осталось менее девяти дней.

Махмуд свешивает голову между поднятыми коленями.

— Вы видитесь с женой и сыновьями? Может быть, эти встречи обеспечат вам необходимую поддержку? Нет ничего лучше милых лиц наших близких, чтобы напомнить нам, что в этом мире мы отнюдь не одиноки.

Солиситор подозрительно принюхивается и украдкой бросает взгляд на ночной горшок под койкой.

— Ну надо же! Вы этим утром даже горшок не вынесли. Да что это с вами? Если вы считаете, что все эти выходки приведут к тому, что вас признают невменяемым, лучше подумайте как следует, Маттан. Вы прошли комиссию, и точка. Вы предстанете перед судом, и присяжные будут решать, виновны вы или нет, в зависимости от доводов и свидетельств. Будь что будет.

12. Лаба йо тобан

Секретарь выездной сессии:

Уважаемые присяжные, имя подсудимого — Махмуд Хуссейн Маттан, ему предъявлено обвинение в том, что шестого марта сего года в городе Кардиффе он убил Вайолет Волацки. Он заявляет о том, что невиновен в этом, и выступает против своей страны, каковую представляете вы. Ваш долг — выслушать свидетельства и решить, виновен он в этом убийстве или не виновен.

Обвинитель:

Уважаемые присяжные, в четверг шестого марта сего года, вскоре после наступления восьми часов вечера в дверь лавки, расположенной в доме 203 по Бьют-стрит, позвонили. В гостиной позади лавки находились мисс Вайолет Волацки, владелица лавки, ее сестра, миссис Танай, и несовершеннолетняя дочь миссис Танай. Рабочий день уже закончился, лавка была закрыта, но мисс Вайолет Волацки никогда не упускала случая заключить сделку, поэтому, услышав звонок в дверь, направилась в лавку, закрыв за собой дверь между ней и гостиной. Ни ее сестра, ни

племянница больше не видели ее живой.

Миссис Дайана Танай под присягой:

В. Слышали ли вы какой-либо топот в лавке после того, как туда ушла ваша сестра?

О. Нет.

В. Было ли шумно в вашей гостиной?

О. Ну, мы с дочерью немного разыгрались, так что вряд ли я могла что-либо услышать. У нас был включен радиоприемник.

В. Прошу, объясните судье и присяжным, как именно вы играли с дочерью.

О. Моя дочь расспрашивала меня о народных танцах. Мне известно о них немного, но я пыталась научить ее некоторым движениям.

В. Дверь между гостиной и лавкой хорошо пригнана или все звуки легко передаются из лавки в квартиру?

О. Нет, их не слышно, потому что мы обили дверь резиной из-за сквозняков.

В. Вы видели, как кто-то вошел в лавку?

О. Нет.

В. Вы видели кого-либо в дверях лавки?

О. Да.

В. Это был человек, сидящий сегодня на скамье подсудимых?

О. Нет.

В. Не могли бы вы внимательно посмотреть вот на это? (*Протягивает газету.*) Внизу газетной полосы совершенно ясно сказано, что вы и другие члены вашей семьи предлагают 200 фунтов вознаграждения за сведения, которые приведут к наказанию совершившего это преступление, — это так?

О. Да.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Грейс Танай:

В. Этот человек (*показывает*) — тот же самый, которого ты видела на крыльце тем вечером?

О. Нет.

Констебль Инглиш под присягой:

В. Взгляните на фотографию номер три. Вы видите на фотографии номер три каблук ботинка, лежащего на правом боку?

О. Да.

В. Эти следы оставили вы?

О. Да.

В. Вы топтались по уликам, констебль.

О. В то время я думал, что нарушитель может находиться в задней комнате, прилегающей к этой.

В. Давно вы служите в полиции, констебль?

О. Тринадцать лет.

В. И до сих пор не научились сдерживаться, чтобы не оставлять такие следы? Зачем, по-вашему, были сделаны эти снимки?

О. Для предъявления в суде.

В. А на них повсюду кровавые отпечатки ваших ног. Неужели вы сочли необходимым пройтись с обеих сторон от трупа и вокруг него, констебль?

О. Да.

В. Почему?

О. Прежде всего в тот момент я должен был произвести осмотр трупа.

В. И что же именно вы осмотрели?

О. Я увидел рану справа на шее.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Миссис Элизабет Энн Уильямс под присягой:

В. Вы приходитесь подсудимому Маттану тещей?

О. Да.

В. Видели ли вы Маттана вечером шестого марта?

О. Тем вечером, когда все случилось?

В. Как вам известно, именно тем вечером была убита мисс Волацки.

О. Да.

В. Вы видели его тем вечером?

О. Да, я видела его тем вечером.

В. Начнем по порядку: где вы находились, когда видели его?

О. Я была у себя в комнате. Этот человек постучался в мою дверь. Открыла моя дочь, он спросил у нее, не нужны ли ей сигареты. Я подошла к двери и выглянула из-за ее плеча. Он стоял у двери, и я сказала, что нет, сигареты мне не нужны, потому что у меня нет денег, и тогда я увидела, что он…

В. Когда вы говорите «этот человек», кого вы имеете в виду?

О. Маттана.

В. Человека, который сидит вон там (*показывает*).

О. Да, моего зятя.

В. Когда он ушел, на часах было три или четыре минуты девятого?

О. Это когда он пришел.

В. Вы уверены насчет времени?

О. Да, полностью.

В. Как вы так точно определили время?

О. Потому что мои дети все уже были готовы раздеваться, и я сказала своей дочери: «Пора», сказала, встала с кресла и посмотрела на часы. И еще сказала: «Время уже подходит, девятый час; давай-ка уложим детей и хоть переведем дух».

В. Ваши дети ложатся в постель и дают вам возможность перевести дух примерно в восемь часов?

О. Да.

В. Давно вы знакомы со своим зятем?

О. Скоро уже пять лет.

В. За это время он когда-нибудь носил усы?

О. Ни разу не видела.

В. Я хотел бы продемонстрировать свидетельнице ботинки, вещественное доказательство номер девять. (*Передает ботинки.*) На это желтое на них не обращайте внимания. Вы когда-нибудь раньше видели эту обувь?

О. Да.

В. Это вы купили эти ботинки своему зятю?

О. Нет, я взяла их у своего брата, он разбирает старье на свалке. Он и принес их домой, думал, может, подойдут моему мужу. Они не подошли, и я спросила подсудимого, не купит ли он их за четыре шиллинга, он и купил.

В. Вы не помните приблизительно — я не говорю, что вы обязательно должны вспомнить точную дату, — задолго ли до убийства мисс Волацки, если это было до ее убийства, вы продали эти ботинки этому человеку?

О. Примерно за две недели.

В. И если не считать этого желтого, на которое я уже просил вас не обращать внимания, находятся ли эти ботинки в том же состоянии, в каком были, когда принадлежали вам?

О. Я бы сказала, сейчас они немного почище.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Миссис Мэй Грей под присягой:

В. Вы торгуете поношенной одеждой в доме номер 37 по Бридж-стрит, Кардифф?

О. Да.

В. Вы знаете подсудимого Маттана?

О. Да.

В. Он был вашим покупателем?

О. Да.

В. Вы помните вечер четверга шестого марта, когда была убита мисс Волацки?

О. Да.

В. Я попросил бы вас говорить громче, чтобы все эти леди и джентльмены хорошо вас слышали. Прежде всего ответьте нам, в какое время вы видели Маттана?

О. Это было незадолго до девяти часов.

В. Где это было? Где вы находились, когда видели его?

О. Он пришел спросить, есть ли у меня одежда на продажу.

В. И что вы ответили?

О. Ответила: «У вас денег нет, чтобы ее купить, так что уходите».

В. Когда вы так сказали ему, что произошло?

О. Он положил шляпу на прилавок и вытащил полный бумажник купюр, он даже не закрывался, толстая такая была пачка денег, и сказал: «Денег у меня полно».

В. Вы не могли бы предположить, сколько денег там было?

О. Наверняка фунтов восемьдесят, а то и сто, еще бы, такая толстая пачка.

В. Вы сначала скажите нам вот что: как выглядел Маттан?

О. Он задыхался после бега, выглядел страшно взбудораженным и бежал.

В. Как он был одет?

О. В темно-синий пилотский китель и белые брюки, и сверху темный плащ, и шляпу-трильби, и держал под мышкой зонт, и на руках были перчатки.

В. Какие именно на нем были перчатки?

О. Я вышла за дверь посмотреть, не идет ли из школы моя дочь, а он как припустит к Милли-сент-стрит.

В. Я спросил вас, какие у него на руках были

перчатки.

О. Слуховой аппарат что-то барахлит, плохо слышу.

В. Какие перчатки были у него на руках?

О. Нет, это были купюры по одному фунту.

В. Какие на нем были перчатки?

О. Да, прямо к Миллисент-стрит.

В. В каких он был перчатках?

О. В темных и очень мокрых.

В. Вы занимаетесь продажей поношенной одежды, правильно?

О. Да, раньше занималась, а теперь уж больше не продаю.

В. Вы хотите зарабатывать деньги, разве нет?

О. Мне идет жалованье. Не нужны мне ничьи деньги. Не понимаю, о чем вы говорите.

В. Будьте любезно внимательно слушать мои вопросы, прежде чем спешить с ответами. Если вы не хотите зарабатывать деньги, почему же тогда у вас было открыто в тот вечер, когда вы видели Маттана?

О. Потому что, даже если дела у нас не идут, платить за аренду все равно надо.

В. Вы ведете бизнес не ради удовольствия, а чтобы зарабатывать на жизнь?

О. Да. Но какое отношение это имеет к суду?

В. Итак, ваш ответ присяжным…

О. Вы не имеете никакого права спрашивать об этом. Больше я не желаю отвечать на такие вопросы.

В. Боюсь, вам придется. Вы сказали судье и присяжным, что не продали подсудимому одежду и велели ему уходить, потому что у него не было денег. Это так?

О. Да.

В. А потом он, согласно вашим словам, показал вам, что деньги у него есть?

О. Да, и я все равно сказала, чтобы он уходил.

В. Почему?

О. Потому что не хочу иметь с ним никаких дел, уже и так хватило с ним забот у меня в заведении, и я понятия не имею, откуда у него деньги, ведь только накануне вечером он норовил взять взаймы фунт.

В. Когда вы услышали о том, что мисс Волацки убита?

О. Что, простите?

В. Вы не слышали мой вопрос?

О. Да, я отвечу на него, когда услышу.

В. А вы не тянете время, чтобы подумать?

О. Что, простите?

В. Мисс Грей, когда вы узнали, что мисс Волац-

ки убили?

О. Я не знала до следующего дня, когда вышли газеты.

В. То есть до дня седьмого марта. Вы читали про убийство?

О. Да, читала и сразу подумала вот об этом джентльмене.

В. А читали про вознаграждение?..

О. Не читала я про вознаграждение. Никакое вознаграждение меня вообще не интересует.

В. Вы не дали мне закончить вопрос. Прошу вас…

О. Не интересуюсь я вознаграждением, вообще нисколько не интересуюсь.

В. Но несмотря на то, что вы узнали об убийстве мисс Волацки на следующий день, и несмотря на то, что, по вашим словам, вы сразу вспомнили человека, приходившего к вам в лавку в тот же вечер, когда была убита мисс Волацки, с заявлением в полицию вы явились лишь тринадцатого числа, неделю спустя?

О. Я дождалась, когда ко мне придет полиция.

В. Вы говорили, что он вел себя грубо и не понравился вам?

О. Никогда я такого не говорила.

В. Он ведь вам не нравится, да?

О. Он меня не интересует. Нужен он мне, чтобы еще нравиться. Нравиться мне — это еще зачем?

В. Как следует из ваших слов, он вел себя с вами грубо?

О. Да, и даже очень грубо, и со всеми остальными, насколько я знаю.

В. И по этой причине он вам не нравится?

О. А с чего он мне должен нравиться? Нет, конечно. Не нравится он мне.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Мистер Гарольд Кавер под присягой:

В. Вы живете в районе доков Кардиффа, верно?

О. Да.

В. По профессии вы плотник?

О. Да.

В. Шестого числа прошлого марта, в четверг вечером, вы были где-либо в окрестностях Бьют-стрит?

О. Да, был.

В. И вам случилось проходить мимо лавки мисс Волацки?

О. Да.

В. Сообщите судье и присяжным, где вы провели время перед тем, как проходили мимо лавки мисс Волацки. Объясните присяжным, где вы находились.

О. Обычно, когда я ухожу с работы, я чаще всего иду в миссию, очень люблю играть в бильярд и прихожу туда обычно без десяти или без пятнадцати восемь, а тут увидел, что все столы заняты, так что не поиграешь, вот я и сыграл вместо этого несколько партий в шашки. Когда закончил, кто-то сказал, что уже восемь, и я решил, что пора домой. Потом обнаружил, что у меня не осталось сигарет, а в миссии в такое время их тоже нет, и я подумал дойти до клуба, посмотреть, не добуду ли там.

В. Приближаясь к лавке мисс Волацки, вы прошли мимо мальтийского ночлежного дома?

О. Да.

В. Вы прошли мимо мужчин?

О. Да.

В. Когда вы прошли мимо мальтийцев и мимо лавки мисс Волацки, вы не видели никого возле лавки мисс Волацки или внутри лавки?

О. Вообще-то я видел кое-кого, но не после того, как прошел мимо лавки мисс Волацки. Это было, когда я только приближался к лавке мисс Волацки и мальтийцам, тогда я и видел вон того человека, подсудимого.

В. Когда вы в первый раз предоставили эти сведения полиции или когда у вас в первый раз

взяли показания по этому поводу?

О. В первый вечер, когда нам всем сообщили об убийстве этой женщины, я был там; как вы знаете, я видел подсудимого выходящим из лавки. Естественно, я не придал этому значения, а когда услышал об убийстве, все еще не мог поверить, что это был цветной, пока не вернулся домой и не узнал на работе, что ищут сомалийца. Тогда я и сообразил вдруг, что видел этого человека, обратился в полицию и подал заявление.

В. Когда это было — день спустя, два дня спустя, три дня спустя?

О. Нет, кажется, на следующий день.

В. Как вы совершенно четко выразились, у вас не было никаких причин считать, что именно этот человек совершил убийство. Имелись ли у вас вообще какие-либо причины в то время, когда, как вы говорите, видели кого-то — по вашим словам, видели этого человека — в дверях или на крыльце лавки мисс Волацки, обращать на него внимание?

О. Нет, совершенно никаких, ни малейших, потому что я знаю, что мисс Волацки иногда делает людям одолжение, продавая им некоторые вещи в определенные часы, если они этого хотят.

В. Вы лично знакомы с Маттаном?

О. Лично нет, я видел его в округе. В «Колониальном дансинге» и возле сомалийского ночлежного дома на Бьют-стрит, а еще видел его то тут, то там в доках.

В. Вы не встречали в Бьюттауне людей, внешне похожих на него?

О. К сожалению, никогда этого не замечал.

В. Именно вы, проходя мимо лавки мисс Волацки, увидели некоего человека. Вы абсолютно уверены, что человеком, которого вы видели, был Маттан?

О. Уверен.

В. Мне придется высказать предположение, что вы ошибаетесь: может быть, вам только кажется, что вы видели этого человека, а на самом деле нет?

О. Если бы я не был в этом уверен, я бы здесь не стоял: я не имел бы права сомневаться, или заявлять что-либо, или вообще приходить сюда, если бы не был уверен в том, кого видел.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Уильям Реджиналд Лестер Джеймс под присягой:

В. Доктор Уильям Реджиналд Лестер Джеймс, вы преподаватель патанатомии в Уэльской национальной школе медицины?

О. Да.

В. В прошлом марте, седьмого числа, в Институте патологической анатомии вы провели вскрытие убитой женщины, мисс Вайолет Волацки?

О. Да.

В. Вы можете сообщить нам о результатах вскрытия и выводах, к которым вы пришли?

О. Снаружи на правой стороне шеи имелось несколько резаных ран протяженностью от низа подбородка до затылка за ухом. Длина основной раны — восемь дюймов, глубина — два дюйма. Имеются также три раны меньшего размера, ведущие к основной и находящиеся на дюйм ниже ее, глубиной два дюйма. Обнаружен значительно менее глубокий порез длиной четыре с половиной дюйма, при нанесении которого была также разрезана блузка убитой между воротником и плечом. На левой лопатке имеется гематома примерно два дюйма в поперечнике.

В. Как могла возникнуть эта гематома?

О. В результате давления некоего тупого предмета размером с колено.

В. Могли ли нанести ее, надавив коленом?

О. Да, такое вполне возможно.

В. Обнаружено ли что-либо заслуживающее

внимания на голове убитой?

О. Да. Справа от макушки находится красное пятно, контрастирующее с общей бледностью тела.

В. На что оно указывает?

О. На то, что за волосы дергали.

В. Дергали за волосы или запрокидывали голову?

О. Запрокидывали голову, схватив за волосы.

В. У вас есть какие-либо предположения относительно того, какие разрезы были сделаны первыми — длинный основной, или три коротких, или же относительно порядка, в котором их нанесли?

О. Длинный основной разрез был сделан первым.

В. Привело ли появление этого разреза к образованию зияющей раны?

О. Да, вплоть до позвоночника.

В. Иными словами, в этом месте имеется отверстие?

О. Да, примерно полтора дюйма шириной.

В. Какое воздействие способна оказать основная рана, о которой идет речь?

О. Острый шок и сильное кровотечение.

В. На коленях и пальцах ног обнаружены сле-

ды крови. Думаю, вы намеревались упомянуть о них.

О. Да. На коленях и пальцах ног действительно присутствуют следы крови, как и на ладонях и суставах пальцев рук.

В. На что они указывают?

О. На передвижение ползком по испачканной кровью поверхности.

В. Каким был рост мисс Волацки?

О. Четыре фута десять дюймов.

В. А ее вес?

О. Десять стоунов и три фунта.

В. Причина смерти?

О. Кровотечение ввиду перерезанного горла.

В. Долго ли она оставалась в сознании после того, как горло было перерезано?

О. Я бы сказал, в лучшем случае не более трех минут.

В. Подтверждая или, во всяком случае, не опровергая высказанного мною предположения, что убийца вернулся, услышав, что мисс Волацки ползет в его сторону, и нанес три более поздние раны, стали бы вы ожидать появления значительных следов на ногах и обуви и, возможно, на руке, держащей оружие?

О. Да, на ногах и обуви, если только он не сле-

дил крайне внимательно, куда наступает.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Мистер Эрнест Леонард Мэдисон под присягой:

В. Вы чувствуете себя хорошо?

О. Да.

В. Уверен, суд не будет возражать, если вы сядете, если пожелаете.

О. Большое вам спасибо.

В. Ваша честь, свидетель нездоров. (*Свидетелю.*) Вы сдаете комнаты в доме номер 42 по Дэвис-стрит?

О. Да.

В. Шестого марта этого года, вечером в четверг, когда была убита мисс Волацки, в вашем доме снимал комнату подсудимый Маттан?

О. Да.

В. А ямаец по имени Ллойд Уильямс?

О. Да.

В. А некий Джеймс Манди?

О. Да.

В. Повернитесь лицом к присяжным. Занимал ли каждый из этих жильцов отдельную комнату с отдельным ключом?

О. Да.

В. Вы помните вечер четверга шестого марта?

О. Да.

В. В каком состоянии в то время было ваше здоровье?

О. Я болел, лежал в постели в гостиной.

В. Вы помните, как Маттан пришел домой тем вечером?

О. Да.

В. Что он сделал, когда пришел?

О. Он прошел в гостиную и сел на кушетку, рядом с ним сидел Джеймс Манди.

В. Я хочу, чтобы вы сообщили нам, в какое время пришел Маттан.

О. Это было или примерно без двадцати, или без четверти девять.

В. Вы достаточно уверены насчет времени, когда Маттан пришел домой в день убийства мисс Волацки?

О. Я находился под наблюдением врача, он предписывал мне принимать каждую таблетку в определенное время, поэтому я держал часы возле постели.

В. Как долго Маттан оставался в гостиной на нижнем этаже вместе с вами и Манди?

О. Он ушел оттуда минут десять одиннадцатого или примерно в одиннадцатом часу.

В. Как он вел себя, пока был в гостиной?

О. Он пришел ко мне в гостиную, сел на кушет-

ку, Джеймс Манди отдал ему «Эхо», он взял «Эхо» и бросил на пол. Обычно он говорит о ставках на бегах и футболе. Тем вечером мы с Манди и с ним пытались говорить о бегах.

В. Обычно этот человек говорил о ставках на бегах и футболе. А что случилось в тот вечер? Что делал Манди?

О. После того как Манди отдал ему газету и мы поговорили о футбольных ставках и бегах в тот день, больше он ни в чем не участвовал.

В. Вы имеете в виду, Маттан не участвовал в разговоре?

О. Он в нем не участвовал.

В. Для него это обычное явление или нет?

О. Очень необычное.

В. Если не считать молчаливости, вы заметили в нем еще какие-нибудь перемены?

О. Да.

В. Будьте добры, расскажите нам.

О. Он сидел на кушетке. Я лежал на кровати лицом к нему. Он, знаете, смотрел в окно, такой серьезный, я сам заметил и еще подумал, что он вошел в транс, как будто его кто-то пытался загипнотизировать.

В. Вам показалось, что он как будто в трансе?

О. Да.

СУДЬЯ: «Словно загипнотизированный» — вы это имели в виду?

О. Да, ваша честь.

В. Вы когда-нибудь раньше видели его таким?

О. Раньше никогда.

В. Когда он покидал вашу комнату, чтобы уйти к себе, он как-нибудь попрощался?

О. Вообще никак.

В. Для него это обычное явление?

О. Совершенно необычное. Он всегда желает мне спокойной ночи.

В. Сообщите судье и присяжным медленно, чтобы они слышали каждое слово, что именно он сказал об убийстве, когда говорил с вами в субботу?

О. Я говорю ему: «Ну, мисс Волацки крепкая женщина, так что только очень сильный мужчина может удержать такую, чтобы убить», а он прямо так мне и говорит: «Да это легко». Я ему: «О чем ты?» А он: «Можно подойти к этой женщине со спины и схватить ее за горло — вот так».

В. Вы демонстрируете, как зажимаете левой рукой себе рот, а правой захватываете шею, правильно?

О. Да.

В. Скажите нам вот что, будьте добры: известны

ли вам случаи, когда Маттан покидал дом в одной одежде, а возвращался в дом номер 42 позднее, одетый уже совсем иначе?

О. Да, такое бывало много раз.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Мистер Гектор Макдоналд Купер под присягой:

В. Вы являетесь главой службы безопасности стадиона Армз-Парк, где проводятся собачьи бега?

О. Да.

В. Вы посещаете собачьи бега в Сомертон-Парке, Ньюпорт?

О. Да.

В. И в Кардиффе. Вы знаете подсудимого Маттана?

О. Знаю.

В. У вас имелись конкретные причины говорить с ним?

О. Да.

В. О чем вы с ним говорили?

О. О попрошайничестве у посетителей.

В. Вы сообщили ему о том случае, когда к вам поступила жалоба?

О. Сообщил.

В. И вы известили его, что, если он будет продолжать в том же духе, вам придется попросить

его покинуть ипподром?

О. Это так, да.

В. Вы помните, когда это произошло?

О. Нет, не могу припомнить.

В. А шестое марта 1952 года помните?

О. Помню.

В. Тот случай был до или после?

О. До.

В. Вы видели подсудимого седьмого марта?

О. Да.

В. Это было в Сомертон-Парке?

О. Да.

В. Где именно там вы виделись с ним?

О. У главного входа, между окнами приема ставок и выдачи.

В. На случай, если кто-либо из присяжных незнаком с принципами работы тотализатора: в окнах выдачи выплачивают клиентам выигрыш, правильно?

О. Да, если их ставка оказалась удачной.

В. А какое впечатление сложилось у вас?

О. Ну, в тот раз он сворачивал в рулон пачку купюр и шел от окна выдачи к южной стороне стадиона.

В. Вы не знаете, делал он какие-либо ставки или нет?

О. О, ставки он делал, да.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Мисс Анджела Мэри Браун под присягой:

В. В марте месяце этого года работали ли вы помощником продавца в лавке мисс Волацки?

О. Да.

В. Как давно к тому времени вы работали в лавке мисс Волацки?

О. Я работала у мисс Волацки шестнадцать месяцев.

В. Вы знаете подсудимого Маттана?

О. Только в лицо.

В. Вы когда-либо видели его в лавке?

О. Да.

СУДЬЯ: Вы можете вспомнить, когда в последний раз он заходил в лавку перед убийством мисс Волацки?

О. В последний раз я видела его за несколько недель до убийства.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Сержант полиции Дэвид Моррис под присягой:

В. Вы являетесь служащим полиции Кардиффа?

О. Да.

В. Шестого числа прошлого марта вы побывали

в доме 42 по Дэвис-стрит вместе с констеблем Лейвери?

О. Да, в 22:25 я находился в доме 42 по Дэвис-стрит.

В. С вашей точки зрения и точки зрения детектива Лейвери, когда вы видели Маттана в тот же вечер, как была убита мисс Волацки, было ли найдено тем вечером что-либо, позволяющее проследить связь этого человека с тем убийством?

О. В тот конкретный вечер ничего не было обнаружено.

В. Не могли бы вы взглянуть на этот бумажник? (*Подает вышеупомянутый.*) Этот бумажник, найденный в комнате, в дальнейшем был передан на исследование в лабораторию судмедэкспертизы?

О. Насколько мне известно, да.

В. Сержант Моррис, насколько вы можете судить, во время обыска комнаты Маттана в ту ночь не было обнаружено ни крупных денежных сумм, ни испачканной кровью одежды?

О. Комнату освещала маломощная лампочка, но, насколько можно было видеть невооруженным глазом, следы крови на одежде отсутствовали.

В. Уверен, вы не желаете показаться неприязненным. В дальнейшем был проведен полный и

тщательный обыск комнаты при дневном свете?

О. Правильно.

В. И в ней не было найдено ничего имеющего доказательную силу?

О. Именно так.

В. Из протокола показаний совершенно ясно, что Маттан, по крайней мере поначалу, вполне охотно отвечал на ваши вопросы. В первой части вашей беседы он сотрудничал с полицией?

О. Да.

В. И только по прошествии половины беседы, когда был упомянут цветной мужчина, он проявил волнение?

О. Да, и очень сильное.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Старший инспектор Гарри Пауэлл под присягой:

В. Будьте добры, прежде всего сообщите суду следующее: когда двенадцатого марта вы увидели подсудимого Маттана, мысленно вы уже пришли к выводу о корректности предъявления ему обвинений в убийстве?

О. Для этого у меня было недостаточно доказательств.

В. Почему же тогда вы зачитали ему предупреждение?

О. Справедливости ради по отношению к нему. Если в том, что он намеревался сказать мне, было что-то не так, мне хотелось, чтобы он знал, что не обязан отвечать на вопросы, которые я ему задаю.

В. То есть это было сделано не потому, что на этом этапе вы уже приняли решение предъявить ему обвинение?

О. Его я определенно не принимал.

В. Инспектор, вы ведь послали одного из ваших подчиненных, сержанта Морриса, за этим человеком?

О. Да.

В. Сержант Моррис сам доставил его в главное управление полиции?

О. Да.

В. И в дальнейшем, вне зависимости от интервалов и времени, подсудимый непрерывно находился в помещении полицейского управления семь часов и тридцать одну минуту или около того?

О. Да, находился.

В. Говорили ли вы ему в этот промежуток времени, что он может уйти домой, когда пожелает?

О. Думаю, он об этом знал, но нет, конкретно об этом я ему не говорил.

В. На одном этапе составления протокола Маттан дал такой ответ: «Да хоть двадцать лет меня здесь продержите, ничего не изменится; я говорю вам то, что знаю, я ухожу сегодня отсюда; не надоело вам?»

О. Да, так он ответил.

В. Разве не очевидно из одного этого ответа, что Маттан находился под впечатлением, будто его держат под стражей?

О. Я так не думаю. Его удерживали там исключительно в целях дознания. Вопрос об обвинении не стоял.

В. Его там удерживали?

О. Против его воли его не *удерживали*. Если бы он в какой-то момент заявил, что хочет уйти, у меня не было бы выбора, кроме как отпустить его.

В. Вам, мне и суду это известно, а знал ли об этом Маттан?

О. Он несколько раз заводил разговор со мной о том, будут ли ему предъявлены обвинения, и я отвечал, что у меня нет доказательств, чтобы в чем-либо обвинить его.

В. Этот факт отражен в протоколе допроса?

О. Возможно, нет. Но есть и другие моменты, которые в нем не фигурируют. Однако он составлен так точно, как это возможно.

В. Я вовсе не хочу сказать, что в ваших документах имеются неточности. Вы зафиксировали то, что считали имеющим отношение к данному делу.

О. Да.

В. Этот человек сомалиец, правильно?

О. Да, так и есть.

В. И хотя он сравнительно хорошо владеет английским языком, он не всегда стремится изъясняться так, чтобы его было легко понять?

О. Он изъясняется совершенно понятным образом.

В. И, несмотря на тот факт, что он цветной и явно иностранец, вы ни разу не сообщили ему, что он вправе покинуть помещение полиции, если пожелает?

О. Конкретно этого я ему не говорил, да.

В. Старший инспектор, ваше внимание когда-либо привлекал другой человек, схожий внешностью с Маттаном?

О. Не могу такого припомнить. Мое внимание на данный момент привлекал ряд людей.

В. А если конкретно, тюремный надзиратель по фамилии Смит в присутствии оплачиваемого солиситора, состоящего на службе у адвоката, инструктирующего меня?

О. Не думаю, что речь идет обо мне, сэр.

В. Вы считаете, что это были не вы?

О. Не припоминаю подобного инцидента.

В. Вы знаете кого-либо на Бьют-стрит или в Бьюттауне, похожего на Маттана?

О. Нет, сэр, отнюдь. У него совершенно нетипичная для сомалийца внешность. Некоторые обычные для сомалийцев черты у него сочетаются с теми, которые, как правило, не отождествляют с ними.

В. Вы знаете мистера Хьюза, юриста-стажера?

О. По-моему, да. Насчет его фамилии не уверен. Если он стажируется у мистера Моргана, тогда я его знаю.

В. Вы видели его в главном корпусе тюрьмы Кардиффа во вторник первого июля?

О. Да, видел, сэр.

В. Вы помните это?

О. Да.

В. И при этом присутствовал кто-то из надзирателей?

О. Да.

В. Вы помните, чтобы кто-нибудь упоминал в том случае о человеке, очень похожем на Маттана и стоящем возле тюрьмы?

О. Этого я не помню. Вполне возможно, но при-

помнить никак не могу.

В. Вполне возможно?

О. Да.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

Заключенный под присягой:

В. Ваше полное имя — Махмуд Хуссейн Маттан?

О. Да.

В. Мистер Маттан, говорите громко, чтобы эти двенадцать дам и джентльменов слышали, что вы отвечаете. Вы приехали в Англию в 1947 году?

О. Да.

В. И с тех пор живете в Кардиффе?

О. Да.

В. Маттан, вы обвиняетесь в умышленном убийстве Вайолет Волацки. Вы убили Вайолет Волацки?

О. Нет, никогда.

В. Вы помните шестое марта этого года?

О. Да.

В. Где вы были тем днем?

О. Я был в кино.

В. Примерно в какое время вы отправились туда?

О. В половине пятого.

В. А когда ушли?

О. В половине восьмого.

В. Куда вы направились из кинотеатра?

О. Прямо туда, где я живу.

В. В какое время вы пришли туда, где живете?

О. Без двадцати восемь.

В. Вы проходили по Бьют-стрит тем вечером?

О. Нет.

В. Вы помните показания мистера Гарольда Кавера? Мистер Кавер сообщил, что видел вас тем вечером, вы шли от лавки мисс Волацки. Вы помните, как он это говорил?

О. Я помню, как он это говорил, но меня там не было, меня вообще там не было.

В. То есть это были не вы — тот человек, которого он видел?

О. Это был не я.

В. В тот вечер вы вообще видели миссис Грей?

О. Я ее не видел.

В. Вы заходили к ней в лавку в тот день, неважно, в какое время?

О. Нет.

В. Позднее тем вечером полицейские застали вас там, где вы живете?

О. Да.

В. Вы слышали, как констебль Лейвери сказал,

что нашел в тот день в кармане ваших брюк несколько серебряных и несколько медных монет. Вы слышали, как он это сказал?

О. Да.

В. На следующий день вы получили откуда-нибудь деньги?

О. В пятницу?

В. На следующий день после того, как к вам приходила полиция.

О. Да.

В. Откуда вы их получили и сколько?

О. Два фунта и три шиллинга я получил как государственное пособие.

В. Так вот, Маттан, когда к вам приходили офицеры полиции, сержант Моррис говорит, что спустя некоторое время вы заволновались. Это правда?

О. Нет, ничего такого; я был в постели, спал, когда он постучал ко мне.

В. Вы не имели ничего против того, чтобы он вошел, или нет?

О. Ну, я спал и не могу сказать, в какое время это было, но услышал, как ко мне в дверь стучат, и вылез из постели. Перед тем как открыть дверь, я включил свет и спросил: «Кто там?» — и он ответил: «Полиция». И я открыл дверь, а сержант

Моррис и другой детектив, не помню его фамилию, входят.

В. Сержант Моррис спрашивал у вас, где вы были тем вечером?

О. Первое, что он меня спрашивает, — он говорит мне: «Сегодня вечером случилось кое-что серьезное, нам надо увидеться с вами как можно скорее».

В. Передайте свидетелю вещественное доказательство номер десять, будьте добры. (*Показывает вышеупомянутое.*) Взгляните на этот документ. Чья на нем подпись?

О. Ну, прочитать я не могу, кто там, а подпись эта моя.

В. Вы помните, как подписывали этот документ?

О. Ну да, подписывал.

В. Его прочитали вам перед тем, как вы его подписали?

О. Он не читает мне, и я не читаю сам; я не читаю и не пишу.

СУДЬЯ: То есть документ вам не прочитали?

О. Он не читает мне.

В. Покажите заключенному обувь, будьте добры. (*Показывают вещественное доказательство номер девять*). Раньше вы носили эти ботинки,

Маттан?

О. Я не носил их раньше, я только купил их за несколько дней до убийства и ни разу с тех пор не надевал до двенадцатого марта. Эти ботинки я держал, чтобы гулять, так я их не носил.

СУДЬЯ: Спросите его, надевал ли он их шестого марта.

В. Шестого марта на вас были эти ботинки?

О. Нет.

В. Вам известно, как на этих ботинках появились пятна крови?

О. Нет, не могу вам сказать, но, когда их у меня забрали, они были не в таком состоянии.

СУДЬЯ: Полагаю, он имеет в виду желтые пятна.

В. Видимо, да, ваша честь. (*Свидетелю.*) Вы говорите об этих желтых пятнах, верно?

О. Нет. Ботинки были как-то почище.

В. Ботинки были чище?

О. Они были чище, чем вот это.

В. Эти пятна крови из лавки мисс Волацки?

О. Нет, она тут ни при чем. Совсем ни при чем, потому что в тот день эти ботинки я никогда не надеваю, и вообще туда не заходил, и ничего об этом не знаю.

В. Когда вы в последний раз перед убийством

побывали в лавке Волацки, Маттан?

О. За все время, пока я в Кардиффе, я бывал в этой лавке только один раз, это было в 1949 году.

В. И с тех пор там не бывали?

О. Я — нет. Я прохожу мимо, но в лавке никогда не был.

В. Так, давайте-ка посмотрим. Мисс Браун ошибается, когда говорит, что видела вас в лавке Волацки позже 1949 года, так? Продавщица из этой лавки ошибается?

О. Я вообще ее не знаю.

В. Ваша теща, миссис Уильямс, ошибается, когда говорит нам, что вы заходили к ней в дом примерно в восемь часов и спрашивали, не нужны ли ей сигареты?

О. Когда я был там, было без двадцати восемь, это когда я прихожу из кино.

В. Вы говорили с миссис Уильямс?

О. Да, но у меня не было причин рассказывать вам о моих делах с женой, я не имел права вам говорить и не имел права говорить полиции.

В. Видите ли, вам предстоит ответить на мой вопрос. Просто скажите судье и присяжным, теперь вы подтверждаете, что говорили с миссис Уильямс на обратном пути из кино?

О. Я говорю с моей женой, но у меня нет причин

рассказывать об этом вам.

В. Так почему же вы не сообщили полиции: «Я говорил с женой»?

О. Я не могу сказать полиции, потому что полиция тут ни при чем; я не могу рассказывать о делах между мной и моей женой.

В. Вы говорите, что не сообщили об этом полиции потому, что происходящее между вами и вашей женой полиции не касается. Правильно?

О. Я не говорю полиции, я не имел права никому говорить.

В. Некоторое время назад вы дали суду понять, что не прочитали этого протокола, вещественное доказательство номер десять, потому что не умеете читать?

О. Да.

В. Вам известны показания, согласно которым вы регулярно заходили к мистеру Мэдисону и брали «Эхо». Зачем вы это делали — чтобы рассматривать иллюстрации или читать его?

О. Просто по привычке, если делал, никогда не задумывался, но если смотрел, то только скачки и снимки. Вот зачем я его смотрел; а читать я совсем не читаю.

В. Позвольте задать вам вопрос о миссис Грей. Миссис Грей — та глухая дама, которая давала

показания. Вы заходили к ней в лавку время от времени за одеждой?

О. Нет.

В. Вы никогда не бывали у миссис Грей, чтобы купить одежду?

О. Нет.

В. Имеется в виду, ни в какое время, правильно?

О. Ни в какое время, потому что мне нет никакого дела до поношенной одежды.

В. Верно ли, что вечером в пятницу вы находились на стадионе Сомертон-Парк и в вашем бумажнике насчитывалось пятнадцать-двадцать фунтов купюрами в один фунт?

О. С тех пор как я вернулся с моря, я никогда не ходил с этим бумажником. Он всегда был у меня в чемодане, и полиция достала его из моего чемодана, а я им никогда не пользовался.

В. Каким бы бумажником вы ни пользовались, верно ли, что вечером в пятницу, седьмого марта, в вашем распоряжении имелось пятнадцать-двадцать фунтовых купюр?

О. Нет.

В. На стадионе Сомертон-Парк?

О. Нет. Когда я пришел туда, у меня было всего денег тридцать пять шиллингов.

В. Верно ли, что вы делали ставки почти на каждый забег?

О. Ну да, потому что ставка всего два шиллинга.

В. Верно ли, что в субботу вы играли в карты на деньги?

О. Нет.

В. Имелось ли у вас шестого марта какое-либо место, куда вы могли зайти сменить одежду?

О. У меня нет другой одежды.

В. Видите ли, мистер Мэдисон сообщил судье и присяжным, что, если не ошибаюсь, одиннадцатого марта он видел, как утром вы вышли в рабочей одежде, позднее в тот же день он видел вас в городе одетым совершенно иначе, а когда позднее в тот же день вы вернулись в дом номер 42 по Дэвис-стрит, на вас была прежняя рабочая одежда. Мистер Мэдисон прав или нет в своих показаниях на этот счет?

О. Я не говорю о мистере Мэдисоне.

В. Но, как вы понимаете, придется, да, придется.

О. Я не намерен говорить о нем.

В. Вам придется, Маттан.

О. Мне нечего о нем сказать.

В. Был ли мистер Мэдисон прав или нет в своих

показаниях о том, что вы меняете одежду?

О. Не собираюсь я ничего предполагать про мистера Мэдисона; я не переодеваюсь, только когда я у себя.

В. Мэдисон не говорил, как странно, что кому-то в одиночку удалось убить невысокую полную женщину вроде мисс Волацки?

О. Мы с Мэдисоном поссорились в пятницу, потому в субботу я вообще с ним не говорил.

В. У вас есть привычка носить с собой нож или бритву?

О. У меня ее нет, я никогда не носил их с собой.

В. Отлично, присяжные смогут сами сделать выводы из этого ответа. Гарольд Кавер — вы ведь знаете такого?

О. Нет.

В. Опять вы качаете головой; вы имеете в виду «нет»?

О. Я его не знаю.

В. Вы знаете его в лицо?

О. Кого?

В. Гарольда Кавера, ямайца, который вчера давал показания, — вы знаете его в лицо?

О. Я его вообще не знаю.

В. А правда заключается, не так ли, в том, что вечером шестого марта вы зашли в лавку мисс

Волацки и убили ее? Разве не в этом правда?

О. Это неправда.

В. Перерезали ей горло ножом или бритвой?

О. Это не я.

В. И не в том правда, что потом вы ограбили ее, вынув из ящика деньги, больше сотни фунтов?

О. Нет.

В. И не в том правда, что далее вы бегом бросились в лавку миссис Грей и тем вечером пытались купить у нее поношенную одежду?

О. Это не я.

В. И не в том правда, что вы где-то и как-то сумели переодеться, прежде чем вернулись тем вечером домой?

О. Это не я.

В. На вас не было вон тех замшевых ботинок в тот вечер, когда вы зашли в лавку мисс Волацки?

О. Что?

В. Повторяю вопрос: на вас не было вон тех замшевых ботинок в тот вечер, когда вы зашли к ней в лавку?

О. Как ни странно, но я никогда не бывал в лавке мисс Волацки и никогда не надевал эти ботинки.

(*Свидетель покидает трибуну.*)

СУДЬЯ: Отлично, свидетели могут быть сво-

бодны. Присяжные, хочу еще раз повторить мое предостережение вам. Вы уже выслушали все свидетельские показания и завтра утром услышите речи обвинения и защиты, а потом я подведу итог; но вам надлежит оставаться непредвзятыми, пока вы не выслушаете все материалы по делу целиком и полностью, и в любом случае, разумеется, не следует обсуждать это дело с посторонними.

13. Саддех йо тобан

Выступление защиты

Мой ученый друг со свойственной ему непредвзятостью заявил, что свидетельства по этому делу целиком и полностью косвенны. Выступая от имени защиты, я ни в коем случае не намерен оспаривать это утверждение. Должно быть очевидным, уважаемые присяжные, что по этому делу представлены лишь косвенные свидетельства, и вам предлагается сделать из этих косвенных свидетельств определенные выводы.

А теперь задумайтесь также о том, что мой ученый друг только что изложил в двух словах суть дела, построенного обвинением. Забыл, сколько именно — тридцать девять или сорок один — свидетелей предстало перед вами, но, в сущности, итогом, сутью и столпом дела обвинения являются всего два свидетеля из этого числа. Один из них — мистер Гарольд Кавер, который видел Маттана по соседству с лавкой, где во время совершения преступления была так жестоко убита мисс Волацки, второй — миссис Грей, которая видела Маттана после этих событий располагающим

крупной денежной суммой.

Прежде всего, как сказал мой ученый друг, все истории, объяснения, показания и свидетельства, относящиеся к Маттану, изобилуют ложью.

Уважаемые присяжные, я попрошу вас, пока буду комментировать свидетельства, вспомнить и не забывать, что вдобавок к отрицанию предположений, высказанных ему моим другом, он также отрицал те моменты свидетельств, которые недвусмысленно говорили в его пользу. Зачем ему это понадобилось? Глядя на него, следует задать себе вопрос:

Что он такое?

Наполовину дитя природы?

Наполовину отчасти цивилизованный дикарь?

Человек, запутавшийся в паутине обстоятельств? Который попал под подозрение полиции и, поскольку понимал, что его подозревают, по-детски пытался лгать, чтобы выкрутиться — *пытался лгать в поисках выхода*. Так и получилось, что он предстал сегодня перед нами.

Я вовсе не пытаюсь держать вас за дураков, уважаемые присяжные, предполагая, что хоть *что-нибудь* из сказанного им в *тот или иной* момент является правдой. Вы видите это сами.

Но заклеймить его как лжеца — далеко не то же самое, что заклеймить его как убийцу. Он лгал, о чем, несомненно, стоит задуматься, исключительно из страха перед последствиями. Он считал, что если так и будет повторять ложь, то в конце концов выкрутится.

Из показаний сержанта Морриса и других совершенно ясно, что он не из тех людей, которые испытывают приязнь к полиции; полиции он не доверяет. Вы помните, как он, когда к нему пришли в ту ночь, начал называть полицейских лжецами. Задумайтесь о том, что он сам не без того же греха, но, уважаемые присяжные, это первое, что я прошу вас принять от защиты: что защита в данном деле ни на миг не полагается *ни на единое слово*, сказанное Маттаном. В данном деле защита строится на свидетельствах обвинения, и только одного обвинения, и я прошу вас сбросить со счетов показания Маттана, все эти разговоры о неправде, увиливания и ложь, которую мы от него услышали.

Вспомним, в каких обстоятельствах Кавер видел человека, которого он сейчас опознает как Маттана: беглый взгляд, встреча на улице в четверть девятого сырым вечером в начале марта; темно, вокруг несколько человек, — в сущности,

он указывает как на одну из причин, по которой запомнил эту встречу, что ему пришлось посторониться и пропустить его. В Маттане нет ничего примечательного, что могло бы привлечь внимание. Только позднее, услышав об убийстве, свидетель вспоминает эту встречу и говорит: «Я помню его, да, это был Маттан, да, он находился совсем рядом с лавкой мисс Волацки тем вечером и в то время; пожалуй, надо сообщить об этом в полицию», что он и делает, и поступает, как полагается порядочному гражданину и как, несомненно, поступил бы каждый из вас в подобных обстоятельствах.

Сколько денег можно отследить у этого человека? Самое большее — пятнадцать-двадцать фунтов, и эти пятнадцать-двадцать фунтов — сумма, которую у него видели на собачьих бегах в Сомертоне, Ньюпорт, на следующий день после убийства. Уважаемые присяжные, как он раздобыл их? И вот одно из доказательств, что Маттан лжет, и это несомненно, потому что глава службы безопасности на собачьих бегах в Сомертоне сообщил нам, что видел этого человека отходящим от окна выдачи — по его словам, «ему, видимо, повезло».

Что касается запачканных кровью замшевых

ботинок — задумайтесь, уважаемые присяжные, вот о чем: взгляните на фотографии, посмотрите на весь ужас, запечатленный на них. Вам не кажется, что если бы Маттан был в этих ботинках и совершил убийство, то ботинки были бы запачканы кровью гораздо сильнее? Решать вам, конечно, но неужели вы так не думаете? Смотрите, как забрызгано кровью все вокруг. И вы считаете микроскопическое количество крови на этих ботинках свидетельством, неизбежно приводящим к выводу о виновности этого человека?

Обвинение предлагает вам считать, что некие зловещие выводы можно сделать из того факта, что этот цветной мужчина, предположительно матрос, ранее носил с собой нож или бритву. Все вы люди, умудренные житейским опытом. Известно ли вам, или кажется ли вам маловероятным, или кажется ли вам вполне возможным, что большинство цветных мужчин и моряков, живущих в этой части мира, не так уж редко имеют при себе бритву? Но, уважаемые присяжные, слышали ли вы когда-либо, при всем вашем опыте, чтобы мужчина носил с собой две бритвы одновременно, потому что вовсе не ту бритву, которой была нанесена рана мисс Волацки, обнаружила полиция в ту же ночь в одежде подсудимого?

Вы понимаете, что это означает? Это означает, что у Маттана имелась вторая бритва и что он наверняка носил две бритвы одновременно.

Что еще есть против него? Прежде всего есть свидетели Мэдисон и Манди: Мэдисон — его домовладелец, который, о чем стоит задуматься, не питает пылкой любви к Маттану и уж точно стремился избавиться от него после визита полиции, что, пожалуй, ничуть не удивительно. Мэдисон сообщил, что тем вечером после возвращения домой Маттан был как в трансе, в то время как мистер Манди, еще один цветной, в тот вечер находившийся в комнате мистера Мэдисона, утверждает, что Маттан был очень грустным.

Во время заседаний суда подсудимый сидел позади меня. У меня не было возможности понаблюдать за ним, но у вас она была. Вы могли видеть, как он себя ведет — не сейчас, когда я привлек к этому внимание, а в других случаях, до того, как я обратил ваше внимание на него, или же когда он давал показания на свидетельской трибуне. В состоянии покоя его лицо, не правда ли, выглядит грустно, на нем выражена некоторая скорбь, и, если оно по той или иной причине пребывает в спокойном состоянии, естественным для него выражением является

грусть. Задумайтесь о том, что в его арсенале имеется пренебрежительная усмешка, которой он пользуется постоянно. Возможно, все дело в нервозности. Ведь как-никак, этот процесс связан с некоторым эмоциональным напряжением, разве нет? Но полагаете ли вы, что его грусть в тот вечер неизбежно связана с убийством мисс Волацки? Уважаемые присяжные, что это, если не натяжка, не попытка дать слишком много воли воображению?

По поводу перемещения Маттана: от лавки Волацки до его дома ноль целых девять десятых мили, и вдумайтесь: каким бы ребенком, полуцивилизованным дикарем и *кем там еще* он ни был, не настолько он глуп, чтобы, совершив особо кровавое убийство, садиться в автобус, где его состояние непременно заметят, ведь в автобусах людям нечем заняться, кроме как разглядывать друг друга. Если он побывал там, то почти наверняка проделал весь обратный путь, все ноль девять мили, пешком. И если принять во внимание странную историю миссис Грей о том, что по пути к себе домой он заходил в лавку миссис Грей, то пройти пешком ему пришлось почти полторы мили, потому что расстояние от лавки Волацки до Дэвис-стрит через Бридж-стрит, 37,

где находится лавка поношенной одежды миссис Грей, составляет примерно 2100–2200 ярдов.

А теперь, уважаемые присяжные, рассмотрим на этом фоне показания миссис Грей. Не знаю, как они показались *вам*, уважаемые присяжные: к примеру, неужели вы считаете, что *предусмотрительный* убийца наденет шляпу-трильби и возьмет зонт? Не знаю, возможно, это просто вопрос опыта. Но как вам эти его белые брюки? *Как вам эти белые брюки?* Не правда ли, этой маленькой детали самой по себе достаточно, чтобы вся эта история выглядела *смехотворно*.

Что ж, уважаемые присяжные, делайте свой выбор. Примите во внимание то, как миссис Грей давала показания. Задумайтесь о том, что мистер Эдмунд Дэвис, пожалуй, говорил не так громко, как я, но она слышала его отчетливее, чем меня. Задумайтесь, как глухота *варьировалась* в зависимости от трудности вопроса, на который ей предстояло ответить. Это задача для вас. Немногочисленные сведения, в которых вы, уважаемые присяжные, вполне уверены, потому что она вам так сказала, наперечет: она невзлюбила Маттана, потому что он вел себя *грубо*, и чтобы объяснить поразительную нестыковку со временем, которое понадобилось, чтобы добраться от лавки Волацки

до ее лавки после убийства и до наступления девяти часов, вдумайтесь, что вся эта история о том, как Маттан запыхался, представляла собой всего лишь один случай приукрашивания, которым дополнены все прочие ее показания.

Уважаемые присяжные, является ли она свидетелем, дающим *убедительные* показания? Готовы ли вы по ее свидетельству вынести приговор хотя бы *собаке*, не говоря уже о человеческом существе? Вы не вправе делать это, уважаемые присяжные. Произошло ли что-либо в промежуток с седьмого марта, когда, по словам миссис Грей, она заподозрила Маттана, по тринадцатое марта, когда она дала показания полиции? Да, произошло: десятого марта на первой полосе вечерней газеты было опубликовано сообщение о вознаграждении в размере двухсот фунтов за сведения, благодаря которым подсудимого признают виновным.

Уважаемые присяжные, версия обвинения представляет собой лишь подозрения и только подозрения; подозрения, вызванные тем, что этот *глупый* человек нагромождал одну ложь на другую, причем *глупую ложь*. Ни разу, уважаемые присяжные, я, представляя вам версию защиты, не опирался на какие-либо из его слов.

Я опирался лишь на показания свидетелей, которых представило обвинение, чтобы добиться для него обвинительного приговора, и эти показания громче любых слов, которые мог высказать он сам, доказали, что он невиновен в этом преступлении, уважаемые присяжные. Невозможно находиться в двух местах одновременно. Он просто не мог преодолеть такое расстояние, сделать все, что якобы сделал, избавиться от денег, одежды и орудия преступления, а также пройти пешком более двух миль всего за тридцать пять минут.

Кто же в таком случае убил мисс Волацки? Уважаемые присяжные, в этом деле есть одно обстоятельство, которое до сих пор так и не было рассмотрено. Некий мужчина вошел в лавку мисс Волацки, мужчина, который не является заключенным Маттаном, мужчина, который носил усы, и никто не видел, как он вышел. Был ли он убийцей, с которым мисс Волацки закрылась тем вечером, в результате чего лишилась жизни? Вот кто убийца, уважаемые присяжные, а не человек вон там… (*указывает*). Оправдайте его.

Присяжные удалились на совещание в 14:36 и вернулись в зал суда в 16:10.

14. Афар йо тобан

Секретарь выездной сессии: Старшина присяжных, вы согласовали свой вердикт?

Старшина присяжных: Да, согласовали.

Секретарь: Глядя в лицо подсудимому, заявите, виновен он в убийстве или не виновен.

Старшина (поворачиваясь к подсудимому): Виновен.

Секретарь: И это вердикт всех присяжных, сэр?

Старшина: Да, сэр.

Секретарь: Махмуд Хуссейн Маттан, присяжные признали вас виновным в убийстве. Хотите ли вы назвать какую-либо причину, по которой смертный приговор не должен быть вынесен вам в предписанной законом форме?

(*Подсудимый не отвечает.*)

Судья (*надевая на голову черную шапочку*): Махмуд Хуссейн Маттан, согласно приговору данного суда, вас доставят отсюда в соответствующую закону тюрьму, а оттуда к месту казни, где подвергнут смерти через повешение, после чего ваше тело будет предано земле на территории тюрьмы, где вы содержались перед казнью. И да

помилует Господь вашу душу.

Капеллан: Аминь.

15. Шан йо тобан

Махмуд своими ногами дошел до новой камеры, камеры приговоренных, как называли ее надзиратели. Через разные запирающиеся двери, вверх по лестницам и снова вниз, по лязгающим мостикам и тихим коридорам, под конвоем, в наручниках, следом за врачом, он наконец достиг изолированного помещения, в котором последним содержался Аджит Сингх.

Тупо следуя за сопровождающими, мысленно он все еще в суде, который возвращается к нему вспышками: Лора всхлипывает на галерее, пока он покидает скамью подсудимых, полное оцепенение, с которым он выслушал приговор, забавный черный лоскут поверх седого парика судьи, пока он зачитывал приговор, похлопывание по плечу тюремного стражника, который снова надел на него наручники. Долгий обратный путь из Суонси в черном фургоне; лес, через который они проезжали, такой густой, что мог бы спрятать беглеца; старые деревни с серыми церквушками, приземистыми пабами и краснощекой ребятней, играющей на улицах; яркие

рекламы ярмарок и увеселительных лодочных прогулок, бледные тела, растянувшиеся в Александра-Гарденс. Он бесстрастно смотрел на все это, пока они не приблизились к докам и он не увидел металлически поблескивающее, манящее его море, а потом они свернули прямо на Бьют-стрит, проехали мимо пустой лавки убитой женщины, мимо ночлежки, где он жил, мимо его пристройки, мимо его парикмахера, мимо его лавки с пряностями, мимо его ломбарда, мимо компании игроков, в том числе Исмаила, на углу Анджелина-стрит. И тут его сердце треснуло.

Махмуд все еще в костюме, в котором был на суде, — коричневом, в тонкую полоску; он оказался наименее мятым в куче принесенных из ломбарда. Надзиратель снимает с него наручники и отвечает на вопросы начальника и врача, а Махмуд осматривает свою новую конуру. Она просторнее предыдущей камеры, в ней есть стол и два стула под забранным решеткой и сеткой окном, а еще — высокий шкаф у стены напротив кровати. Он направляется к койке, решив броситься на нее, зарыться в нее, но надзиратель хватает его за руку:

— Погоди-ка минутку, сначала тебе надо переодеться в форму.

Махмуд стряхивает его руку и молча продолжает идти к койке.

— Ну вот, опять он за свое, — вздыхает надзиратель.

— Вам следует проявлять твердость, Коллинз, беспорядков допускать нельзя, особенно в этой части тюрьмы. — Рослый, седовласый начальник поворачивается от двери, чтобы понаблюдать.

— Давай, Маттан, будь паинькой и надень эти брюки и рубашку.

Махмуд некоторое время держит одежду в руках, потом бросает ее на пол.

— Я буду паинькой и останусь в костюме.

— Надзиратели! — решительно распоряжается начальник.

Первый надзиратель хватается за пиджак Махмуда и стаскивает с его плеч.

— Не заставляй раздевать тебя, Маттан.

Врач сторонится, чтобы еще двое надзирателей вступили в борьбу, молча отбивающегося Маттана ставят на колени, и в шесть рук сдирают с него пиджак и рвут пуговицы с белой рубашки. Когда один из надзирателей начинает дергать его ремень и брюки, Махмуд видит перед своим лицом чужую ногу и кусает за нее. «По ее показаниям вы бы не повесили и собаку». Собака

должна кусаться. Собака, которую повесят, имеет право укусить. Он вспоминает, как врач восхищался его великолепными зубами — теперь им нашлась работа, все глубже и глубже вонзаться в темно-синюю шерстяную ткань и тугую ляжку.

Надзиратель бьет Махмуда в висок дубинкой и отдергивает ногу.

— Он меня укусил, сэр. — Он проводит ладонью по темной ткани и нащупывает кровь.

Махмуд со смехом запахивает на груди разорванную рубашку. В глазах стоят слезы.

Начальник тюрьмы качает головой и жестом велит надзирателям отступить.

— Что скажете, доктор? Как следует поступить?

— Я считаю, что на время его следует оставить в этой одежде. У него явная эмоциональная неуравновешенность, и мы, настаивая на своем, сейчас мало чего добьемся. Пойдемте со мной, Коллинз, я осмотрю вашу ногу.

— Ладно, пусть так. Оллкотт и Уэсли, займите свои места и держите меня в курсе его поведения.

Они кашляют. Раскачиваются. Болтают. Курят. Рыгают и пердят. И не уходят. В начале вечера электрический свет немного приглушают,

но они остаются. Махмуд отказывается от кормежки, которую они предлагают, и остается на койке, лицом к белым кирпичам, а в животе у него жалобно ноет и канючит. В десять часов дверь камеры открывается, но вместо того, чтобы убраться из нее, надзиратели меняются с новой парой. Махмуд бросает взгляд через плечо, пока они здороваются, и сразу отворачивается, ни с кем не встретившись глазами.

Если они решили помучить его, то нашли наилучший способ; успешнее любой физической боли, которую они могли бы причинить, невозможность уединиться вызывает у Махмуда желание содрать с себя кожу, вылезти из нее. Утром этот мерзавец солиситор разочаровал его, и этим он займется в первую очередь. Если к нему так относятся, ничто не помешает ему отнять у себя гребаную жизнь.

Ему хочется поубивать их всех: мать Лоры, для которой он «этот человек», Дока Мэдисона, с его бредом про «гипноз», лживого плотника-ямайца, и эту ведьму, Мэй Грей, с ее бесчестной ложью из алчности. И хуже всех, всех до единого, этот барристер. Краснорожий, брюхастый, напыщенный сукин сын с болтовней о «дикарях», будто речь о каком-то кино с джунглями. «Ребяческая ложь»,

«глупый человек», «дитя природы» — как у него только язык повернулся сказать такое? Да еще рассуждать про грустные глаза?

Где же Бог? Где Бог, на которого он потратил столько молитв и поклонов? Справедливейший, самый беспристрастный и милосердный? Почему он так упорно молчит? Что это еще за испытание? Неужели Бог допустит, чтобы его умертвили эти дикари, эти каннибалы? Которые пытались откормить его на убой. Эта черная шапочка, эта черная мантия со складками, будто крылья, острые серые губы, прямо как злая говорящая птица. Ваак, забытый бог-ворон сомалийцев, ожил, чтобы вырвать ему сердце, и молитвы, обращенные к Аллаху, вонзаются как стрелы в его ожесточенную, гордую плоть.

Урок. Его история прямо создана для ушей юнцов, сошедших со своего первого корабля. Махмуд уже в прошедшем времени. Предостережение. Не женитесь на них. Не живите с чужаками. Не крадите у нас. Помните, что с ним стало? Старожилы втайне рады, что теперь могут пугать необстрелянных мальчишек его призраком.

— Итак, что осталось?

— Мы подаем апелляцию, мистер Маттан.

— Кому?

— Уголовному апелляционному суду.

— И что они сделают?

— Они могут потребовать пересмотра дела или даже аннулировать ваш приговор.

— Аннулировать? Что значит «аннулировать»?

Солиситор быстро моргает, вертит в руках колпачок своей черной ручки:

— Это значит объявить недействительным, дать обратную силу… отменить. Вы понимаете?

— Да. Просто говорите со мной на простом английском. Адвокатский английский мне надоел. Вы знаете, что в моей камере два надзирателя находятся всегда, днем и ночью? И что всю ночь горит свет?

— К сожалению, таковы правила для всех приговоренных. Ничего личного, так делается не только в Кардиффе.

— Но это меня с ума сводит! Чего они от меня хотят?

— Это в ваших же интересах, чтобы вы не причинили себе вреда.

— Вреда? Меня собираются убить через три недели, от какого еще вреда меня оберегают? — Махмуд хлопает ладонью по столу, несильно, но достаточно громко, чтобы солиситор подскочил на стуле.

— С этим абсолютно ничего не можем поделать ни я, ни вы, так что давайте продуктивнее воспользуемся нашим временем, чтобы составить план апелляции и рассмотреть наши ограниченные возможности.

Махмуд качает головой, горько улыбается:

— Если однажды они уже поверили во всю эту ложь, что помешает им поверить во второй раз?

— Ваше дело будет представлено трем самым опытным и высокопоставленным судьям страны. Их нельзя сравнивать с присяжными из числа домохозяек и лавочников из Суонси.

— Думаете, у меня есть шанс?

Солиситор медлит, смотрит сначала на свои руки, потом куда-то поверх плеча Махмуда:

— Не хочу пробуждать в вас излишние надежды, количество успешных апелляций невелико, но мой долг как юриста — воспользоваться всеми имеющимися возможностями, чтобы… сохранить вам жизнь.

— Мне осточертело это повторять, но я невиновен. Я невиновен.

Солиситор мрачно кивает:

— Исход оказался наименее желательным, мистер Маттан. Свидетельства против вас проделали извилистый путь, чего мы никак не

предвидели.

— Это значит, что вы не ожидали так много лжецов?

— Обвинение не обязано делиться с нами свидетельскими показаниями.

— Ослиный суд. — Махмуд смотрит солиситору в глаза.

— Ну, нет, отнюдь, мистер Маттан, — тот вздыхает, — но правосудие полагается на то, что представлено судье и присяжным, а обвинению удалось собрать веские доводы.

Махмуд презрительно фыркает:

— Веские доводы? Вы называете вескими слова одного человека, что я пришел домой без четверти девять, и слова другой, что я в то же время тряс деньгами у нее в лавке? Что я красовался в чистых белых брюках после того, как четыре раза перерезал женщине горло? По-вашему, то, что я сохранил бритву, которой убил, а потом спрятал ее в чьем-то грязном белье во время игры в покер, — это *веский* довод? Тогда какие же доводы считать плохими, мистер?

— Вы, мистер Маттан, по-видимому, забываете о том, какую роль сами сыграли в этом фиаско. Я отчетливо помню, как на многие важные вопросы вы отвечали фразами «понятия не имею» и «не

мне говорить». Теперь, по прошествии времени, думаю, вам *могли бы* помочь более внятные и честные объяснения своих передвижений тем вечером, — его взгляд становится жестче, — потому что, откровенно говоря, именно ваши действия на скамье подсудимых избавили присяжных от всяких сомнений в вашей виновности. Разумеется, я могу судить лишь по собственным впечатлениям, однако вы казались воинственным и скользким, и именно вы заварили кашу, попытки спасти вас от которой теперь приходится предпринимать мне. Я не желал впадать во взаимные обвинения, но, мистер Маттан, вы в самом деле умеете настраивать людей против вас.

Махмуд лишь качает головой снова и снова, отводя взгляд от разгоряченного лица солиситора. И почему эти слова порождают вокруг него такую жестокость? Что происходит на пути между его разумом и ртом, если он предает самого себя? Он заставляет себя произнести слово, которое ненавидит, — это пустое английское слово, похожее на щит: «Извините».

Оно срабатывает. Плечи опускаются, разжимаются кулаки, лицо светлеет.

— Мне жаль, что вы находитесь в таком положении, оно поистине ужасно. Я же понимаю,

у вас есть жена и дети, к которым вы хотите вернуться

Да. Все было слишком долго, — вот таким и должно быть общение, думает Махмуд, простым и человечным. Слишком уж много он говорит и забывает, что люди не видят опасений, которыми он взвинчивает себя в клетке собственного разума. Злых мыслей, которые выскакивают у него изо рта, словно огрызающиеся, рычащие твари.

— Ваша теща, миссис Уильямс, согласилась выступить в качестве свидетельницы в связи с вашей апелляцией, утверждая, что ей следовало бы предстать перед присяжными после того, как миссис Грей изложила свою… версию. Тогда миссис Уильямс могла бы сообщить суду, как Грей предлагала ей поделить награду, если они дадут одинаковые показания.

— Это хорошо… — начинает было Махмуд, но, спохватившись, умолкает.

— Да, и эти показания вместе с некоторыми техническими моментами в заключительной речи судьи лягут в основу нашей апелляции. Если вы могли бы просто подписать апелляционные документы… — Он заглядывает в желтую папку, в которой хранится весь кошмар, и вытаскивает черно-белый бланк.

Махмуд берет тяжелую, дорогую авторучку солиситора и некоторое время медлит, пристраивая гладкий металл в негнущихся пальцах. С судорожно заколотившимся сердцем он выводит зубчатые пики М, затем Х своей подписи и наконец поддается ритму фамилии — М-а-т-т-а-н. Вот и все. Он или в последний раз расписался под своей уходящей жизнью, или вытащил удачу из глубин.

В камере так потемнело, что кажется, будто кремово-белые стены светятся. Редкий рокот усилился, сгустился до раздражительных раскатов летнего грома, резкие вспышки молний рассекают тело простертого навзничь Махмуда.

— Как насчет бутера с сыром? — Надзиратель наклоняется над койкой и встряхивает Махмуда, взяв за плечо. — Давай хоть что-нибудь, а то придется звать врача, а это сплошная морока. Вставай, сынок, в карты сыграй или еще чего.

Махмуд вяло отворачивается, и после этого двигаются только его глаза, пока он водит взглядом по трещине в стене от одного кирпича до другого.

— А может, горячего чайку или миску супа? Здесь необязательно обедать строго по часам.

— Бесполезно, Перкинс, оставь его, — говорит

второй надзиратель из-за стола, отсчитывая карты из колоды.

— Хоть попытаться-то мы должны.

— Тебе что, впервой?

Надзиратель медлит рядом с Махмудом, с беспокойством глядя, как заключенный закрывает глаза.

— Надо хотя бы заказать форму поменьше, он же тонет в той, что сейчас на нем.

— Тяжко с ним, Перкинс, так что сядь и кончай с ним нянчиться.

Перкинс берет с койки скомканное одеяло, аккуратно сворачивает его и кладет на ноги Махмуду. Потом вздыхает и садится на свое место за столом.

— Так я что спросил: тебе такое впервой?

— Верно, в тюрьме Уормвуд-Скрабс не приходилось.

— А как же тогда Пентонвиль, Уандсворт, Холлоуэй…

— В Холлоуэе? Никогда. Я не сторонник смертной казни для дам.

— Старый ты романтик, если уж они разводят болтовню про равные права, пусть не жалуются, если в судах к ним будут относиться как к равным. Я уже в третий раз вызвался и ни минуты

не раздумывал бы, будь это пташка.

Перкинс понижает голос:

— Давай сменим тему, Уилкинсон, зря мы об этом заговорили.

— Ладно. Тогда садись и давай ходи. Твоя очередь.

— Махмуд-о! Махмуд-о!

– *Хээ, хоойо*! — Махмуд вздрагивает от звуков зовущего его материнского голоса. Очнувшись от неглубокого сна, он не понимает, где он и какое теперь время суток.

— Махмуд-о! — слышит он снова, на этот раз тише, но точно таким же тоном она звала его раньше, когда он был маленьким, и он вскакивал, спеша вдеть для нее нитку в иголку, или бежал в лавку, чтобы заново наполнить жестянки с чаем или сахаром. — Махмуд-о! Махмуд-о! — Ее голос словно пронзает его насквозь.

Скоро она напишет, вот что этот голос говорит ему, конверт с синей каймой, отпечатками ее пальцев и мускусным запахом прибудет на дне сундука какого-нибудь матроса-сомалийца. Махмуд сомневается, что когда-нибудь вновь услышит ее слова.

Он отчасти постится, отчасти наказывает себя, провел уже два дня без пищи и воды и так осла-

бел, что едва способен шевельнуть руками или ногами. Вряд ли пост засчитывается, ведь он не ест после заката и не знает даже, кончился ли уже Рамадан, но продолжает упорствовать.

В попытке создать себе уединение в тесной камере, где полно народу, он поворачивается на постели, только с головой укрывшись одеялом, никогда не смотрит на надзирателей и не говорит с ними, достаточно и того, что он вынужден выслушивать их тупую болтовню. Теперь английский для него подобен колючей проволоке — смертоносный язык, который ему надо изгнать изо рта.

Суд все еще продолжается в его сновидениях и мыслях наяву. Он играет судьбу, обвинителя, защитника — всех сразу, разносит самого себя, рвет в клочки, затем призывает к порядку и отстаивает свою невиновность — снова, снова и снова. В суде он повторял слова барристеров — все их «может быть», «не знаю» и «не мне объяснять», — когда твердил «понятия не имею», отвечая на вопрос, верны ли показания против него, но из его уст они звучали совершенно иначе. Ему следовало бы плакать, рыдать, умолять, рвать на себе одежду, объяснять, что он просто-напросто дикарь, которого перехитрил умный

полицейский-валлиец. Грустный дикарь с улыбкой в глазах. Улыбающийся дикарь с грустными глазами.

— К тебе посетитель, Маттан.

Махмуд открывает глаза, прищуривается, вглядываясь в лицо надзирателя… опять нового.

— Тебе надо посмотреться в зеркало и привести себя в порядок, — говорит незнакомец и сдергивает с него одеяло.

Махмуд разгибает ноги и ставит ступни на холодный пол. Пытается встать, но голова кружится, и он тяжело оседает обратно на койку.

— Ты там осторожнее, — говорит надзиратель с акцентом, который кажется Махмуду почти иностранным.

— Откуда вы?

— Из Ньюкасла.

— О, аллилуйя! Он говорит, — восклицает надзиратель-валлиец, стоящий у двери, и этого хватает, чтобы снова заткнуть Махмуду рот.

Его ведут в соседнюю комнату с ванной, раковиной и унитазом. Махмуд смотрит на себя в маленькое зеркало над раковиной и проводит ладонью по полным пуха волосам.

– *Дибджир*. Бездомный, — говорит он своему изменившемуся до неузнаваемости отражению,

за его спиной в зеркале виден надзиратель из Ньюкасла.

Шаркая ногами в болтающихся на них серых форменных брюках, успев пригладить волосы холодной водой и зашнуровав форменные ботинки короткими, во избежание суицида, шнурками, Махмуд идет за посвистывающим надзирателем в комнату для свиданий. И молится, чтобы это была не Лора: он еще не готов смотреть ей в глаза.

В комнате стоит Берлин. Рослый, красивый, опирающийся на черный зонт так, словно сейчас запоет и пустится в пляс. Его светлые глаза широко открываются при виде входящего Махмуда, он распрямляет плечи.

Прежде чем сесть, Махмуд окидывает Берлина долгим взглядом: его блестящие черные ботинки на шнурках, его серый твидовый костюм, широкий серебристый галстук, жаккардовый платок в нагрудном кармане, возле теснящихся на лацкане медалей.

Их разделяет стеклянная панель.

— Поздравляю с идом, дружище, — улыбаясь, говорит Берлин. Его чисто выбритое лицо блестит, темная маслянистая кожа контрастирует с сединой в черных бачках.

— С *идом*?

— Да, его объявили в Каире две ночи назад.

— У тебя в молочном баре была вечеринка?

— Вечеринкой я бы ее не назвал, скорее просто приятно провели время — только с Исмаилом и еще несколькими давними друзьями.

— А большое шествие до мечети?

— Конечно, и шейх позвал к себе в *завию* откушать мэра и его жену, теперь он с ними водит дружбу. Прикидывается валлийцем.

— Так вот почему им на меня плевать. Надо тебе основать сомалийскую мечеть, а то с этих что возьмешь, кроме ссор и политики?

Берлин оглядывается через плечо на охранника и переходит на сомалийский. Отвыкшему Махмуду кажется, что родной язык звучит заговорщицки и задушевно.

— Будет она у нас, *иншаллах*. Знаешь, Махмуд… — он медлит, подбирая верные слова, выпускает воздух, — это… дело слишком далеко зашло.

Махмуд уныло пожимает плечами.

— Мы поможем тебе пройти через все это, ты же знаешь, собранных денег уже не осталось, мы ведь не думали, что придется подавать апелляцию и так далее, но мы поговорили с сомалийцами в Ньюпорте, Саут-Шилдсе, Халле,

Шеффилде и Восточном Лондоне, и все говорят, что внесут свой вклад. А что? Два-три фунта с человека — пустяки. Даже залезать глубоко в карманы не придется.

— Я ценю это, дружище, в самом деле ценю. Мне никогда не приходилось просить милости у *этих* людей, и *это* действительно хорошо.

— Я все видел. Я был на суде.

— Ты ездил в Суонси? Мне казалось, ты терпеть не можешь выезжать из Бэя.

— Так и есть, но я все же сел на этот чертов вонючий поезд. Подумал, что нам понадобится там свой человек, наблюдатель.

— Ну и как тебе? Получше кино, да?

– *Вахалла*! Какое там кино, это же был цирк, только акробатов и огнеглотателей не хватало.

Махмуд слегка расслабляет напряженные плечи и громко хохочет.

— И львов, и женщин, которые извиваются всем телом вместо того, чтобы сказать правду.

— Зато *она* сущая львица, верно? Видел ее седую гриву и острые когти? Ох и *невзлюбила* она тебя. Что ты ей сделал — сумочку украл?

Махмуд прижимает ладонь к сердцу, в его улыбке появляется оттенок безумия.

– *Валлахи билляхи таллахи*, клянусь Аллахом,

если бы я знал! Матери Лоры она в глаза сказала, что я у нее что-то там украл, но в то время я жил в Халле. Просто она из ненавистников, тех, кто терпеть не может любое темное лицо. Вот тот нигериец, часовщик, — да, кое-что я ему сделал, и я это признаю. Я взял у него часы, но разве это значит, что меня надо повесить?

— Нет, конечно, и я молюсь, чтобы этого не случилось. — Берлин откидывается на спинку стула, обводит взглядом комнату без окон. — Эти люди безумны. В городе стало еще хуже, теперь перед лицами цветных закрываются всевозможные двери. Не говоря уже о пабах, беднягу Лу даже выставил вон зубной врач. Газеты накручивают их, публикуя материалы о твоем деле, и теперь они считают, что все мы носим с собой выкидухи и готовы перерезать горло какому-нибудь лавочнику. Как ты здесь держишься? Клянусь, у меня кровь застыла в жилах в ту же минуту, как я вошел в ворота.

Махмуд вскидывает ладони:

— Просто живу, просыпаюсь по утрам и не могу поверить, что все это происходит со мной, не знаю, как до этого дошло. Берлин, хочу тебя попросить… если они все-таки сделают это… ну, понимаешь… покончат со мной, напиши моей

матери, скажи ей, что я погиб в море — вернулся на флот, и мой корабль затонул где-то далеко. И все. Не рассказывай ей о том, что было на самом деле, *ничего*.

Берлин кивает.

— Больно будет все равно, но я тебя понимаю. — Он кивает в сторону надзирателя. — С тобой хорошо обращаются?

— Ходят за мной в ванную и в туалет и постоянно стоят, смотрят, как бы я не нашел какой-нибудь способ убить себя. Больше я о них даже не думаю. Смотрю сквозь них, будто их и нет рядом, — пришлось научиться, чтобы не свихнуться окончательно. Вот сижу я здесь и думаю о том, что творится там, за стенами тюрьмы. Чем занимаются каждый день мои мальчишки, как дела у Лоры, как развлекаетесь вы, мужчины.

— Мужчины заняты тем же, что и всегда: препираются, дерутся из-за денег, ходят в море. Один приятель, Авалех, вернулся как потерпевший крушение из Бразилии. Странный он.

— Тот самый, который занемог в Японии? Он просто невезучий, вроде меня.

— Плохое у меня предчувствие насчет этого матроса.

— Почему?

— Не хочу, чтобы эти мысли запали тебе в голову, но знаешь, когда слышишь шепотки, обрывки фраз, возникает чувство… будто от тебя что-то скрывают.

— Да…

— Так вот, люди…

— Люди?

— Исмаил. Исмаил говорит, что единственный, кто подходит под описание сомалийца шести футов ростом, о котором говорит полиция, — это Авалех, во всяком случае, в ту ночь в Бэе был только он один.

— И ты веришь полиции? — Махмуд фыркает. — Думаешь, они сказали бы, что это валлиец ростом шесть футов, когда могли свалить вину на чернокожего?

Берлин согласно кивает:

— Да, но все-таки что-то тут не так, и это все, что я могу сказать. Я знаю этих сомалийцев, слишком долго жил с ними, и они о чем-то умалчивают. Никогда прежде у меня не возникало такое отчетливое чувство.

— Почему? Зачем они это делают? — Махмуд приближает лицо к стеклу, пристально вглядывается в Берлина.

— Не знаю, старина, потому и не могу сказать

ничего определенного. Будь у меня доказательства, я сообщил бы их твоему чертову дорогущему юристу. Авалех точно был здесь вечером, когда случилось убийство, ранее днем я видел его в молочном баре, а на следующий день услышал, что он укатил в Манчестер.

Махмуд бессильно обмяк на своем стуле:

— Так почему же *раньше* никто ничего не говорил?

— Потому что кому охота быть осведомителем? Сомалийцы не рассказывали ничего про тебя и, наверное, решили ничего не говорить и про него.

Махмуду разрешают ежедневные часовые прогулки в отдельном дворе, и ему кажется, будто он ожил. День теплый, почти жаркий впервые за долгое время, но в воздухе все еще витает свежий запах зеленой травы, сохнущей после дождя. В резком свете влажные кирпичные стены и тюремные решетки выглядят как лакированные. Все вокруг кажется новым и чистым, даже колючая проволока над головой сверкает и переливается от капель, повисших на кончиках перекрученных колючек. Махмуд закрывает глаза и подставляет лицо солнечному свету, который льется по коже как елей.

Охранник лениво наблюдает за ним от входа, но двор целиком в распоряжении Махмуда: места хватает, чтобы думать, чувствовать, вспоминать, кто он такой, помимо тюремного номера. Верх стен чуть выше его головы, и, если бы ему хватило духу, он подтянулся бы и пробежал через секторы, зеленые участки и тюремные ворота, а затем — небольшое расстояние до Лоры и детей. Он не видел ее уже больше недели, но знает, что ей еще хуже, чем ему, и что она извелась от чувства вины и страха. В бумагах сказано, что жить ему осталось еще две недели, но нутром он не верит в это, жилы и сухожилия подсказывают, что у них в запасе больше времени, и Лора успеет взять себя в руки, прежде чем встретиться с ним. Он не понимает, откуда взялась эта уверенность, но она просто есть, прочная и естественная.

Не то чтобы Махмуд мнит себя важным, последние несколько месяцев начисто развеяли эту иллюзию, однако он незаурядный человек, и его жизнь *была* незаурядной. Все, что сошло ему с рук, все, за что он был наказан, что повидал, то, как когда-то ему казалось возможным огромной силой подчинить все своей воле. Его жизнь была, есть — один длинный фильм со множеством массовых сцен и экзотическими, дорогостоящими

декорациями. Кучи кинопленки и мили диалогов, продолжающихся фоном, пока он переходит от одной сцены к другой. Даже сейчас он в состоянии представить себе, как выглядит его кино: камера наезжает сверху на мощенный булыжником тюремный двор, затем переходит на крупный план его задумчивого, запрокинутого лица, с дымом, который он выпускает из угла темных губ. Пленка цветная, как же иначе. В фильме есть все сразу: комедия, музыка, танцы, путешествия, убийства, схваченный невиновный, неправедный суд, гонки на время, а затем — счастливый финал: схватив в объятия жену, герой выходит в сияющий солнечный день, к свободе. От этой картины губы Махмуда растягиваются в улыбку.

Над ним через полуденное небо летит, накренившись, чайка, и невидимая ворона где-то каркает снова и снова, словно смакуя вибрацию в горле. Жизнь. Жизнь. Такая простая и прекрасная. Восковые листья на плети плюща карабкаются вверх от бесплодной земли, паук подрагивает на унизанной драгоценными каплями паутине, движется воздух в легких Махмуда, кровь бурным потоком течет сквозь его сердце — и все это неподвластно ему, все каким-то образом сочетает в себе мимолетное и вечное. Сам он может

исчезнуть из этого мира так же легко, как чайка, бесцельно наматывающая круги в воздухе, и ее кости когда-нибудь рассыплются где-нибудь в потаенном, таинственном месте, и никому не придет в голову спросить о ней. Он человек, и есть еще другие люди, точно так же как есть другие чайки, однако он никак не может отделаться от мысли, что каким-то ничтожным, крохотным образом без него мир кончится. Все будет казаться точно таким же, как раньше, только с неизменной тенью там, где следовало быть ему. Лора, живая, но овдовевшая, его сыновья, живые, но без отца, его мать, живая, но скорбящая о своем детище, — его цветное звуковое кино вдруг выключается, сменившись черно-белым и немым. «Мы закрываем наши глаза и уши от смерти, — часто повторял *маалим*, — но она повсюду вокруг нас, в самом воздухе, которым мы дышим». Пока он стоит здесь и курит, в нескольких ярдах отсюда, на одной из соседних улиц, кто-то испускает свой последний вздох от болезни или мелкого несчастного случая. Имущество людей громоздится вокруг них, как обломки кораблекрушения. Как у убитой женщины, Вайолет, лавка которой выглядела так, будто вмещала всю обувь, платья и шерстяные одеяла, какие только есть в мире.

Если, и это «если» он предпочитает отвергать, дело все-таки дойдет до казни, ему почти нечего передать детям. Есть его зубная щетка, его Коран, несколько фотографий у Лоры, а остальное у полиции, осквернённое бирками и предвзятостью к нему. Детям не достанется даже его тело, которое суд хочет оставить здесь, словно в наказание или как трофей. Единственным существенным наследством, которое они получат, станут его рассказы, переданные Лорой или Берлином, испещренные отпечатками их пальцев. Дети услышат, что он был кочевником, рисковым человеком, драчуном, бунтарем, но услышат не от него, то есть узнают, какую цену приходится платить, являясь всем сразу, принимая вместе лекарство и отраву.

Вернувшись в камеру, он соглашается посидеть с надзирателем из Лондона, Перкинсом, и его напарником из Ньюкасла, Уилкинсоном. За время, проведенное во дворе, он успел осознать, что для выживания его души он должен сидеть, есть, чем-нибудь заполнять свое время и беседовать с людьми, кем бы они ни были. Иначе он только обсчитает себя на секунды, минуты и часы, не дарованные, а лишь данные в аренду каждому живому существу. По натуре он не меланхолик,

он из тех, кто всегда просыпался с желанием извлечь из предстоящего дня как можно больше удовольствий, и он не может допустить, чтобы тюрьма в этом изменила его.

Махмуд садится между надзирателями, прямо перед ним стоит доска с шашками. Сначала против него играет Перкинс, затем Уилкинсон. Он чувствует себя ребенком между двумя крупными мужчинами с седеющими бачками.

— Кто ты по профессии? — спрашивает Перкинс, ссыпая сахар с ложки в мутный тюремный чай.

— В своей настоящей жизни я был моряком.

— Когда я был мальчишкой, я ни о чем не мечтал так, как плавать по всем морям и океанам мира.

— А я сумел, проплыл все, какие есть, — он пересчитывает по пальцам, — Индийский, Атлантический, как это называется… Тихний?

— Тихий, да. А Северный Ледовитый? Южный?

— И тот, и другой.

— Да ты прямо Филеас Фогг! — говорит Уилкинсон.

Махмуд не узнает отсылку и вопросительно смотрит на Уилкинсона, ожидая объяснений.

Перкинс вмешивается:

— Это герой романа «Вокруг света за восемьдесят дней» французского писателя Жюля Верна. Чтобы выиграть пари, он совершает кругосветное путешествие за восемьдесят дней.

Махмуд улыбается:

— Это мне нравится, держать пари, я бы сделал что-нибудь такое.

— Азартный, значит? Ладно, тогда сыграем на сигареты.

— От этих сигарет мне режет горло.

— Тогда на спички. По пять на партию?

— Идет. — Махмуд собирает в ладонь двенадцать белых шашек. — Я играю этими, черный цвет, кажется, приносит слишком много неудач.

Перкинс издает натужный смешок.

Партию начинают молча, слышно только, как стучат и скользят шашки, продвигаясь от одной стороны доски к другой. Махмуд подпирает подбородок ладонью, неожиданно для себя увлеченный игрой. Силы у них равны, если только Перкинс не поддается. Внезапно Махмуду кажется очень важным обставить белого тюремного надзирателя в эту простую игру.

А разве не так устроен мир, задается вопросом Махмуд. Вместо черных и белых квадратов — страны и океаны, и белый человек распростра-

нился повсюду, а черного согнали откуда только можно и оставили прозябать на окраинах доски, в гетто и трущобах. Но не в этот раз, решает он, съедает шашки Перкинса и одну за другой со стуком ставит их на стол. И с нежностью вспоминает имама своего детства и его коварно подмигивающее лицо; человека, единственной целью которого было осложнять жизнь британцам.

Махмуд пробил брешь в последнем ряду на стороне Перкинса. Его скромная шашка теперь дамка — король, способный абсолютно свободно перемещаться через всю доску. Когда-то давным-давно именно так он себя и воспринимал. Был самопровозглашенным королем, а не просто юношей из подклана Рер Гедид клана Саад Муса, сомалийцем, мусульманином, чернокожим. Эти ярлыки настолько пусты, что отзываются в нем гулким эхом, не задевая ни разума, ни сердца. Его отлили в единственной в своем роде форме, твердил он себе, — вот почему ему с таким трудом удается жить по правилам, неразборчиво нацарапанным другими людьми. Не спорь, не ссорься, не проси больше, чем тебе дано, не бывай там, где тебе не место. Но теперь эти ярлыки приколоты прямо к его телу: его клан имеет значение, потому что в Кардиффе их так мало; его принадлежность

к сомалийцам важна для западноафриканцев и вестиндийцев, которые принимают его за араба, а не одного из них; его вера что-то значит для шейха и остальных из Нуруль-Ислама, которые считают, что он давно уже стал *куффаром*. А цвет его кожи? Лучше даже не вспоминать. Он спятил, если считал, что когда-нибудь сможет преступить пределы, ограниченные этим ярлыком.

Последняя шашка Перкинса окружена шашками Махмуда со всех сторон, и ей уже не сбежать. Конец игры.

— Что я вам говорю? Я играю белыми, и удача снова со мной.

Перкинс откидывается на спинку стула так, будто изнемог, и отпивает большой глоток чая. Потом вытирает верхнюю губу рукавом, еле слышно рыгает и отсчитывает пять спичек.

— Пожалуй, ты был прав.

Махмуд расставляет шашки в упорядоченное исходное положение, чтобы играть с Уилкинсоном. Как всегда суеверный, отказываться от выигрышных шашек он не собирается.

У него возникает вопрос, однако он не уверен, стоит ли вообще поднимать его и не нарушит ли он слабое подобие душевного покоя, который он в себе взрастил. Побарабанив ногтями по столу, на-

конец он решает просто спросить, и хрен с ним.

— Когда на суде задавали вопросы тому человеку, Пауэллу, мой юрист спросил про какого-то надзирателя, который позвал его в тюрьму поговорить о человеке, которого видел стоящим снаружи, о том, что похож на меня. Вы знаете, кто этот надзиратель?

Перкинс и Уилкинсон с сомнением хмурятся.

— Да ничего, просто любопытно стало, вот и все, — поспешно добавляет Махмуд.

— Само собой, я мог бы разузнать… я ведь не местный, навскидку не скажу. — Перкинс переглядывается с Уилкинсоном.

— Да выяснить-то было бы нетрудно. Только нужно с начальством согласовать. Узнать, не надо ли солиситору…

Махмуд прерывает его:

— Нет, впутывать солиситора я не хочу, просто хотел сказать… ну, знаете… что благодарен ему за то, что пытается помочь мне, за правду.

Перкинс треплет его по руке:

— Это несложно, предоставь это нам.

Махмуд кивает, уносится мыслями к тому, кого надзиратель заметил стоящим за тюремными воротами — его безвинного двойника? Настоящего убийцу, явившегося позлорадствовать? А может,

просто блуждающую душу Махмуда.

— Это быстро? — Махмуд снова лежит на койке лицом к кирпичной стене, сраженный усталостью, пробравшей его до костей.

— Что «это»? — отзывается Перкинс, с хрустом разминая затекшую спину.

— Когда вешают.

Молчание.

— Да, — наконец отвечает Уилкинсон.

— Много времени надо, чтобы умереть?

— Отключаешься мгновенно.

— Уверены?

— Абсолютно.

— Хорошо, — говорит Махмуд, закрывая глаза.

Махмуд слышит ее глубокий напевный голос еще до того, как видит ее. Лору.

Перкинс уходил помочь ей подняться по ступенькам вместе с детьми и теперь возвращается в коридор, неся на руках старомодную прогулочную коляску с большими колесами. Махмуд входит в комнату свиданий, где один у стеклянной перегородки стоит Дэвид и нервно смотрит на отца, высовывая до подбородка язык и снова пряча его.

– *Аабба*, — зовет Махмуд, прикладывая ладонь к стеклу, — *ии каалай*.

Дэвид не шевелится.

Махмуд переходит на английский:

— Иди к папе.

Дэвид убегает в открытую дверь и возвращается уже вместе с Лорой, на бедре которой пристроен Мервин, а Омар цепляется с другой стороны за юбку.

— Красота, — улыбается Махмуд, которому вид их всех вместе заполняет глаза.

Лицо Лоры рушится: бесстрастное спокойствие на нем сменяется обмякшей, всхлипывающей болью.

— Сядьте. Сядьте. Сядьте! — велит Махмуд, качая головой. — Хватит уже.

Мервин смотрит на покрасневшее лицо матери, а потом, крепко зажмурившись, поднимает рев и этим запускает цепочку событий, которая не заканчивается, пока у всех глаза не становятся мокрыми, в том числе у Махмуда.

Все они сбиваются в кучу, так что стеклянная перегородка запотевает и покрывается отпечатками пальцев. Короткие пухлые пальчики и длинные тонкие прижимаются к ней вперемешку, как листья на дереве.

– *Бокорадей*, моя королева, — тихо говорит Махмуд, резко почесывая нос о тыльную сторону

ладони.

Лора опускает голову, уткнувшись в грудь подбородком. Стоит ей взглянуть на него, как глаза снова наполняются слезами.

— Это еще не конец, Лора.

Перкинс входит в комнату со стороны Лоры, ставит перед детьми белое блюдечко с золотистым диетическим печеньем. Дэвид трогает его пальцем, словно ничему не доверяя в этом странном окружении, но потом передает две штуки братьям и подносит еще одну к губам, кусая понемножку и смакуя вкус.

Махмуд смотрит на Перкинса, который отступает к стене, и, хотя он благодарен надзирателю за доброту, ему унизительно сознавать, что сам он не в состоянии дать мальчишкам ничего, даже печенья, чтобы утешить их.

— Лора, послушай, послушай меня. — Он прижимает ладонь к стеклу, словно это поможет отчетливее передать его слова. — Я подал еще апелляцию, они ничего не могут сделать, пока мы не получим ответ из Лондона, от настоящих судей, которые там.

— Я ходила кое к кому…

— Что ты говоришь?

— Ходила к одной женщине — моя подруга

сказала, что она умеет заглядывать… вперед.

— О чем ты, любимая?

Лора не сводит глаз с носового платка в цветочек, который крутит и комкает в руках.

— Она умеет предсказывать будущее, живет там, в доках, она с Мальты.

Махмуд разрывается между раздражением и страхом.

— И она чем-то расстроила тебя?

Лора вытирает глаза и кивает.

— Ты же знаешь, я никогда не принимала такие вещи всерьез. Но Фло рассказала мне о том, сколько предсказаний той женщины сбылось — и про мальчишек, которые утонули в канале, и про то, что Фло выйдет за йеменца.

— Любой сказал бы, что Фло выйдет за йеменца, у нее же все парни родом из Адена. Эта девка с Мальты просто взяла у тебя деньги и напредсказывала поровну и того, и другого, чтобы не промахнуться.

— Нет, Муди, денег она с меня не взяла. И захотела повидаться со мной, потому что ты постоянно ей снишься.

Махмуд силится улыбнуться и поднять ей настроение.

— Да она просто похотливая старуха, согре-

вается по ночам, вспоминая молодых мужчин, которых видела в газете, не обращай внимания на ее болтовню.

— Ты же говорил мне, что твоя мама умела предсказывать будущее по кофейным зернам.

— Это она так говорила… а я почем знаю?

— Та мальтийка все плакала, прямо заливалась слезами и повторяла: «Бедные твои ребятишки, остались без папы».

— Злая тетка, — Махмуд отдергивает ладонь от стекла, — кто она такая, чтобы призывать конец моей жизни? Бог проклинает ее и демонов, которых она слушает по ночам.

— Я не хотела расстроить тебя, Муди, просто я никак не могу забыть ее слова. Выглядела она как человек, который знает, что говорит. Не знаю, то ли из-за ее глаз, то ли из-за ее мрачного дома, где повсюду паутина, но что-то она такое сделала, не могу объяснить что, и у меня вместо надежды вдруг возникла внутри большая дыра.

— Я же здесь, Лора, я все еще живу, дышу и борюсь за свою жизнь. А тебе надо держаться рядом со мной и не отставать. Даже твоя мать помогает с апелляцией, и это после того, как называла меня на суде «этот человек».

У Лоры вспыхивают глаза.

— Моя мать, моя мать…

Дэвид стучит по стеклу:

— Папа, что ты так долго, почему просто не приходишь домой? Хватит быть таким глупым.

— Я приду домой, сынок, вот только закончу дела здесь, а потом приду домой и лягу спать рядом с тобой. Верно, Лора?

Глаза Лоры вновь наливаются слезами, она отворачивается, гладит Мервина по щеке. Вопрос она оставляет повисшим в воздухе между ними.

— Увы, я пришел с удручающими вестями, мистер Маттан.

Махмуд вцепляется в тонкие боковые стороны стола, и они вдавливаются острыми краями ему в ладони.

— Мне отказали?

— Да, отказали. — Солиситор пристально смотрит в лицо Махмуду, изучая его реакцию.

Махмуд ощущает спазм настолько чистого гнева, что морщится от его силы, жар распространяется по коже, как кислота, скручивается желудок. Он не в состоянии примириться с услышанным.

— Но вы же говорили, что они серьезные судьи! Лучшие в стране.

— У них есть свои причины прийти к такому

решению, но…

— Причины? Я приезжаю в страну, полную злых людей, глупых людей, ненавидящих людей, этой причины достаточно, я понимаю.

— Не так-то просто уголовному апелляционному суду отменить решение суда низшей инстанции, для этого должны быть неопровержимые доказательства, а в вашем случае… они не нашли оснований.

Может, надо просто взять и запустить в него этим столом, думает Махмуд. Прикончить его и дать им веское основание отнять у меня жизнь. Но он тут же в испуге отпускает стол, понимая, как легко было бы осуществить этот план, насколько готовы к этому его мышцы и сухожилия, будто связки динамитных шашек. Он изо всех сил старается сдержать дыхание, замедлить прерывистые вдохи, которые следуют один за другим слишком быстро.

— У нас остался еще один, последний юридический механизм, а именно — написать министру внутренних дел с просьбой о королевском помиловании.

Махмуд закрывает глаза, не думая о том, как странно выглядит; ему просто нужно, чтобы его окутала пустота, чернота.

— Мистер Маттан, вы меня слушаете?

— Долго? Долго мне еще осталось? — Его глаза все еще закрыты.

Солиситор испускает вздох — протяжный усталый вздох.

— Казнь перенесли на третье сентября.

Почему эта дата кажется такой важной? Махмуд теряется в догадках, трет глаза основаниями ладоней, но припомнить ответ не может.

— Я немедленно напишу министру внутренних дел.

— Вы сказали «королевское», так оно королевское или правительственное?

— В данном случае это королевская прерогатива, или право, осуществляемое министром внутренних дел.

— Просто позвоните ей, вашей королеве, и скажите ей — пусть посмотрит на меня, посмотрит на мою жену, — он говорит, и брызги разлетаются с его губ, — посмотрит на моих сыновей, посмотрит на доказательства, и спросите ее, гожусь ли я, чтобы меня повесили? На ваших судьях и политиках я ставлю крест, среди них нет ни одного человеческого сердца. — Махмуд встречается взглядом с солиситором, его гнев рассеивается, оставив лишь темный провал за глазами.

У солиситора убитый вид, словно он доигрывает до конца партию в крикет, зная, что шансов выиграть у него нет, ведь начинается дождь, да и зрителей слишком мало, некому за него болеть.

— Иногда прошения… — начинает он, но смотрит на Махмуда с его встрепанными волосами и мрачным, затравленным лицом и сознает, что он не из тех, для кого учреждены прошения. — А теперь я прощаюсь с вами, мистер Маттан, мы можем лишь надеяться, что министр проявит милосердие.

— До свидания, солиситор, и, если вы сделаете все возможное, Бог восславит вас за это, — говорит Махмуд, протягивая руку.

Солиситор замирает.

— Просто пожмите ее, может, я вижу вас в последний раз, надо же начать вести себя как полагается.

Махмуд крепко пожимает бесцветную, пахнущую лосьоном руку солиситора.

— Если вы сделаете все возможное, да благословит вас Бог, — повторяет он, стараясь не делать акцент на «если».

— Огромной вам удачи, мистер Маттан. — Он кивает.

— Все и всегда сводится к удаче, — говорит Ма-

хмуд и встает, готовясь к возвращению в камеру, к клаустрофобии.

До него доходит позднее днем, когда он сидит на койке, разложив поверх простыни детскую головоломку. Третье сентября же. Махмуд начинает смеяться, горький недоверчивый смех исходит из самых глубин его груди.

Перкинс и Уилкинсон с усмешкой переглядываются.

— Над чем хохочешь? — спрашивает Уилкинсон, у которого подрагивают губы.

Махмуд не в силах ответить, он откидывается назад, держится за грудь и смеется, смеется без умолку.

— Не надо так, а то заразишь и меня, — ухмыляется Уилкинсон.

— Такими шутками надо делиться, — подначивает Перкинс.

Махмуд хлопает себя по бедру:

— Вы не поверите!

Перкинс и Уилкинсон тоже смеются, Махмуд вытирает глаза.

— Ни за что не поверите!

— Чему? — восклицает Уилкинсон.

— Меня… хотят… повесить… в день рождения моего старшего сына.

Махмуд вышагивает из угла в угол, новая пара охранников при этом напрягается, но остановить его даже не пробует. Он поглядывает на них — мужчину с обгоревшим розовым лицом, которое словно светится в надвигающихся сумерках, и мускулистого, симпатичного парня с шотландским акцентом.

— Присаживайся рядом с ними, королева, — бормочет он на сомалийском. — Ты когда-нибудь бывала в камерах своих тюрем? Да, всем так нравится называть их «тюрьмами ее величества», будто все они принадлежат тебе. Будто ты купила эти простыни и эти стулья и тщательно отобрала всех нас, кого держат здесь ради твоего удовольствия. Какой женщиной надо быть, чтобы находить удовольствие, держа мужчин взаперти, словно кур или коз? Королева Англии, *маликат аль-инджилизия* для арабов, *ангреджи ки рани* для индийцев. Маленькая женщина в черном из газет. Теперь-то я тебя вижу. Вижу твою власть — довольна? Непреклонная Аравээло-кастраторша. Правильно сделали сомалийцы, что свергли свою злую королеву. Я у твоих колен. Видишь это? — Он кивает на зарешеченное окно. — Я мог бы забраться на этот стол, прыгнуть, ударить кулаком по решетке, рассечь вены стеклом, мог

бы сделать это так быстро, что твои стражники не сумели бы остановить меня. Кое-что еще в моей власти, понятно? Я знаю тебя, а ты меня не знаешь. Я вижу тебя в газетах, в кинохрониках, я могу узнать твой голос по радио, а ты не знаешь обо мне ничего. Пьешь свой чай, скорбишь о своем отце и знать не знаешь Махмуда Хуссейна Маттана, мужчину из подклана Рер Гедид клана Саад Муса Британского Сомалиленда, твоего Сомалиленда. Сколько поколений своих предков ты насчитываешь? Я своих — шестнадцать, достаточно тебе? Я потомок пророка Мухаммеда по линии шейха Исаака, этого довольно? Ты долго скорбишь о своем отце, но обо мне не будешь скорбеть никогда, я же знаю. У тебя своя жизнь, у меня — своя, и ничто не сведет нас вместе. Ты богата, я беден, ты белая, я черный, ты христианка, я мусульманин, ты англичанка, я сомалиец, тебя любят, меня презирают. Судьба ошиблась, связав нас, ведь общего у нас не больше, чем… чем у…

— Может, все-таки сядешь, дашь отдохнуть ногам и глазам, ты же чуть дыру в полу не проглядел, — предлагает надзиратель-шотландец шутливым тоном.

Посмотрев сквозь него, Махмуд продолжает ходить из угла в угол.

Постояв отпущенное ему время во дворе с заложенными в карманы руками и недокуренной сигаретой за ухом, Махмуд оборачивается и видит, что в дверях его ждет врач.

— Не торопитесь, — жизнерадостно говорит врач, будто Махмуд выглядит занятым.

— Сколько мне еще осталось гулять?

Тот сверяется с часами:

— Если не ошибаюсь, еще минут пять. Снова дождь накрапывает?

Махмуд подставляет небу ладонь:

— Так, еле-еле.

— Наше пресловутое валлийское лето, к сожалению, приносит садоводам больше пользы, чем кому бы то ни было.

Тучи над головой темные, мраморные, каждая из них самодостаточна, между ними виднеются проблески голубого неба. В такую погоду жители Харгейсы отсиживаются по домам, ждут, когда дождь прибьет пыль и остудит воздух.

— Мне нравится, — отвечает Махмуд, не пытаясь сократить расстояние в двадцать футов между ними. Он вертит в руках окурок, представляет, чем занята сейчас его мать: там время на три часа вперед, призыв на молитву *аср* скоро послышится из мечетей к востоку и к западу от их

купающегося в солнечном свете бунгало, и мать, не вставая с кухонной табуретки, еле слышно зашепчет длинные молитвы, продолжая мыть собственноручно выращенные помидоры или тереть в деревянной ступке пестиком специи из Харэра. *Хоойо маан*, милая мама, если бы ты только знала, в какой я опасности, то бросила бы миски и ножи и поспешила к молитвенному коврику.

Налетает ветер, брызжет ему в лоб дождем; дома его мать поступала бы так же, сбрызгивала его водой, над которой прежде читала благословения, когда у него поднимался жар, и своим звучным голосом отпугивала всех злых духов. Дом. Впервые в жизни он страстно тоскует по дому, по объятиям и сложному составному запаху матери, по прикосновению ее крепких пальцев, когда она придерживает его за голову, чтобы запечатлеть сухие, легкие, как перья, поцелуи на его щеках. Сколько же времени прошло, он даже не может сосчитать, сколько лет назад в последний раз видел дом, но уж точно не меньше десяти.

— Вам следовало бы уйти с дождя, мистер Маттан.

Махмуд выдергивает из-за уха уже размокший

окурок и вдавливает его в землю подошвой.

В тюремной больнице светло и пусто, свет из больших окон отражается от белых плиток пола. Махмуд становится на крытые резиной весы и выпрямляет спину, чтобы одновременно измерили и его рост.

— Любопытно. Внешне кажется, что вы сбросили вес, а между тем он снизился всего на пару фунтов. Сто двадцать три по сравнению со ста двадцатью пятью в прошлом месяце.

— Я постился в Рамадан.

— Ясно, а по ночам ели?

— Немного.

— У вас плотная мышечная масса, так что вы, должно быть, потеряли немного жира.

— А рост?

Он сдвигает ограничитель до волос Махмуда.

— Пять футов и семь с четвертью дюймов.

— Доктор, — Махмуд сходит с весов, — я хочу, чтобы вы написали письмо моей жене.

— Надзиратели могут помочь вам в этом деле.

— Нет, я хотел бы, чтобы это сделали вы, чтобы они не лезли в мои дела.

Он сует руки в карманы, уже готовый отказать, но, походив немного, согласно кивает.

— Что вы хотите передать ей? — Из кармана

халата он достает блокнот и ручку.

— Просто привет и что апелляционный суд отказал мне, так что теперь я жду помилования от правительства. Пусть поскорее придет навестить меня, но не беспокоится, причин беспокоиться нет, так ей и напишите.

Он быстро царапает по бумаге, поднеся блокнот к глазам.

— Напишите ей, что я передаю привет ей и детям, черт возьми, передаю привет ее матери и еще отцу и всем на Дэвис-стрит.

— Это все?

— В конце напишите «бывай!».

— А не «любящий тебя» или что-нибудь в этом роде?

— Нет, просто «бывай», ей нравится это слово.

— Как скажете. — Он убирает блокнот и ручку в карман и провожает Махмуда до двери.

— Доктор, а почему все так заботятся о моем весе?

— Это входит в мои обязанности, — отвечает он на ходу.

— Он как-то связан с повешением?

— Мы обязаны следить за состоянием вашего здоровья, пока вы находитесь в тюрьме.

— А я слышал еще во времена Аджита Сингха,

как решали, сколько веревки понадобится на его вес. — Махмуд почти бежит за ним.

— Не стоит верить тюремной молве. — Врач распахивает дверь, его лицо непроницаемо. — Я отправлю письмо вашей жене завтра с утренней почтой. Хорошего дня.

Махмуд ненавидит это время суток, когда солнце садится так медленно, что чернота зловеще крадется вверх по его ногам, словно зараза, от которой нет исцеления. Он сидит на стуле, перед ним на столе тарелка с наполовину съеденной скумбрией и холодным картофельным пюре. Нетронутые нож и вилка лежат по обе стороны от тарелки, он привык есть просто ложкой и руками на виду у глазеющих надзирателей. Одна из причин, по которым он так быстро бросает еду, — неловкость оттого, что ему приходится есть в присутствии чужих людей, вынужденная интимность этого действия и стыд за себя, человекоподобное животное с низменными потребностями и мокрым, шумным ртом. Он так и не научился толком пользоваться ножом и вилкой, и теперь даже не пытается притворяться, будто умеет, забрасывая ложкой безвкусное топливо в рот так, как забрасывал уголь в топку. За ним наблюдают, краснея от его неумения вести

себя за столом, при виде его пальцев, испачканных рыбьим жиром и комками порошкового пюре. Он вытирает руки о свои штаны и отвечает на взгляды надзирателей. Недавно ему не разрешили мыться чаще. Когда он сам распоряжался собственной жизнью, в такой жаре и липкой влажности он мылся один раз утром и еще раз вечером. Всего одного таза воды хватило бы, чтобы умыть лицо и вымыть под мышками, но они сказали, что это «против правил». Потому ему и плевать, даже если они считают, что он ест как дикарь.

Махмуд полощет рот водой, проглатывает ее и встает. Медленно вышагивает туда-сюда, разминает свои длинные ноги, а крохотное оконце над их головами начинает наливаться оранжевым от последних лучей уходящего солнца.

— Я человек, который может ходить не останавливаясь, — объявляет Махмуд, ни к кому не обращаясь.

Надзиратель, шотландец Макинтош, отзывается:

— Что, правда?

— Ага, правда, и, если бы меня попросили дойти пешком до Австралии, я бы смог.

— Тебе, наверное, понадобилось бы несколько

лет, — он смеется.

— Нет, я дошел бы за шесть месяцев.

— Шесть месяцев! Вот это оптимизм. Ты хоть знаешь, сколько до нее? Самолетом лететь неделю.

— Знаю. Я бывал там, и не раз.

— А я переселюсь туда через несколько лет, если все пойдет как надо. Мы с женой уже строим планы, — объявляет другой надзиратель, Робинсон, будто его и без того обгоревшая кожа способна выдержать австралийский зной.

— Хорошая страна, похожа на мою родину.

— На Британский Сомалиленд? Это у вас там красные пустыни? Да, бывал я в Египте во время войны, там у них огромные желтые дюны, горы песка навалены, как в детской песочнице.

— О да, Австралию я знаю. Белую Австралию, — говорит Махмуд и перестает их слушать. Воспоминания являются, словно включили запись, увязанные воедино, но бесконечно разнообразные.

1947 год. Сломанный кран-деррик в гавани Дарлинга, задержавший отплытие и уже тогда ощущавшийся, как дурное предзнаменование. Обжигающая рот острота курицы по-сычуаньски с лотка в Чайна-тауне, приготовленной словно

на керосине вместо растительного масла. Запах свежепокрашенного кубрика, который он занимал с семью другими сомалийцами котельной команды. Черные глянцевые тараканы, шныряющие по его койке и усталому телу по ночам, когда тьма оживала и кишела ими.

Их судно, пароход «Гленлайон», полностью вышло из строя через неделю после начала плавания, в самом сердце Индийского океана, далеко от Австралии, Африки или Индии. В тот момент его не было в машинном отделении, *альхамдулиллях,* но грохот взрыва разнесся по всему кораблю. Их здорово потрепало во время долгого тропического шторма, дождь и волны хлестали палубу, в проходах начала подниматься вода, котлы работали на полную катушку, пока они пытались прорваться. Только когда шторм начал утихать, механики спустились, чтобы оценить неисправность в третьей топке, о которой кочегары доложили раньше. Механики возились с ней меньше часа, как вдруг в трубе гулко бухнуло. Судно перешло с полного хода на вялый, а затем винты вообще прекратили вращаться, вдали от какой бы то ни было помощи. Слышно было, как капитан часами орет на бедных механиков: «Черт!», «Вашу ж мать!» и «Какого

хрена вы натворили?» — но все напрасно. Они все равно ничего не сумели бы поделать без замены турбины. И не могли придумать временного решения, чтобы добраться до какого-нибудь порта, — только ждать, когда на судне того же типа привезут турбину. Взбешенный капитан надавал черной работы всем независимо от ранга — подметать, полировать, мыть, чинить, чистить изнутри остывшие котлы, — но корабль только что вышел из сухого дока и был хоть и старым, но содержался в порядке. Четырехчасовые вахты с чередованием работы и отдыха наступали и проходили, а заняться было почти нечем.

Океан смягчился, но словно издевался над ними, слегка подбрасывал судно, дергал за якорь. Время остановилось, и по ночам, когда на пароходе гасили все огни и мимо не проходили другие суда, голова начинала странно кружиться от того, что небо и море были неотличимы. Махмуду казалось, что он может быть кем угодно, в любом времени и месте, даже в самом начале истории. Дыхание космоса и глубина океана напоминали ему о собственном ничтожестве и незначительности человечества в целом. Почти каждую ночь проходили метеорные потоки, иногда звезды падали так низко, что видно было, как они искрятся

в атмосфере, и он, запрокинув голову, подолгу следил за их танцем. Первый помощник палил в созвездия сигнальными ракетами, предупреждая проходящие корабли о своем в остальном незримом присутствии.

Залитая солнцем палуба «Гленлайона» превращалась в городской парк, где мужчины с обнаженными торсами читали, играли в крикет и позировали перед объективами «Кодаков». Границы между рангами стирались, начальство садилось играть против виртуозов домино или карт, кем бы они ни были — подручными на камбузе или кочегарами. Так Махмуд впервые прочувствовал на борту судна подобие равенства, не ограниченного его спальным местом или машинным отделением. Однажды вечером по пароходу поползли шепотки, что на следующий день ожидается визит Нептуна, который проведет обряд посвящения для «головастиков», впервые пересекших тропик Козерога. Махмуд сообразил, что он ведь тоже «головастик», новичок по сравнению с опытными морскими волками, уже пересекавшими экватор, линию перемены даты, нулевой меридиан и тропики Козерога и Рака. «Гленлайон» как раз находился на линии и дрейфовал вдоль нее.

Ничего подобного он в жизни не видел. Экватор он пересекал много раз, и все было спокойно, а теперь судно превратилось в плавучий сумасшедший дом. После завтрака появился царь Нептун, поднятый с помощью лебедки из бокового иллюминатора с нижнего яруса и облаченный в длинную хламиду из синей сети. При нем были корона из фольги, трезубец и длинная ватная борода. Узнать, кто он такой, в этом наряде было невозможно, и капитан отдал честь и передал ему командование судном. Бурулех, костлявый кочегар-сомалиец лет пятидесяти, прибыл следом за Нептуном, восседая на плечах дюжего матроса-латвийца. Как самому старшему на борту, Бурулеху доверили роль Дейви Джонса; две стальные вилки на его голове изображали рога, тряпки, подложенные сзади под рубашку, — горб, брюки были украшены рыбьими головами и водорослями, лицо ему напудрили, губы начернили. Третьим в этой причудливой компании был толстяк старший стюард в платье из посудных полотенец и парике из швабры, с красными от пищевого красителя губами и сбритой щетиной. Под музыку одного из матросов, играющего на аккордеоне, царь Нептун вызвал с десяток «головастиков», а потом поручил Дейви Джону

придумать им задания, которые они должны выполнить, чтобы пройти обряд посвящения и вступить в матросское братство.

Фантазия у Бурулеха оказалась дьявольской. Махмуда и остальных он заставил делать сотню отжиманий, а потом — искать в корыте, полном овсянки, размокшего хлеба, объедков сосисок и бог весть чего еще, спрятанную на самой глубине монетку. Новичков в испачканных и мокрых рубашках затем заставили выпить какое-то бурое снадобье, отдающее запахом душевых кабинок, и окунули в бочки с подкрашенной зеленым морской водой. Махмуд выдержал испытание последним, так как передумал пить непонятную жидкость, но Бурулех подставил ему подножку, пока он бежал к бочкам, и вылил ему стакан прямо в рот. Махмуд отбивался на скользкой палубе, смеясь и бранясь на сомалийском, но Бурулех, которому новая роль придала сил, отпустил его, только когда неизвестная жидкость оказалась выпитой.

Грязная была затея и в то же время веселая. Они словно стали детьми, не думающими о ранге, цвете кожи, жалованье или зависти. Каждый был просто человеком со смеющимся ртом, работающими мышцами, глазами, повидавшими

всякое, и сердцем, способным как любить, так и ненавидеть.

Надо было им остаться там навсегда. Дрейфовать вблизи дна планеты. Забытыми. Недосягаемыми для всего мира. Он женился на Лоре перед самым отплытием на «Гленлайоне», но, если бы он так и не вернулся, может, жизнь сложилась бы лучше у них обоих.

— Начальник тюрьмы устроил тебе встречу с магометанским священником, он будет здесь в полдень. — Перкинс отсчитывает тринадцать карт, начиная игру в рамми.

— Шейх Исмаил? Или Шейх аль-Хакими? — Махмуд собирает свою сдачу одной рукой и стучит картами по столу, выравнивая края.

— Я, к сожалению, запомнил только, что он шейх.

— Напрасно он обращался, неважно, к кому из них. Им плевать на мою шкуру и душу. Их приведут в комнату для свиданий?

— Нет, прямо сюда, на случай, если ты захочешь помолиться вместе с ними.

Махмуд оглядывается по сторонам, видит переполненную пепельницу и свою койку с дешевым серым одеялом и засаленной подушкой.

— Здесь слишком грязно.

Перкинс окидывает взглядом камеру.

— Я еще и не такое повидал, но, если хочешь соблюсти приличия, можешь навести порядок. — Он улыбается.

Так Махмуд и делает, отложив карты. Он не желает, чтобы кто-нибудь из йеменцев видел, как низко он пал, он не даст им повода позлорадствовать и сообщить остальным, как плохо живется сомалийскому вору. Встряхнув постель, он оправляет ее поверх матраса. Тарелку с хлебными крошками и пустую эмалированную кружку он переставляет на стол, Перкинс высыпает содержимое пепельницы поверх крошек и уносит мусор к двери. Там он стучит и ждет, когда его выпустят.

Он является во всей красе — аль-Хакими в чалме размером с глобус и широком расшитом халате.

— Абракадабра, — шепчет Уилкинсон Перкинсу, подавляя смешок.

Перкинс хмурится и отводит его в угол у двери, чтобы дать Махмуду и священнику возможность уединиться.

Шейх приносит с собой запах прежде общего для них мира — ладана, специй, *уда*, — и Махмуду приходится подавлять в себе желание зарыться

носом в одеяние гостя.

Аль-Хакими на три или четыре дюйма ниже ростом, но он откидывает голову, задрав тонкий крючковатый нос, и смотрит на Махмуда свысока.

– *Ассаламу алейкум*, ибн Маттан.

– *Ваалейкум салаам*, шейх. — Махмуд протягивает руку.

После мгновенного замешательства аль-Хакими выпрастывает маленькую желтую кисть из тяжелых складок облачения.

Им неловко друг с другом и в таком положении.

— Садитесь, — говорит Махмуд по-английски и указывает на стулья.

— Меня призвали предложить тебе духовное утешение, но прежде хочу сказать, насколько прискорбна и постыдна эта ситуация, — начинает аль-Хакими по-арабски, оглядываясь через плечо на надзирателей и натужно улыбаясь. — Ты должен исправиться, пока еще не слишком поздно.

— Как?

— Повторяя слова Корана: «Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне».

— Вы думаете, у меня на уме есть хоть что-нибудь еще, кроме «*рабби инна заламту нафси фагфирли*»? Я повторяю это день и ночь. Я знаю, как я навредил своей душе.

— Так ты признаешься? — говорит аль-Хакими, качая головой.

— Признаюсь в чем? Что я пил, играл в азартные игры, воровал, тратил время на женщин? Да.

— Нет, в том преступлении, за которое тебя держат здесь?

— Нет, я не могу признаться в том, чего не совершал.

— Но не можешь и просить прощения за то, в чем не сознался.

Махмуд прижимает левую ладонь к сердцу, а правую руку поднимает так, чтобы указательный палец был направлен в небо.

— Аллах свидетель, я не убивал эту женщину, моя кровь и ее кровь пролиты безвинно. Передайте это всем. Я умираю не как безвинный человек, а как *шахид*.

— Мученик? — повторяет аль-Хакими, вскинув бровь.

— Это правда. — Махмуд держит руки в положении клятвенного заверения. — Я помню множество *хадисов*, которым *маалим* учил меня

в детстве. Есть разные мученики: женщина, которая умирает при родах, и ребенок тащит ее в рай за пуповину — это из Муснада Ахмада. И еще: «Мусульманин, который умирает как чужеземец или в чужой стране, есть *шахид*», как сказано ибн Маджахом. Разве я не чужеземец в чужой стране?

Аль-Хакими кивает.

— И что же получает мученик? — спрашивает Махмуд, подражая учителю.

– *Джаннатуль-Фирдаус*.

— Да. Высшее счастье в раю. Я так много узнал здесь, шейх. Я узнал, что только страх заставляет по-настоящему молить Бога о прощении, из самых глубин своего существа. Узнал, какой одинокой становится душа, когда все радости, все хорошее и родное отнято у нее. Узнал, как мала и непрочна эта жизнь и что все в этом мире, этой *дунье*, — мираж, исчезающий на глазах. Я изведал горький вкус несправедливости. А вы, шейх?

Аль-Хакими качает головой, не сводя бледно-карих глаз с шевелящихся губ Махмуда.

— Это все равно что глотать яд.

— Если…

— Нет никаких «если», шейх, *ляя*, не произносите при мне это слово.

— Так или иначе все, что в наших силах, — молиться, чтобы Аллах был милосерден к тебе и в этой, и в следующей жизни. Ты поразил меня, Маттан.

Махмуд улыбается неопределенной, загадочной улыбкой.

— Так и сделайте, и я не останусь в долгу. Да простит Аллах вас и других мусульман за то, что бросили меня без помощи.

Шейх откидывается на спинку стула, не сводя глаз с Махмуда.

— Взгляните на мои кости, посмотрите, как они видны сквозь кожу, — он закатывает рукава, обнажая руки выше локтей, — знайте, что меня похоронят здесь, сохранят эти кости как добычу. Никто из мусульман не обмоет меня, не прочитает молитву, никто не приложит меня левой щекой к земле. Знайте это, шейх.

— Мы будем молиться за тебя. Не отчаивайся, повторяй за мной: «Господь наш! На Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие». Повтори это.

Махмуд повторяет *дуʿа*.

– *Аминь*. — Аль-Хакими берет с богато расшитой груди одни из длинных черных четок и снимает их через голову. — Возьми вот это и

считай имена Аллаха день и ночь, возлагай упование на Всемогущего, потому что людской мир несправедлив.

Махмуд оборачивает *тасбих* вокруг пальцев.

Еще несколько дней после визита шейха вокруг Махмуда сохраняется нечто вроде сияния, свечение внутренней духовности. Все будет по воле Аллаха. Надзиратели не хотят ему зла, понимает он, они просто люди, помещенные сюда божественным провидением, как и он сам. Все они собраны вместе судьбой, предначертанной еще до того, как кто-либо из них сделал свой первый вдох. Такое ощущение, будто он под кайфом, по крайней мере, так он себе это представляет: мягкое, теплое оцепенение, в котором он недосягаем для всех мучительных мыслей или чувств. Он просыпается и засыпает с осознанием подлинного подчинения, и ему не надо стремиться к нему — это чувство длится и длится, пока проходят дни. Тот поезд, который нес его на юг из Дар-эс-Салама, то первое судно в Южной Африке, та встреча с Лорой в кафе, тот присяжный, который повернулся к нему и зачитал вердикт «виновен» — все это ступеньки незримой лестницы, по которой он взбирается все выше и выше в небеса. Точная дата и время смерти уже определены, невеже-

ственными белыми людьми управляли, точно марионетками. Не на кого злиться, некого даже винить. Он жалеет только, что не уделил больше внимания Вайолет Волацки, этой маленькой, крепкой, темноволосой женщине, чья смерть оказалась неразрывно связанной с его смертью. А он никогда не удосуживался разглядеть в ней нечто большее, чем просто говорящее и ожесточенно торгующееся подобие манекенов из ее же лавки. Надо ему было взять ее за руку, когда она отдавала ему сдачу, или легко коснуться ладонью ее искривленной спины. Заглянуть в самую глубину ее карих с крапинками глаз и сказать: «Ты и я соединены в вечности. Нить моей жизни будет перерезана в тот же миг, как ты умрешь».

Уилкинсон свистит. Он умеет красиво свистеть и заливается всю свою смену, как птица в клетке.

— А давайте «Мэкки-Нож», — предлагает Махмуд.

Набрав побольше воздуха, Уилкинсон издает первые ноты и прищелкивает пальцами, как в джаз-банде.

— Вот так, все верно, — говорит Махмуд со своего места на койке, отбивая ритм ногой.

Перкинс ходит по камере, по привычке то и де-

ло что-нибудь оправляя и отряхивая, но и он при этом напевает, наслаждаясь моментом. Открыв шкаф у противоположной стены, он заглядывает туда и убеждается, что шкаф пуст, если не считать проволочной вешалки и запасного одеяла.

— Скоро тебе вернут костюм, сможешь повесить его сюда.

— Конечно, — говорит Махмуд, вращая головой. — Я вот все думаю…

— О чем? — Перкинс поворачивается лицом к нему, и Уилкинсон перестает свистеть.

— Если я захочу, я могу вызвать сюда полицию? Чтобы у меня взяли показания?

— Да, ты вполне имеешь на это право.

— Чертовски верно, Финеас, — соглашается Уилкинсон.

— Я хочу так и сделать. Позвоните ему, этому лживому детективу Пауэллу, пусть возьмет у меня показания, чтобы не только полиция записывала мою историю. Я скажу последнее слово.

— Я отправлю сообщение в полицейский участок, но…

— Но что?

— Не возлагай больших надежд на то, что от этого хоть что-нибудь изменится.

Махмуд отметает это предположение:

— Знаю. Какая бы ложь или истина ни исходила от полиции Кардиффа, уже слишком поздно, чтобы она помогла или навредила мне. Приведите его сюда, и я расскажу ему то, что я хочу, чтобы он услышал.

Детектив Пауэлл приходит на той же неделе, в половине одиннадцатого утра. Его неуклюжее тело слишком велико для камеры, краснощекое лицо влажно блестит под фетровой шляпой, с черного макинтоша стекают на пол дождевые капли. Он приветствует надзирателей, как давних друзей, заводит с Уилкинсоном разговор о летних дождях и лишь потом замечает присутствие Махмуда. Прищурив глаза и опустив по бокам прямые как палки руки, он начинает:

— Ты посылал за мной, Маттан?

Махмуд садится, глядя на него сверху вниз со спокойным, ничем не скованным презрением:

— Правильно.

— Дайте-ка я заберу ваш плащ, пока нам не пришлось вытирать здесь пол, — вмешивается Перкинс и тянется к плечам детектива.

— Кто сказал, что тюремные надзиратели в Министерстве внутренних дел навроде официанток? Не я, — смеется Пауэлл, стряхивает с плеч плащ, и Перкинс вешает его в шкаф.

Ему хватает наглости смеяться в моей камере, думает Махмуд, глядя, как Пауэлл словно складывается всем телом, садясь напротив него, его колени потрескивают, он медленно придвигает зад к спинке стула.

— Найдется ли спорт более мстительный к старикам, чем регби? — спрашивает он у Уилкинсона, который лишь улыбается в ответ.

— Пауэлл, — говорит Махмуд, завладевая его вниманием, — вы посадили меня сюда, но вам уже слишком поздно вытаскивать меня отсюда, понимаете? А теперь, при этих двух людях в качестве моих свидетелей, — он указывает на Перкинса и Уилкинсона, — выслушайте меня и запишите мои слова. Вы пишете мою историю не для моих сыновей и не для кого-нибудь еще, ясно?

— Я всего лишь смиренный слуга закона, я не могу поместить кого-либо туда, где ему не положено быть, мистер Маттан.

Махмуд впивается в него взглядом, рассматривает чуть ли не как под микроскопом, стараясь понять, действительно ли Пауэлл человеческое существо с кровью, текущей в его жилах. Тонкие красные сосудики сверху на его ноздрях и щеках вроде бы подтверждают это предположение, но

какой человек способен так невозмутимо сидеть здесь, зная, что его ложь обрекла невиновного на смерть?

— Ладно, давай тогда начнем. Четверг, 26 августа 1952 года, — говорит Пауэлл и достает из кармана пиджака линованный блокнот.

— Я готов, — говорит Махмуд, кладет ладони на стол и делает глубокий вдох. — Если правительство устраивает, что убийца гуляет на свободе, а меня повесят ни за что, — удачи правительству, а я очень рад быть повешенным ни за что.

Пауэлл кривится, но продолжает писать, пока Махмуд не узнает, как ему кажется, написанные слова «ни за что».

— Не хочу больше ждать, хочу, чтобы меня повесили как можно скорее.

Пауэлл поднимает голову от блокнота и усмехается.

— Слишком много народу в Кардиффе знают про мое дело, что меня собираются повесить ни за что, и я уверен, скоро что-нибудь выяснится, но хочу, чтобы, если вы найдете убийцу после того, как меня повесят, его вообще не вешали. Удачи ему, кто он там такой, черный или белый. — «Проклятый английский», — думает Махмуд, сражаясь со словами. — Только одно: я рад, если

меня вешают ни за что под британским флагом. Удачи ему, потому что я часто слышал, что британское правительство честное, но никогда не видел в моем деле честности, потому что никогда не видел никого в суде в Суонси или апелляционном суде, кто вмешался бы в мою пользу. Только одно, что касается меня, я черный, и никто не хочет вступиться за меня, потому что моя жизнь стоит дешево. Я первый человек, которого повесят ни за что в этой стране, и я не думаю, что кто-нибудь поверит в то, что я прямо сейчас говорю, но когда-нибудь, и скоро, вы в это поверите, потому что слишком много людей знают кое-что об этом деле, и, может, потом кто-нибудь заговорит. Допустим, была бы моя кожа белее, меня не вешают сегодня за это дело, потому что еще никого не вешали раньше за слово «если». Я никому не мешаю и не говорю ни слова лжи в своем деле. Я все время был прав.

Махмуд делает длинный глоток воды из эмалированной кружки.

— Эти ботинки были ношеные, когда я их купил. Я не собираюсь ручаться, была на них кровь или нет, но клянусь, что я не имею никакого отношения к убийству.

Пауэлл пишет медленно, его мясистые пальцы

побелели у кончиков, которыми он стискивает ручку, когда она подрагивает в его тисках.

— Надеюсь от Бога, если я как-то связан с тем убийством, я никогда не был бы спасен, и, если я прав, надеюсь, мой Бог спасать меня. Это все.

Пауэлл вздыхает, кислым тоном бурчит что-то, кажется, «ломаный английский». Наконец он дописывает показания.

— Больше ничего? — уточняет он, пробегая взглядом записанное.

У Махмуда гудит в голове от мыслей. Так это Бог или Пауэлл посадил его сюда? Аллах или человек? Он не собирался наговорить так много и не хотел, чтобы ускорили повешение. А вдруг теперь так и будет?

— Ага, ничего.

— Тогда поставь свою подпись. — Он поворачивает блокнот и протягивает Махмуду ручку.

— Последний раз я пишу мое имя, — спокойно говорит Махмуд, выписывая буквы плавно и красиво, чтобы не выдать, как издерганы его нервы. — Идите сейчас, — велит он, не глядя на Пауэлла, закрывает блокнот вместе с ручкой и толкает его от себя по столу.

Пауэлл встает, отбрасывая тень на Махмуда, забирает плащ и молча покидает камеру.

Перкинс и Уилкинсон переглядываются и тяжело выдыхают.

Через несколько минут после ухода Пауэлла Махмуд вдруг в панике понимает, что у него есть что еще добавить к показаниям.

— Мистер Перкинс, у меня есть еще что сказать, вы запишете это для меня?

— Конечно. — В кармане его формы уже лежит блокнот и карандаш.

— Вы готовились?

— Мы обязаны на случай, если понадобится записать что-то важное, что ты скажешь или сделаешь.

— На случай, что я признаюсь в последнюю минуту, или что?

— Да, что-то вроде.

— Этого никогда не будет. Я иду умирать, говоря правду, как я сказал полицейскому.

— Понимаю.

— Ты первый на моей памяти, кто непоколебимо заявляет о своей невиновности, — говорит Уилкинсон, занимая свободный стул у стола. — Большинству под конец хочется излить душу.

— Не знаю, сколько времени это займет, но когда-нибудь они поймут, что повесили не того. Вот увидите. Ладно, мистер Перкинс, пишите…

— Секунду. Только подточу карандаш. — Он поворачивает карандаш, пока кончик графита не становится острым. — Готово.

Махмуд прочищает горло:

— Только одно я теряю в моем деле. Моим защищающим солиситорам и юристам говорили, что мне нечего сказать суду, но, если я выкладываю свои свидетельства перед присяжными, сейчас я бы здесь не был. Но нет ничего хорошего мне рассказывать вам, какие мои свидетельства, которые я не выложил перед судом, потому что уже слишком поздно.

Перкинс поднимает голову, ожидая, что Махмуд передумает и скажет, что это за свидетельства, о которых он не сообщил, но Махмуд переходит на другое.

— Но свидетельства, которые вы принимается от такого Гарольда Кавера, я могу сказать вам кое-что из его свидетельств, потому что он говорил из суда, что видел меня тем вечером у лавки убитой женщины, и еще говорит, что там было много людей, стоящих на улице, но вы можете спросить кого угодно из Кардиффа, какой была погода тем вечером, и никто бы стоять на улице не стал. А если бы много людей стояли на той улице, думаете, кто-то напал бы на ту женщину? Это не мои

свидетельства, это я слышал, как Кавер сказал на суде в Суонси, и ваше дело, принимать это или нет. Вот и все. — Махмуд закуривает сигарету из пачки на столе. — Мой английский испортился. — Он улыбается, его рука слегка дрожит, он царапает подсохшую болячку на шее.

Перкинс перечитывает вслух его показания.

— Ты уверен, что не хочешь рассказать про то свидетельство, про которое промолчал раньше?

Это лишь оконфузит его сейчас, ничего он не добьется, объяснив, что все случилось отчасти потому, что он ходил повидаться с той русской и не хотел, чтобы об этом узнала Лора. Он качает головой.

— Зря время тратить.

— Как хочешь. — Перкинс поворачивается к Уилкинсону. — Покажем это начальнику тюрьмы, прежде чем отослать детективу Пауэллу?

— Думаю, так и надо сделать.

Приятное оцепенение, которому Махмуд радовался после визита шейха, рассеялось полностью, и теперь он в постели, под белой простыней, с чем-то вроде морской болезни, от которой выгибаются стены и пол вокруг него. Он вцепляется в подушку, готовый вывернуться наизнанку, закрывает глаза, чтобы сосредоточиться на дру-

гих мыслях. И выуживает из памяти названия давних судов и портов, в которых он поднялся на их борт.

Какой-то «Форт». «Форт Ла-Прери». А вот Кардифф, Ньюпорт или Лондон? Он помнит, как сидел в ожидании отплытия в пабе, полном сомалийцев, положив себе в ноги одеяло, миску и вещевой мешок. Должно быть, это был «Клуб Рио», где сомалийцы открыто пили виски залпом. Лондон.

«Пенкаррон». Фалмут, Корнуолл, «ступня Англии».

Опять «Форт Ла-Прери». Опять Лондон. Опять «Клуб Рио».

«Форт Лэрд». Лондон. Держался подальше от «Клуба Рио».

«Форт Гленлайон». Лондон. Восемь месяцев. Лора ждала с животом, когда он вернулся.

«Харматтан». Лондон.

«Альхама». Глазго. Единственный раз в Шотландии. Чертовски холодно и враждебно.

«Форт Брунсвик». Лондон. Родился Мервин.

«Северная Британия». Ньюкасл. Всего два месяца. Тоска по дому. Последнее судно.

Красное небо трескается, открывая темный престол Бога; серное облако стелется над асфальтом,

вынуждает Махмуда, идущего к докам, зажимать нос. Луна раскололась на две зубчатые половины и тонет, звезды одна за другой падают в Ирландское море, испускают клубы пара, устремляясь в бездну. Заводы и склады обратились в пыль. Перепуганный Махмуд идет один и рыдает, как дитя. Мимо безлюдных лавок и кафе на Бьютстрит, нетронутых, какими он их оставил, со скелетами за прилавками и столиками, мимо заведения Берлина, набитого битком, как катакомбы. Одинокие фигуры вдалеке бредут вперед, но он знает, что они ему ничем не помогут и он не может помочь им. Настал *кияма*. Судный день. В глубине души он понимает, что он проклят, что он наконец встретится лицом к лицу с ужасной реальностью Бога и будет посрамлен и низвергнут. Пламя взметается с крыши лавки Волацки, задевает тучи, капли расплавленного золота дождем сыплются вниз и прожигают его кожу насквозь. «*Илляхайоу ии саамах*, Господи, помилуй меня. *Илляхайоу ии саамах*».

Слишком поздно. Слишком поздно. Слишком поздно.

Чья-то ладонь хлопает его по плечу.

– *Ваа ку кан, ааббо*, вот ты где, отец, — говорит светлокожий мужчина со смутно знакомым ли-

цом. Не добавив ни слова, он уходит прочь, всей ссутуленной фигурой выражая сломленность.

— Дэвид? — кричит Махмуд, отшатываясь от огня и опускаясь на колени на черный асфальт, который бурлит и трескается под ним. — *Илля-хайоу ии саамах*.

— Проснись, Маттан, проснись. — Перкинс трясет его, чтобы разбудить.

В тусклом свете камеры лицо Перкинса, нависающее над ним, кажется желтым и незнакомым. Махмуд отталкивает *джинна*, все еще охваченный ужасом *киямы*. Его торс обнажен, но он все равно обливается потом.

— Тебе приснился страшный сон.

— Это конец света. Я вижу его.

— Сейчас принесу тебе попить.

— Пусть сядет и выбросит сон из головы, — советует Уилкинсон.

— Я иду в ад, я иду в ад, — причитает Махмуд, не в силах перевести дух.

— Успокойся, — мягко говорит Перкинс, присаживаясь на край койки и протягивая кружку. — Это просто страшный сон.

Махмуд сначала прижимается лбом к холодной эмали, потом отпивает длинный глоток.

— Я веду плохую жизнь, и теперь она кончена.

— Маттан, все мы совершаем как ошибки, так и хорошие поступки. Так было всегда, и Бог для того и существует, чтобы прощать нам слабость, так во всех религиях, во что бы ты ни верил. А теперь сядь, как говорит Уилкинсон.

Перкинс помогает Махмуду принять сидячее положение.

— Возьми вот газету, обмахнись. — Уилкинсон бросает тонкую газету Махмуду на колени и проводит тыльной стороной ладони по его влажному лбу. — Ты такой горячий, Махмуд, наверное, сон был ужасный.

Это было *видение*, а не сон, говорит себе Махмуд.

Слабый напор в кранах на этом этаже означает, что приходится долго ждать, пока струйка воды смоет густую мыльную пену с рук и ног Махмуда. Он сидит в маленькой ванне, все тело белое от пены, только кое-где проглядывает его настоящая кожа, и задается вопросом, как сложилась бы его жизнь, если бы его кожа была от рождения вот такой белой. Прежде всего как матросу ему платили бы на четверть больше и не ограничивали в поисках работы только торговым флотом. Он мог бы стать образованным человеком, применить свои навыки в любой профессии, какую захотел

бы приобрести, сумел бы купить приличный дом для Лоры и детей, и белые старухи считали бы, что у них чудесная семья. Он познал бы, что такое справедливость.

Надзиратель-шотландец стоит в дверях, глядя в потолок, чтобы помочь Махмуду сохранить хоть какое-то подобие достоинства.

Махмуд медленно проводит ладонью по своей руке. Это стройное, черное, мускулистое тело исправно служило ему — удивительная машина, настроенная тоньше, чем любой пароход только что с верфи. А он не берег его, подвергал опасности, не думая о множестве поколений мужчин и женщин, которые способствовали его появлению всей своей алчностью, похотью, отвагой, неугомонностью и самопожертвованием. И он исполнил свой долг. Трое мальчишек продолжат его *абтирис*, его родословную, — пусть с гордостью носят фамилию Маттан, прославят ее, сделают так, чтобы она внушала трепет тем, кто облечен властью.

Ощупывая влажные завитки у себя на голове, короткие подрагивающие ресницы, вздернутый нос и темные широкие губы, унаследованные от матери, Махмуд наполняется скорбью по этому телу, которое вскоре прекратит работу и начнет

гнить. Это тело так хорошо служило ему, подарило ему все пять чувств и образцовое здоровье. Это тело взвешивали, измеряли, в него тыкали, его били, презирали, а теперь запланировали уничтожить его, как старое трамповое судно, притащенное буксиром на слом.

Он проводит ладонью по своей длинной изогнутой шее с выступающим кадыком, нащупывает толстые кости вдоль спины, те самые, которые хотят сломать.

— Любимая, я не знаю, что сказать. Я еще не получил ответа — ни «да», ни «нет».

Лора сидит по другую сторону стекла, Омар у нее на коленях. Она кивает.

— Осталось всего четыре дня. Неужели они правда могут принять решение так поздно?

— Они могут принять его хоть накануне ночью, если захотят, и утром в восемь объявить мне, чтобы готовился.

— Это же пытка.

— Да.

— Я хотела принести тебе домашней еды, но мне не разрешили. У тебя нездоровый вид, милый.

— У тебя тоже.

Она вытирает нос платком:

— Да это пустяки, я подхватила от мальчишек простуду, вот почему не привела двоих других, они все еще чихают.

— От этого мне легче.

— Почему?

— Потому что это значит, что ты надеешься, иначе привела бы их.

Она пожимает плечами:

— Может быть.

— Я все еще ношу надежду, Лора.

— Как всегда, Муди, ты всегда говорил, что все уладится. Слишком уж много было этих проклятых надежд.

— Таким я создан.

— Я тоже постараюсь так думать. Ты был лучшим, что случилось в моей жизни, ты знаешь это?

Махмуд ныряет лицом в открытые ладони.

— Все эти мелочные препирательства, ссоры из-за денег или твоей ревности — они ничего не значат. Вряд ли я смогла бы любить кого-нибудь так, как ты любил меня. Ты выбрал зеленую девчонку из Уэльса и помог ей почувствовать себя королевой Англии. А я не поняла, как может кто-то любить меня настолько сильно, потому и сбежала. Глупая была.

— Перестань, Лора, с прошлым покончено, теперь это неважно.

— Я хочу, чтобы ты знал, что Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. Ты слышишь? Я люблю тебя. — Она почти выкрикивает эти слова. Потом шепчет на ухо Омару, и он с улыбкой прикладывает ладошки к стеклу и крепко прижимается к нему губами.

— Я люблю тебя, папа.

Махмуд целует маленький отпечаток, оставленный губами сына. Оглядывается через плечо на шотландца, который стоит, отвернувшись.

— Мамочка, и ты меня тоже поцелуй.

Лора поднимается со стула, и их губы сходятся по обе стороны тонкого стекла в их первом настоящем поцелуе с тех пор, как она ушла от него в Халле.

— Я всегда влюблен в тебя, Лора Уильямс.

— Меня зовут Лора Маттан.

— Лора Маттан, *кальбигейга*.

— Что это значит?

— «Мое сердце» на моем родном языке. Лора, послушай, если они сделают это в среду, если правда решат, я хочу, чтобы ты была сильной, смотрела за моими мальчиками, как если бы ты была им и мать, и отец, и *не дала* им забыть меня. А когда они подрастут, скажи, что я умер в море,

потому и некуда прийти ко мне на могилу.

— О, Махмуд, любовь моя. — Она прижимается лбом к стеклу, и он делает то же самое.

— И еще слушай, если эти люди здесь убивают меня, ты меня оставляешь здесь, пока не находишь человека, который убил ту женщину. Даже если понадобится пятьдесят лет.

Она кивает.

— Но не волнуйся, Лора, они меня не убьют.

Надзиратели сменяются, когда Махмуд возит ложкой в утренней миске с овсянкой, пытаясь пробудить в себе аппетит к серому склизкому месиву.

— Я тут подумал, что это тебе может понравиться… — Перкинс ставит на стол белую картонную коробочку.

Махмуд переводит взгляд с коробки на Перкинса.

— Зачем? — говорит он и тянется одной рукой к крышке, поглаживает вычурный тисненый герб на ней.

— Да просто подумал, что ты уже шесть месяцев питаешься тюремной едой и, наверное, не прочь для разнообразия отведать чего-нибудь другого.

В коробке лежат два кремовых пирожных-трубочки, кристаллики сахара поблескивают на

слоеном тесте, густой желтый крем и джем чуть не вываливаются из рожков. При виде них рот Махмуда наполняется слюной, но он закрывает коробку и придвигает ее к себе.

— Потом ем, после обеда.

Он не знает, благодарить за пирожные или нет — сомалийца он бы не стал, — но Перкинс стоит так, будто чего-то ждет, так что он бросает ему «спасибо», только чтобы он сел и успокоился.

— Я играю с вами в покер после завтрака?

— Не знаю, выдержу ли я очередной проигрыш, но если ты хочешь…

— На этот раз я слегка, — обещает Махмуд, поднося ложку к губам.

Уилкинсон приносит стопку местных газет, прошедших цензуру, их страницы изрезаны, словно там упоминалось об убийстве или апелляции Махмуда.

— Первым глянешь страницы с бегами? — спрашивает Уилкинсон, хлопая по столу номерами «Эхо», «Мейла» и «Таймс». — Я прямо как ты заговорил! Вот ведь чертовски заразная штука. — Он смеется.

Махмуд тоже усмехается:

— Следующим назовут дикарем вас тоже.

В коридоре раздаются глухие шаги, но Махмуд

прислушивается к ним лишь краем уха, поглощенный покером с надзирателями, которые играют азартнее обычного. Махмуд поставил одну из трубочек с кремом и теперь боится, как бы не проиграть ее. Спустя несколько мгновений дверь открывается, входит начальник тюрьмы в сопровождении его секретарей.

Перкинс и Уилкинсон роняют карты, которые они так старательно прятали — видно, что комбинация у них проигрышная, — и встают навытяжку.

Махмуд тоже медленно поднимается.

Начальник тюрьмы глядит ему прямо в глаза, у него в руке телеграмма.

— Махмуд Хуссейн Маттан, ваше прошение о помиловании, обращенное к министру внутренних дел, отклонено. Вы будете казнены за убийство мисс Вайолет Волацки в среду, третьего сентября, в восемь утра. Да помилует Господь вашу душу.

Надзиратель-шотландец приносит из прачечной коричневый костюм Махмуда, который он надевал на суд. На вешалке рубашка, галстук, пиджак и брюки выглядят так, будто внутри находится человек-невидимка, безвольный в ручищах надзирателя.

— Если хочешь, чтобы жена принесла тебе другой костюм, это можно.

— Это чтобы я хорошо выглядел для смерти, да? — бормочет Махмуд.

— Через час у тебя прогулка, не забудь.

Ему кажется невозможным, что они способны повесить его утром после всех этих приятных разговоров о прогулках и костюмах.

Небо не в огне, но солнце ярко светит, как много других дней, и птицы бессердечно щебечут в подрезанных ветвях деревьев. Махмуд давит ногой какого-то жука, растирает его в порошок, в котором вспыхивают догорающие искры жизни. «Они делают это, потому что не сломили меня. Если бы я свихнулся и рыдал, сидя в собственном дерьме, может, тогда они охотно отправили бы меня в сумасшедший дом, как Хайреха. А я все еще стою и заявляю, что невиновен, вот им и приходится добить меня, чтобы защититься самим. Их ложь и зло кончаются вместе со мной». Он приберег сигарету, чтобы отпраздновать отмену приговора, ожидая, что его все-таки отменят, несмотря ни на что, но теперь вытаскивает ее из фольги и зажимает губами. И чиркает спичкой об стену. «Если бы только я мог поджечь все ваши стены, — говорит он, глубоко затягиваясь

тлеющим табаком, — я сжег бы эту тюрьму дотла и освободил бы всех, какими бы ни были их преступления, потому что никто не должен красть у них свободу. Сомалийцы правильно считают: причинил кому-нибудь вред — придется тебе до конца своих дней ходить с оглядкой, если не загладишь вину. При этом сталкиваешься с другим лицом к лицу. Только трусы рассчитывают на тюрьмы и хладнокровные повешения».

Он видит, как две шляпы движутся за решеткой на верхнем этаже корпуса. Они качаются влево-вправо, словно сами по себе, повторяя его движения, как и бледные лица под ними, перерезанные крест-накрест металлом решетки.

Махмуд поворачивается спиной к тем, кто подглядывает за ним, и крепко зажмуривается. Снимает полотняную кепку, подставляет солнечному теплу проплешину на макушке. Вытягивает руки перед собой, плечи и локти громко потрескивают, он слышит, как его сердце отбивает ритм.

— Я оберну дорогу вокруг талии, словно пояс, — поет он, — и пойду по земле, даже если меня никто не видит.

И он протягивает руки ладонями вверх, словно солнце — мяч, который можно поймать.

Халас

Кончено

7:15, среда, 3 сентября 1952 года

— Нет, не надену я этот чертов костюм, — повторяет Махмуд, вышагивая по камере.

Он провел без сна всю ночь, пил чай кружка за кружкой. Молился только один раз, в середине ночи, прочитал длинную скорбную молитву со множеством поклонов. А теперь он чувствует себя наэлектризованным, он не в силах молиться, сидеть и даже стоять спокойно.

— Махмуд, ну пожалуйста, — умоляет Перкинс, расстегивая китель и покраснев.

— Ну что? Ради кого мне наряжаться? Я же не на свадьбу иду. Хотите оставить себе мое тело, значит, оставите в тюремной форме.

— Ну, вот что, Махмуд, — рявкает Уилкинсон, вышагивая вместе с ним, — не хочешь одеваться — хотя бы сядь и съешь что-нибудь, я попросил приготовить тебе яйца и тост.

Махмуд вертит в руках *тасбих*:

— Думаете, я могу *есть*?

Стучат в дверь, появляется накрытая тарелка. Осторожно взяв Махмуда за плечо, Уилкинсон

ведет его к стулу, ставит перед ним тарелку и поднимает крышку.

— Хотя бы тост съешь.

Махмуд смотрит на тошнотворную яичницу, и у него судорожно сжимается желудок. Он накрывает тарелку и жестом велит надзирателям сесть.

Сам он между ними, спиной к двери камеры.

— Я просто хочу тишины, чтобы подумать.

Перкинс и Уилкинсон застегивают кители и садятся. Становится так тихо, что Махмуд слышит, как тикают их наручные часы.

— Уберите ваши часы или остановите их. Вы меня с ума сводите.

Перкинс и Уилкинсон тянутся к запястьям и одновременно вытаскивают головки подзавода. Теперь вместо «тик-так» слышится их дыхание.

— Перестаньте дышать, — шепчет Махмуд.

Уилкинсон сцепляет пальцы и склоняет голову, будто молится.

Теперь время становится жидким, плещется между ушами Махмуда, не подчиняясь никаким измерениям, кроме метронома у него в груди. Он смотрит на грязные манжеты своей пижамы, на свои руки, на линии, испещрившие ладони, и ищет подсказку. Не слишком ли поздно для

нового поворота судьбы?

Дверь открывается, в камеру входит старик в шляпе. Он протягивает руку, и Махмуд улыбается, принимая ее.

— Вы меня не убиваете, — выдыхает он.

Перкинс и Уилкинсон встают и отступают на шаг.

Не говоря ни слова, старик защелкивает толстый браслет на запястье Махмуда, потом поворачивает его, чтобы соединить его руки за спиной. Следом за ним в камеру входят другие: начальник тюрьмы, врач, шейх, и еще, и еще, еще, еще, еще, еще, еще.

Двое надзирателей берут его за руки, старик идет впереди так, будто все они намерены пройти сквозь стену. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…

Перкинс и Уилкинсон отодвигают шкаф в сторону, открывая дверь в соседнюю комнату. С потолка свисает петля. Знакомая камера плывет перед глазами Махмуда, его разум не в силах что-либо понять.

— Вы не правы, — кричит он, стараясь высвободить руки. — ВЫ НЕ ПРАВЫ!

8, 9, 10…

Перкинс и Уилкинсон отступают в сторону, Махмуд оглядывается на них, ищет хоть какого-

нибудь понимания, но у них его не находит.

11, 12, 13…

Палачи подтаскивают его к доскам по обе стороны от люка в полу, затем рывком ставят на ноги. Он изо всех сил сжимает мочевой пузырь.

14…

Старик надевает на голову Махмуда белый капюшон, его помощник связывает ему щиколотки.

– *Бис… Бисмилляхи Рах… мани Рахим.*

15…

Теперь темно, но он видит тень петли, проходящую по его лицу.

Он снова падает на колени. Узел затягивается у него под подбородком.

Халас. Она у него на шее. Его снова ставят на ноги.

Потом раздается рев мира, разверзающегося под ним.

– *Ля иляха, ля*
иляха
илля ллах
мухам
мадун
ра
су

лу
лл
а
х.

Woman Weeps As Somali Is Hanged

ALMOST within a stone's throw of the house in which he lived in Cardiff, Mahmoud Hussein Mattan was executed to-day for the murder of a Jewish shopkeeper at Cardiff Docks.

Mattan, a 29-year-old Somali, lived in Davis-street, less than 200 yards from the entrance to Cardiff Prison, where just after nine a.m. to-day in the drizzling rain a prison officer hung the notices informing the public that judgment of death on Mattan had been carried out.

An hour before the execution took place a woman dressed in a blue raincoat, her head covered by a headscarf, was seen weeping outside the entrance to the prison. She was later joined by another woman and at 8.20 a.m. they left.

Slowly Dispersed

There was a small group of people present outside the main entrance to the prison at nine o'clock, including several coloured persons.

They read the notices which were hung outside shortly afterwards and slowly dispersed. Throughout the morning workmen and passers-by stopped to read the official notification.

Mattan was convicted at Glamorgan Assizes on July 24 of the murder of 41-year-old Lily Volpert and was sentenced to death. His appeal was dismissed by the Court of Criminal Appeal, and a few days ago the Home Secretary announced that he could find no grounds on which to interfere with the course of justice.

'The Shadow'

Miss Volpert was found lying in her shop in Bute-street, Cardiff, with her throat cut. Mattan, known in Cardiff dockland area as the "shadow" because of the silent way in which he moved, was arrested more than a week later.

At his trial his counsel, Mr. T. E. Rhys-Roberts, described Mattan as "this half child of nature, a semi-civilised savage."

At the inquest conducted by the Cardiff City Coroner (Mr. Gerald Tudor) at the prison the jury returned a verdict of "Death from judicial execution."

The governor (Col. W. W. Beak) said the execution was carried out without a hitch.

Женщина плачет, пока вешают сомалийца

Махмуда Хуссейна Маттана казнили сегодня чуть ли не в двух шагах от дома, где он жил, — за убийство еврейской лавочницы в районе доков Кардиффа.

Маттан, 29-летний сомалиец, жил на Дэвис-стрит, менее чем в 200 ярдах от входа в кардиффскую тюрьму, где сегодня в десятом часу под моросящим дождем тюремный надзиратель повесил объявление, извещающее публику о том, что вынесенный Маттану смертный приговор приведен в исполнение.

За час до того, как состоялась казнь, женщину в синем плаще, с головой, повязанной шарфом, видели плачущей у входа в тюрьму. Позднее к ней присоединилась еще одна женщина, и в 8:20 они ушли.

Медленно разошлись

К девяти часам возле главного входа тюрьмы собралась небольшая группа людей, в том числе несколько цветных.

Они прочитали вывешенное вскоре после этого

объявление и медленно разошлись. На протяжении всего утра рабочие и другие прохожие останавливались прочесть официальное извещение.

Маттан был приговорен к смертной казни на выездной сессии в Гламоргане 24 июля по обвинению в убийстве 41-летней Лили Вольперт и казнен в соответствии с приговором. Его апелляцию отклонил Уголовный апелляционный суд, а спустя несколько дней министр внутренних дел объявил, что не видит никаких оснований вмешиваться в исполнение правосудия.

Тень

Мисс Вольперт была найдена лежащей с перерезанным горлом в ее лавке на Бьют-стрит, Кардифф. Маттана, известного в районе доков Кардиффа под прозвищем Тень за умение передвигаться бесшумно, арестовали более недели спустя.

На суде его адвокат, мистер Т. Э. Рис-Робертс, охарактеризовал Маттана как «наполовину дитя природы, полуцивилизованного дикаря».

Во время дознания, проведенного коронером города Кардиффа мистером Джеральдом Тюдором в тюрьме, присяжные вынесли вердикт «смерть

в результате казни по судебному приговору».

Начальник тюрьмы, полковник У. У. Бик, заявил, что казнь была осуществлена беспрепятственно.

Эпилог

Лоре Маттан не сообщили о казни Махмуда, она узнала о ней, лишь когда пришла к нему на очередное свидание в тюрьму. В тот день началась затянувшаяся на долгие десятилетия битва за возвращение ему честного имени. После казни его семья переехала в другой район Кардиффа, где столкнулась с крайней нищетой и расистским насилием. В 1969 году Гарольд Кавер был приговорен к пожизненному заключению после того, как попытался убить свою дочь, перерезав ей горло бритвой. Вскоре после этого Лора при поддержке сомалийской общины Тайгер-Бэя опротестовала приговор, вынесенный ее мужу. Министр внутренних дел и член парламента от Бьюттауна Джеймс Каллагэн отказали в пересмотре дела Махмуда, несмотря на сходство обоих случаев и ранее скрываемую историю проявлений насилия со стороны Кавера.

В 1996 году родные Маттана добились разрешения на эксгумацию тела Махмуда из никак не обозначенной могилы вблизи огорода на территории кардиффской тюрьмы и его перезахоронение

в мусульманской части Западного кладбища. В 1998 году была учреждена Комиссия по пересмотру уголовных дел с целью расследования возможных в прошлом судебных ошибок, и дело Махмуда одним из первых было представлено трем судьям апелляционного суда. В присутствии Лоры, Дэвида, Омара и Мервина Маттанов, а также Гарольда Кавера, вызванного в качестве свидетеля, приговор был признан ненадежным и аннулирован через сорок шесть лет после его приведения в исполнение. Были обнаружены новые свидетельства, недвусмысленно указывающие на то, что сомалийцем, которого Кавер видел у лавки в вечер убийства, являлся Тахир Гасс. Махмуда Маттана в качестве подозреваемого Кавер назвал только после обещания вознаграждения и давления со стороны полиции. Несмотря на вынесенный Гассу приговор за убийство человека в Ньюпорте в 1954 году и его заключение в тюрьме Бродмур, позднее в сомалийской общине сообщалось о других подозреваемых, особенно об одном моряке, Дахире Авалехе, который признался, что именно его разыскивает полиция, прежде чем в марте 1952 года бежал в Бразилию.

Ошибочный приговор и казнь Махмуда Маттана стали самой первой из судебных ошибок,

исправленных британским судом, но вред, причиненный ими семье Маттана, оказался неустранимым. Став свидетельницей реабилитации ее мужа апелляционным судом, Лора сказала журналистам: «Если бы мы с Махмудом жили в библейские времена, нас забили бы камнями насмерть. Он был замечательным человеком. Лучшим, что случилось со мной».

В 2003 году Омара Маттана нашли мертвым на безлюдном берегу в Кейтнессе, Шотландия; он был одет во все черное, при нем не обнаружили никаких вещей, кроме бутылки виски. За несколько месяцев до смерти Омар сказал в одном из интервью: «До восьми лет мне говорили, что мой отец умер в море. А потом однажды возле нашего дома играл оркестр Армии спасения, и я вышел спеть вместе с ними. И один из руководителей сказал: «Сыновья повешенных нам тут не нужны». Это знание ощущалось у меня в голове, как раковая опухоль».

Лора Маттан больше не вышла замуж и умерла после продолжительной болезни в 2008 году; с тех пор скончались все их сыновья.

Убийство Лили Вольперт не раскрыто до сих пор.

Благодарности

Этот роман никогда не был бы написан, если бы не вдохновляющая поддержка, знания и юмор Ахмеда Исмаила Хуссейна, «Худэйди». Зайнаб Нур и Крис Филлипс также дарили мне свое время, постоянную помощь и поддержку. Эта история принадлежит Бьюттауну, и я благодарна за великодушие всем, к кому на порог я являлась за сведениями: Рут Эбботт, Наташе Маттан, Мохамеду Варсаме Берлину, Исмаилу Эсса, Нино Абди, Эрику Абди, Киту Мореллу, Стиву Кэмпбеллу, Бетти Кэмпбелл, Стиву Хайреху, Гленну Джордану, Крису Уидону, Деннису Эришу, Абдисамаду Мохаммеду, «Дому Красного моря», Центру истории и искусств Бьюттауна, Женскому фонду Хайат.

Где бы вы ни были, в Лондоне или за его пределами, спасибо вам: Центр помощи Мейфилд-Хаус, Омар Хаджи Осман, Кабдиллаахи Каве Сиге, Махмуд Матан, Мохамед Исмаил, Фатима Саээд, королевский адвокат Майкл Мэнсфилд, Сатиш Секар, Олабиси Ошин, Фадумо Варсаме, Саид Али Муса, Мохамед Али Мохамед, Дэвид Шалай, Габи Коппель, доктор Хана Баккер, Шани Рам и Маркус

дю Сотой, Тайайаке Альфред, Ясин Саматар, Питер Вардон, Больница дружбы Китакюсю Модзи, Абдирашид Дуале и Дахабшиил, Андреас Либе Дельсетт, Национальная библиотека Осло, Фонд Рокфеллера, Центр Белладжио, Разика, Энди и все в Санта-Маддалене. Спасибо Обществу авторов за грант Фонда авторов и премию Сомерсета Моэма. Спасибо сотрудникам национальных архивов, Кью, Питеру Девитту из Музея королевских ВВС в Хендоне, Тайайаке Альфреду, Стюарту Маклафлину и Музею тюрьмы Уандсворт, Бодхари Варсаме, Мэри Акти, Савите Паундей и сотрудникам Британской библиотеки.

Спасибо за всю вашу любовь и компанию, которую вы мне составляли, вам, мои друзья: Абди, Роберт, Ким, Даниэль, Сабрин, Сара, Лана, Бхакти, Майкл, Аар Маанта, Эмили, Амина Ибрахим, Юсаф, Кэтрин, Аян, Джама, Зайнаб Рахим, и самое большое — Мэри Мбема.

Спасибо вам, моя замечательная команда, работать с которой — честь для меня: Мэри Маунт, Ассалах Тахир, Хлое Дэвис, Алексиа Томайдис, Натали Уолл, Шан Морли Джонс. Спасибо вам, великий Каспиан Деннис и все сотрудники литературного агентства Abner Stein, агентства Marsh, Лабна, Сара и Брук, Майя Соловей из Aragi.

Николь и Джон, я очень многим вам обязана.